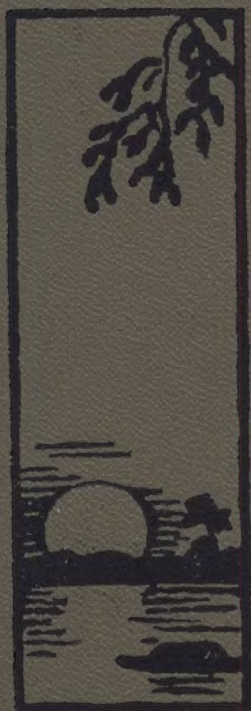




РАБИНДРАНАТ ТАГОР

РАБИНДРАНАТ ТАГОР
12





**ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ЛИТЕРАТУРА»**

РАБИНДРАНАТ ТАГОР

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

В ДВЕНАДЦАТИ
ТОМАХ

*Под редакцией Евг. Быковой,
Б. Карпушкина, В. Новиковой*

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
Москва 1965

РАБИНДРАНАТ ТАГОР

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ ДВЕНАДЦАТЫЙ

ВОСПОМИНАНИЯ

ПИСЬМА

СТИХИ

Перевод с бенгальского и английского

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
Москва 1965

И (Инд)
Т 13

Редактор переводов
Б. Карпушкин

Комментарии
В. Новиковой

Оформление художника
Н. Крылова



ВОСПОМИНАНИЯ

1912



Перевод с бенгальского

М. Тубянского

Под редакцией

Р. Валовой



Кто создает картину жизни на холсте памяти — я не знаю; но кто бы он ни был, он создает картины. Иначе говоря, он не для того держит кисть в руке, чтобы зарисовывать все, что происходит. Он отвергает или избирает, согласно своему вкусу. Часто он уменьшает большое и увеличивает малое. Он, не колеблясь, отодвигает вглубь то, что было спереди, или помещает спереди то, что было позади. Словом, он — живописец, а не историк.

Так, через внешнюю сферу жизни течет поток событий, а внутри одновременно возникает ряд картин. Оба ряда соответствуют друг другу, но они — не одно и то же.

Обычно у нас нет возможности подробно осмотреть скрытую в нас живописную мастерскую. Лишь иногда наш взор падает в тот или иной ее угол, но бóльшая ее часть остается в непроницаемом мраке. Кто тот мастер, что непрерывно в ней живописует, каковы его замыслы, в какой галерее будут вывешены его картины, когда он закончит свое дело — кто скажет?

Несколько лет тому назад, когда меня расспрашивали о событиях моей жизни, я спустился в эту мастерскую за сведениями. Я полагал, что соберу некоторое количество материалов для истории моей жизни, и этим ограничусь. Но когда я раскрыл дверь, я увидел, что воспоминания о жизни не суть история жизни, что они — самостоятельное произведение незримого мастера. Пестрые краски, рассыпанные по его холстам, не являются отражением внешней действительности; они взяты с его собственной палитры и пропитаны страстью его

сердца — вот почему повесть его холстов непригодна для показаний на суде.

Но хотя попытка собрать точную историю в сокровищнице памяти и не может привести к цели — есть очарование в ее картинах, очарование, заморозившее и меня.

Дорога, по которой шагает странник, придорожный дом, в котором он отдыхает, — не картины, пока он еще в пути; они слишком необходимы, слишком осязательны. Но когда нужда в них исчерпана, когда странник оставил их позади, они обращаются в картины. Когда мы, перед тем как войти в вечернюю обитель отдыха, оглянемся на города и поля, реки и горы, пройденные нами в утро жизни, тогда, в свете уходящего дня, они — настоящие картины. Так, когда пришел мой черед, я оглянулся и был захвачен открывшимся мне зрелищем.

Но, может быть, оно было привлекательно для меня исключительно вследствие естественного интереса к своему прошлому? Некоторое личное чувство тут было неизбежно; но картины эти имели и свою собственную привлекательность, как картины. Было бы глубоко неверно утверждать, будто картины, которые Лакшмана рисовал для Ситы, привлекательны лишь потому, что изображают ее жизнь. В моих воспоминаниях нет чего-либо достойного увековечения. Но художественное значение изображений не зависит от достоинства изображаемого предмета. Всякое подлинное чувство, если только его удастся передать другим, будет для них ценно. Если то, что приняло форму картины в памяти, может быть воплощено в словах, то оно достойно занять место в литературе.

Я предлагаю эти картины, созданные моей памятью, как литературный материал. Было бы ошибкой принимать их за автобиографию. Для этой цели они и слишком отрывочны и бесполезны.

НАЧАЛО УЧЕНИЯ

Мы, трое мальчиков, воспитывались вместе. Оба мои товарища были на два года старше меня. Когда к ним стал ходить учитель, началось и мое ученье. Но из того, чему я учился, ничего не осталось в моей памяти.

Вспоминается лишь: «Дождь падает, лист дрожит». Я только что выбрался на берег, пересекши бурные области складывания первых слогов, и первое, что я читаю: «Дождь падает, лист дрожит». Это для меня первое знакомство с Верховным поэтом.

Когда радость того дня овладевает мной, даже еще и теперь, я вновь каждый раз постигаю, почему столь необходима рифма в поэзии. Благодаря ей слова приходят к концу, но не кончаются; смысл исчерпан, но не исчерпано звучание; и ухо и сердце продолжают игру рифм. Так, с того дня дождь продолжал капать и лист все вновь и вновь трепетать в моем сознании всю жизнь.

Другой эпизод из моего раннего детства прочно удержался в моей памяти. У нас был старый кассир, по имени Койлаш Муккерджи, сделавшийся как бы членом нашей семьи. Он был большой остряк и постоянно шутил со всеми, особенно досаждая колкостями недавно женившимся зятьям, только вступившим в наш дом. По-видимому, юмор не оставил его и после смерти. Как-то наши взрослые пытались установить почтовые сношения с потусторонним миром при помощи планшетки. Однажды карандаш планшетки нацарапал имя: Койлаш Муккерджи. Его попросили: «Опиши нам, где и как ты живешь?» — «Ничего не скажу, — был ответ. — С какой стати достанется вам так дешево то, что я узнал лишь ценою смерти?»

Этот Койлаш Муккерджи часто декламировал мне для моего удовольствия длинную нескладную балладу, сочиненную им самим. Героем ее был я, и в балладе ярко изображалось страстное ожидание грядущего появления героини. Я слушал, увлекаясь все больше по мере исполнения изображением этой очаровательной невесты, озаоряющей лоно будущего, где она царила. Описание драгоценностей, которыми она была усыпана с ног до головы, и неслыханная роскошь приготовлений к свадьбе могли бы вызвать головокружение и у более взрослого и рассудительного слушателя; но для того, чтобы восхитить мальчика и наполнить его воображение волшебной пестротой блаженными видениями, достаточно было быстрой смены рифм и колыхания размера.

Эти первые литературные наслаждения все еще живы в моей памяти. Вспоминаются и эти строки: «Дождь

весело барабанит, река выходит из берегов». А эта баллада — словно «Облако-Вестник» моего детства.

Следующее воспоминание относится к началу моей школьной жизни. Однажды я вдруг вижу, что мой старший брат и сын моей сестры Шотто, который тоже был несколько старше меня, отправляются в школу, а я, как неподходящий по возрасту, остаюсь дома. Кроме громкого плача, у меня не было другого способа защиты своих прав. До тех пор я ни разу еще не ездил в коляске и вообще не выходил из дому; поэтому, когда Шотто стал изо дня в день невыносимо увлекательно рассказывать об их приключениях по дороге в школу, я уже совершенно был не в силах оставаться дома. Наш учитель, чтобы рассеять мои иллюзии, хлопнул меня по плечу и изрек: «Теперь ты плачешь, чтобы тебя пустили в школу, но тебе придется еще больше плакать, когда ты в ней побываешь». Я не помню ни его имени, ни лица, ни характера, но воспоминание о его веском совете и еще более веской руке не изгладилось и сейчас. Никогда более не слышал я столь верного пророчества.

Своим плачем я добился преждевременного принятия в Восточную семинарию. Чему я там учился — я не помню, но один из применявшихся там способов наказания мне запомнился. Мальчика, который не знал урока, ставили на скамейку с протянутыми руками, а на его ладони клали несколько грифельных досок. Дело психологов установить, насколько такое развитие физической выдержки может способствовать укреплению памяти.

Так началось мое учение в самом раннем детстве. Мое посвящение в литературу произошло в это же самое время при помощи книг, бывших в ходу у наших слуг. Среди них выделялись бенгальский перевод изречений Чанакьи и «Рамаяна» Криттибаша. Я отчетливо вспоминаю картину одного из чтений этой «Рамаяны».

День был облачный. Я играл на длинной наружной веранде, выходящей на улицу. Внезапно Шотто, не помню, по какому поводу, вздумал напугать меня возгласами: «Полицейский! Полицейский!» Мое представление об обязанностях полицейского было до крайности смутно, но в одном я был уверен, как в некоем законе природы: стоит лишь человека, обвиняемого в преступле-

нии, отдать в руки полицейского, и последний, схватив жертву, навеки исчезнет с нею в бездонной глубине полицейского участка, — подобно крокодилу, который, сжимая свою добычу в зазубренных зубах, погружается в воду. Не зная, как невинному мальчику избежать безжалостного закона, я бросился бежать во внутренние покои; по моей спине бегали мурашки от страха перед преследующим меня полицейским. Прибежав к матери, я сообщил ей об угрожающей мне беде, но это известие ее, видимо, не очень взволновало. Все же я решил, что будет более осторожно не показываться наружу, и, сев на пороге, взялся за чтение истрепанной «Рамаяны» с мраморного цвета обложкою; книга эта принадлежала ее тетке. Передо мною была веранда, обегавшая четырехугольник внутреннего двора, освещенная бледным полуденным светом пасмурного неба. Найдя меня плачущим над одной из грустных глав эпоса, тетка подошла и отняла у меня книгу.

В Н У Т Р И И С Н А Р У Ж И

В нашем обиходе не было и следа роскоши в дни моего детства. Уровень жизни был тогда гораздо скромнее, чем теперь, и наше время, увидев, как мы тогда жили, постыдилось бы признать свое родство с тогдашним временем. Особенностью нашего дома было то, что за детьми почти совершенно не смотрели. Присмотр за детьми иногда может быть занятен для окружающих; для детей же большего мучения нет.

Нами обычно управляли слуги. Чтобы облегчить свою задачу, они почти совершенно лишали нас свободы движения. Но это стеснение, как бы оно ни было чувствительно, уравновешивалось тем, что нас не баловали и дух наш был свободен; нас не кормили, не одевали, не наряжали и не сковывали ни нежничаньем, ни муштровкой.

Наша еда отнюдь не напоминала лакомств. Одежда была настолько проста, что перечисление ее предметов вызвало бы лишь презрение у мальчика наших дней. Не было случая, чтобы до десятого года жизни мы хоть раз надели чулки. В холодную погоду мы удовлетворялись

простой белой курткой поверх обычной. Нам и в голову не приходило жаловаться из-за этого на свою судьбу. И лишь когда старый Нрэмот, портной, забывал вшить в куртку карман, мы были недовольны, ибо и в самом бедном доме не рождался еще мальчик, которому нечем было бы наполнить свои карманы; по милости божьей нет большой разницы между богатыми и бедными мальчиками в отношении этого рода имущества. Обычно у каждого из нас была пара туфель, но они далеко не всегда были на ногах. Во время ходьбы мы при каждом шаге забрасывали их вперед, и гораздо больше внимания уделяли такому транспортированию туфель, нежели ходьбе, каковое обращение вряд ли соответствовало их назначению.

Взрослые члены нашей семьи были во всем далеки от нас: своим образом жизни, одеждой, пищей, беседой и развлечениями. За всем этим мы наблюдали, но лишь издалека. Современным детям взрослые стали чрезвычайно доступны; у них ни в чем нет стеснения, и они получают без труда даже то, чего им вовсе не нужно. Нам же ничто не доставалось так легко. Многие из обыкновеннейших вещей были для нас редкостью. «Когда мы вырастем, мы их когда-нибудь получим», — так вручали мы отдаленному будущему попечение о наших надеждах. Вследствие этого мы до конца исчерпывали все возможное наслаждение тем немногим, что мы получали: от шелухи до сердцевины — ничто не отбрасывалось в сторону. Современный ребенок в состоятельной семье едва ли даже пробует половину тех вещей, которые ему подносятся; большая часть его мира совершенно бесцельно растрачивается на него.

Дни наши мы проводили среди слуг в юго-восточном углу наружной части дома, на втором этаже.

Одним из наших слуг был Шьям, смуглый, полный мальчик, с длинными волосами, родом из округа Кхульна. Он ставил меня в указанном им месте комнаты, мелом рисовал на полу круг и с важным видом, подняв палец, предупреждал, что со мной случится беда, если я переступлю черту. Я не отдавал себе ясного отчета, угрожала ли мне естественная или сверхъестественная опасность, но мною овладевал сильный страх. Я читал в «Рамаяне»,

какие несчастья постигли Ситу после того, как она переступила черту, проведенную вокруг нее Лакшманой, и не мог поэтому отнестись скептически к предупреждению Шьяма.

Как раз под окном этой комнаты находился пруд с каменной лестницей, спускавшейся к воде. На его восточном берегу, у стены сада, росло огромное баньяновое дерево; а на южном берегу высился ряд кокосовых пальм. Узник мелового круга, я проводил целый день, рассматривая сквозь жалюзи этот пейзаж, словно книжку с картинками. Ранним утром наши соседи один за другим приходили и совершали омовение в пруду. Я знал, когда каждый из них должен прийти, и знал в точности, как каждый из них будет вести себя при купании. Один затыкал уши пальцами и, спешно погрузившись несколько раз, удалялся; другой не решался погрузиться целиком и лишь многократно выжимал над своей головой воду из мокрого полотенца; третий разгонял руками грязь на поверхности воды и затем внезапно погружался. Один из купальщиков без всяких приготовлений самоотверженно бросался в воду с верхней ступеньки лестницы; другой медленно сходил по ступенькам, бормоча утреннюю молитву. Один постоянно торопился и, наскоро окунувшись, поспешно уходил домой. Другой несколько не торопился, медленно совершал омовение, растирал тело, менял влажное белье на сухое, причем старательно собирал складки на своей одежде и, нарвав цветов, покачиваясь, медленно брел домой, распространяя в воздухе прохладную негу освеженного тела. Так продолжалось до полудня, после чего наступал перерыв, берег пустел, и все замолкало. Оставались на пруду лишь фламинго и утки, которые весь день плескались, ловя водяных улиток, или заботливо чистили перья.

Когда пруд пустел, мое внимание приковывали тени под баньяновым деревом. Его воздушные корни, спускаясь со всех сторон вокруг ствола, образовали у подножья темную сеть спутанных изгибов. Казалось, что в это зачарованное место, в этот таинственный уголок мира, законы природы, словно заблудившись, не нашли доступа, — словно чудом некое предмирное царство сна укрылось от божественного дозора и сохранилось до светлого Сегодня.

Кого там видело мое воображение и что эти существа там делали, я теперь не могу выразить на понятном языке. Об этом баньяновом дереве я писал позже:

Так ты стоишь и в погожие дни, и в туман.
Помнишь об этом ребенке, о старый баньян?

Увы! Этого баньяна нет больше; нет и пруда, в котором отражался величественный царь деревьев. Многие из тех, кто купался там, последовали за тенью этого исчезнувшего баньянового дерева. А тот мальчик вырос и считает свет и тени жизни, проникающие сквозь сплетения, которыми окружали его пущенные во все стороны корни.

Выходить из дому нам было запрещено; мало того, мы не имели даже права свободного доступа во все части дома. Наблюдать природу нам приходилось поэтому из-за ограды. Снаружи было бесконечное нечто, недоступное для меня, посылавшее мне отовсюду, сквозь отверстия окон и дверей, мгновенные касания своих красок, звуков и запахов. Оно словно подавало мне сквозь ограду знаки, что хочет со мною играть. Но оно было свободно, а я связан; встреча была невозможна, но тем сильнее было влечение. Сегодня меловой линии уже нет, и все же круг не исчез. Далекое все еще вдали, внешнее все еще вовне. Мне вспоминаются стихи, написанные мною, когда я стал старше:

Пленница в клетке жила золотой,
Вольная птица — в глуши лесной,
Не знали друг друга, судьбой разлученные,
И вот повстречались они весной.
«Умчимся, — лесная птица вскричала, —
Будем вдвоем в небесах кружить».
«Останься, — ей пленница отвечала, —
Будем вдвоем в этой клетке жить!»

Лесная птица сказала: «Нет!
Я в клетке и дня прожить не могу».
Ответила пленница ей: «Увы!
А я в небесах кружить не могу!»

Перила верхних террас были выше моей головы. Когда я подрост, когда власть слуг ослабела, когда в доме появилась новая невестка и я получил признание в качестве сотоварища ее досугов, — тогда я стал часто выхо-

дить на террасу в полдень. К этому времени все в доме заканчивали свою трапезу. Наступал перерыв в домашних работах; внутренние комнаты погружены были в тишину полуденного отдыха; на перилах развешаны были влажные сари; вороны выбирали остатки из мусорной кучи в углу двора. В безлюдье этого досуга ручная птица, сквозь отверстия в ограде, беседовала с вольной — клюв к клюву. Я стоял и смотрел. Взгляд падает прежде всего на ряд кокосовых пальм вдоль края нашего внутреннего сада; сквозь их ветви виднеется Шингир Баган с его грудой хижин и прудом; на берегу пруда — ферма нашей молочницы Тары; далее, вперемежку с вершинами деревьев, вплоть до бледной лазури восточного горизонта, тянутся различной формы и высоты террасы на калькуттских домах, отсвечивающие яркой белизною полуденного солнца. На каждой крыше, словно неподвижно поднятый указательный палец, высится «соколиный домик» — кажется, будто этот домик, подмигивая, намекает на сокрытые в нем тайны. Как нищий у ворот дворца, грезящий о фантастических богатствах, хранящихся в сундуках царских подвалов, я не могу выразить в словах все то богатство чудесной жизни и свободы, которых те неведомые жилища казались мне исполненными. Из отдаленнейших глубин неба, залитого горячим солнечным сиянием, над моею головой — вдруг еле слышный тонкий крик коршуна достигает моего уха, а из улицы, прилегающей к Шингир Багану, долетает через молчаливые дома, погруженные в полуденную дрему, песенка бродячего торговца: «Кому браслеты! Кому игрушки!» И весь я пронизан властью цепенящих чар.

Мой отец почти никогда не жил дома, а все время проводил в путешествиях. Его комнаты на третьем этаже обычно оставались закрытыми. Я приподнимал жалюзи, просовывал руку, отодвигал засов, открывал дверь и затем проводил пополуденное время, лежа неподвижно на его софе в южном углу комнаты. Эта комната бывала подолгу закрыта, и туда запрещено было входить. Во всем этом было что-то таинственное. Кроме того, передо мною было широкое пустое пространство террасы, пылающее в лучах солнца: оно погружало меня в мечтательное оцепенение. Было еще нечто, что влекло меня в эту ком-

нату. В Калькутте тогда впервые начал действовать водопровод и в своей первозданной щедрости одинаково обслуживал северные и южные кварталы города. В тот золотой век водоснабжения вода поднималась и до купальной комнаты отца на третьем этаже. Отвернув кран душа, я досыта наслаждался неурочными омовениями, — не столько, впрочем, самими омовениями, сколько моей свободой делать то, что вздумается. Блаженное чувство свободы, перемежавшееся с опасением быть застигнутым, вызывало во мне радостное содрогание, когда я стоял под струями муниципальной воды.

Быть может, именно потому, что соприкосновение с внешним миром было для меня затруднительно, оно доставляло мне каждый раз такую радость. Благодаря изобилию, дух приучается к лени, к полной зависимости от внешнего, забывая о том, что для обретения радости гораздо важнее внутренние условия, чем внешние. Это — главный урок детства человека. В детстве он обладает лишь немногими и обычнейшими вещами, но для счастья ему не нужно большего. Несчастен ребенок, обремененный неограниченным количеством игрушек: его игра неизбежно потеряет для него всякий смысл.

Наш внутренний сад вряд ли заслуживал этого названия. Все его богатство состояло из апельсинового дерева, нескольких сливовых деревьев и ряда кокосовых пальм. В центре его находилась круглая вымощенная площадка, в расщелинах которой самочинно поселились и водрузили победные стяги травы различных видов. Лишь те цветы, которые отказались умереть от отсутствия ухода, скромно выполняли, по мере сил, свои обязанности, не жалуясь на садовника. В северном углу находился навес для очистки риса, где обитательницы внутренних комнат собирались, когда этого требовали хозяйственные надобности. Признав полную победу города, этот последний пережиток сельского быта, закрыв лицо свое, однажды бесшумно исчез. Я не думаю, однако, чтобы сад Адама в раю был лучше украшен, чем наш, ибо и он и его рай были наги; им не нужно было вещественных облачений. С тех пор как человек вкусил плод с древа познания, — и пока он не научится полностью переваривать его, — его потребность во внешней обстановке и украшениях будет увели-

чиваться. Наш внутренний сад был моим раем, мне не надо было ничего лучшего. Я прекрасно помню, как осенними утрами, едва только проснувшись, я сразу бежал туда. Навстречу мне несся аромат травы и листьев, покрытых росой, и утро с его прохладным, свежим солнечным светом выглядывало из-за края восточной стены сада, из-под трепещущих кистей кокосовых пальм.

К северу от нашего дома расположен пустырь, который мы до сих пор называем «голабари» (житница). Это название свидетельствует о том, что в некоем отдаленном прошлом там находилась житница, в которой хранился богатый урожай. В ту пору сходство между городом и деревнею, как между братом и сестрой в детстве, было явно заметно. Теперь уже трудно было бы обнаружить сходство между ними.

В свободные часы я, улучив удобный момент, отправлялся на голабари. Вряд ли правильно будет сказать, что я ходил туда для игр: самое место привлекало меня больше, чем игры. Трудно сказать, чем оно меня к себе влекло. Может быть, тем, что на нем был какой-то отпечаток таинственности. Ведь оно примыкало к нашему дому и, при своей обширности, было все же совершенно заброшено. На нем не жили и не работали; оно было в стороне от жилья и ни для чего не нужно; не было ничем украшено и совершенно запущенно, на нем не сеяли даже цветов. Именно потому этот пустырь не сковывал свободной игры моего воображения. Как только мне удавалось ускользнуть от бдительности моей стражи и убежать туда, я чувствовал, что для меня пришел настоящий праздник.

Было еще одно место в нашем доме, но его мне до сих пор не удалось разыскать. Маленькая девочка, моя сверстница по играм, называла его «царским дворцом». Часто она мне говорила: «А я сегодня была там». Но благоприятный миг, когда она могла бы взять меня с собой туда, все как-то не подворачивался. То было чудесное место, и игрушки там были столь же волшебные, сколь чудесны игры. Мне все казалось, что оно где-то очень близко, где-то в первом или во втором этаже, только никак не удавалось туда попасть. Часто спрашивал я мою подружку: «Правда, царский дворец у нас в доме? Или

он снаружи?» — А она отвечала: «Нет, в самом доме». Я никак не мог понять. «Ведь я же знаю каждую комнату нашего дома, — думал я, — где же дворец?» Я не задумывался о том, кто царь; где его дворец — неизвестно и поныне. Ясно было лишь одно: этот дворец царя — в нашем доме.

Когда я оглядываюсь на мое детство, мне больше всего бросается в глаза таинственность, которой преисполнены были и мир и жизнь. Что-то небывалое, невообразимое таилось повсюду, а когда мы повстречаемся с ним — неизвестно: вот что занимало каждый день наши мысли. Словно природа держала что-то в зажатой руке и спрашивала, улыбаясь: «А ну-ка отгадай, что у меня здесь». Что у нее было в руке — мы не знали, но предполагать могли все что угодно.

Ясно вспоминаю, как однажды я посеял в углу южной веранды семя дерева ата и затем поливал его водою каждый день. Мысль о том, что из семени может вырасти дерево, наполняла меня изумлением и трепетным ожиданием. Семена ата прорастают теперь, как и прежде, но им не сопутствует уже росток изумления в душе. В этом повинны, однако, не они, а дух наблюдателя.

Мы однажды украли несколько камней с горки, устроенной моим старшим кузеном Гунендро, и в углу нашей классной комнаты соорудили такую же маленькую горку. Растениям, которые мы на ней посеяли, мы доставляли столько беспокойства избытком нашего ухода, что только их растительною покорностью может быть объяснено их молчание до самой их преждевременной смерти. Слова не могут передать бесконечной радости и изумления, которые вызывала у нас эта горка. Мы не сомневались, что это наше создание не в меньшей степени восхитит и взрослых; но в день, когда мы попытались проверить свои ожидания, горка, со всей ее растительностью, исчезла. Поучение о том, что пол классной комнаты не место для горки, преподано было нам с такою резкостью и неожиданностью, что мы были болезненно потрясены. Каменная тяжесть, от которой был освобожден пол, давила на наши души, когда мы думали о пропасти, отделяющей наши желания от воли взрослых.

Как близко чувствовали мы в те дни жизнь природы вокруг нас! Земля, вода, листья и травы, небо — все говорило с нами и требовало ответного внимания. Как часто нас пронизывала мучительная мысль о том, что мы видим лишь верхний этаж земли и ничего не знаем о нижних этажах. Мы придумывали разные планы, как бы заглянуть под пыльноцветный покров. Если вставлять, думалось нам, бамбуковые трости в землю, одну за другою, — когда их будет вставлено много, — то мы, быть может, сумеем достичь этих нижних этажей. Во время праздника в месяце магх вокруг наружного двора воздвигали ряд деревянных столбов, поддерживавших светильники. Уже с первого числа этого месяца во дворе начинали рыть для них ямы. Приготовления к празднествам всегда увлекательны для детей. Но меня больше всего влекли к себе эти ямы. Хотя я год за годом наблюдал, как их роют, — видел, как яма все более углублялась, пока землекоп не скрывался в ней с головой, но ничего неожиданного, что могло бы оправдать подземное путешествие принца или рыцаря, не появлялось, — все же каждый раз чудилось, будто вот-вот откроется крышка волшебного сундука. Мне все думалось, что стоит вырыть лишь немного глубже, и тайна будет раскрыта. Но год шел за годом, а я так и не мог докопаться до клада. Словно лишь тянули за занавес, но не решались его отдернуть. Ведь старшие, думалось мне, могут сделать все, что они захотят, почему же они удовлетворяются такой малой глубиной? Если бы мы, дети, могли распоряжаться, то тайная весть земли не томила бы в пренебрежении под своими тяжкими покровами. Точно так же подстегивала наше воображение и мысль о том, что за лазурью небесного свода скрыта тайна неба. Когда наш пандит, в пояснение к одной из глав нашего учебника естествознания, сказал нам, что голубой свод не замыкает пространства, это показалось невообразимо чудесным. «Ставьте лестницы на лестницы, — говорил он, — как бы высоко вы ни поднимались по ним, вы никогда не ударитесь головой о свод». «Почему он скупится на лестницы?» — подумал я, и учинил ему допрос с пристрастием: «А если мы поставим еще лестницы, и еще, и еще?» Когда же я, наконец, понял, что увеличение числа лестниц ни к чему не

приведет, я был глубоко поражен и впал в задумчивость. Такая изумительная новость, решил я, может быть известна только тем, кто является учителями всего мира, а больше никому.

СЕРВОКРАТИЯ

В истории Индии царствование династии, которая происходила от рабов, не было счастливым. Размышляя о периоде господства слуг в моей личной истории, я также не мог обнаружить в нем ни славы, ни радости. В нем часто происходили смены правителей, но кодекс запретов и наказаний, которому мы были подчинены, оставался неизменным. Нам тогда не приходилось, однако, философствовать на эту тему: удары, которые падали на наши спины, приходилось принимать не иначе, как спинами же, и для нас стало одним из законов природы, что большой бьет, а малый терпит. Много времени прошло, пока я научился обратной истине: малый бьет, а большой терпит.

Дичь смотрит на добро и зло не с точки зрения охотника, а со своей собственной. Вот почему охотник осыпает ругательствами бдительную птицу, которая криком предупреждает стаю об опасности прежде, чем грянул выстрел. Когда нас били, то мы плакали, а наши усмирители считали это за признак дурного тона — за восстание против сервократии. Я не могу забыть о том, как они, в целях полного искоренения крамолы, всовывали наши головы в большие кувшины для воды, чтобы не был слышен плач. Бесспорно, наши крики должны были вызывать у них досаду и могли даже приводить к неприятным для них последствиям.

Я теперь часто удивляюсь тому, что наши слуги так жестоко с нами обращались. Я не могу сказать, чтобы в нашем поведении или манерах было что-либо, делавшее нас недостойными совершенно противоположного обращения. Действительная причина, по-видимому, в том, что на слуг возложено было все бремя нашей жизни, а подобное бремя слишком тяжело даже для самых близких и родных. Если детям позволяют быть детьми, играть, бегать и удовлетворять свое любопытство, то бремя это легко. Неразрешимые задачи возникнут лишь в том случае,

если вы решите не выпускать их, удерживать в спокойствии и мешать их играм. Тогда бремя жизни ребенка, столь легко несомое им самим, именно как ребенком, неизбежно станет тяжестью для его стражей, — так становится бременем лошадь, которую несут, вместо того чтобы дать ей бежать по земле. Вряд ли можно обвинять несчастных носильщиков в том, что они не сохраняли спокойствия духа: за деньги они вызвались, правда, нести эту тяжесть, но это не помешало им вымещать на каждом шагу свою злобу на несчастном животном.

О большинстве из этих тиранов нашего детства я не припомню ничего, кроме их тумачеств. И только одного из них я помню хорошо.

Его имя было Ишшор; он раньше был деревенским учителем. То был чинный, педантичный человек, преисполненный торжественной серьезности. Земля казалась ему недостаточно орошенной для надлежащего соблюдения ее чистоты, и он вынужден был непрерывно воевать с ее хронической загрязненностью. Он молниеносным движением погружал в пруд свое ведро, чтобы получить менее грязную воду с глубины трех-четырех локтей. Это про него я рассказывал выше, что при купанье он сначала тщательно разгонял вокруг себя руками грязь на поверхности воды, словно желая застать воду врасплох и безнаказанно погрузиться с головой. При ходьбе он держал правую руку под углом к туловищу, словно не доверяя чистоте своей одежды. Казалось, главным его стремлением было предохранить себя от бесчисленных загрязнений, которые отовсюду незаметно просачиваются в воду, в землю, в воздух и в человеческую жизнь. Ему невыносима была близость вещей, со всех сторон напавших на него. Безгранична была его торжественность. Слегка склонив голову, он низким голосом цедил свои изречения. Его чрезмерно высокий «штиль» постоянно вызывал за его спиной смех взрослых, и в нашем доме о нем ходили анекдоты: так, рассказывали, что он Бораногор называл Вараханогором. Он обычно говорил: «Вас кто-то ожидает», вместо: «Вас кто-то ждет». Его высокопарные фразы надолго вошли в наш семейный репертуар острот. Впрочем, если бы в наши дни слуга произнес в высшем обществе: «Вас кто-то ожидает», это вряд ли

показалось бы странным. Бенгальский литературный и разговорный языки, раньше далекие друг от друга, как небо от преисподней, в последние десятилетия все более приближаются друг к другу.

Этот бывший школьный учитель нашел способ заставить нас сидеть спокойно по вечерам. Он усаживал нас вокруг надтреснутого светильника и читал нам из «Махабхараты» и «Рамаяны». Некоторые из слуг также приходили и слушали чтение. В тускло освещенной комнате громадные тени тянулись до балок потолка, маленькие ящерицы ловили насекомых по стенам, летучие мыши непрерывно кружились в безумной дервишской пляске на веранде снаружи, а мы слушали в оцепенении, с открытыми ртами.

Мне ясно вспоминается тот вечер, когда мы дошли до истории Куши и Лавы, и как эти двое смелых юношей собирались обратить в прах славу отца и дядей; погруженная в полумрак комната исполнена была напряженного ожидания. Становилось поздно; нам скоро пора ложиться, но до развязки еще далеко. В этот критический момент спасение явилось неожиданно со стороны Кишори Чаттерджи, последователя моего отца. Он быстро довел до конца эпизод, декламировав нам его в звонких стихах Дашурая. Впечатление от медленного, спокойного течения четырнадцатисложных строк Криттибаша мгновенно смыто было бурным потоком звонких рифм и сверкающих аллитераций.

Нередко во время чтения пуран возникали «научные» споры, завершавшиеся непререкаемыми приговорами Ишшора. Как слуга, приставленный к детям, он в иерархии слуг был много ниже других, но, как это было с дедушкой Бхишмой, его превосходство над младшими оставалось бесспорным.

У нашего мудрого служителя была одна слабость, о которой следует упомянуть ради исторической точности, — он был наркоманом. Это вызывало у него потребность в усиленном питании. Поэтому, когда он приносил по утрам нашу обязательную порцию молока, сила притяжения к этому молоку оказывалась в его душе могущественнее, нежели сила отталкивания. Достаточно было с нашей стороны малейшего намека на наше естественное отвраще-

ние к этому напитку, и никакое чувство ответственности за наше здоровье уже не могло побудить его предложить молоко вторично, будь то ласково или сердито.

У него были также несколько узкие взгляды насчет нашей способности усвоения твердой пищи. За ужином перед нами ставили толстый деревянный поднос с грудой лучи. Сначала Ишшор бросал на наши тарелки по паре лучи, — с достаточной высоты, дабы не осквернить руку; подобно милостям, вырванным у богов вопреки их воле, посредством настойчивой аскезы, падали эти немногие лучи на наши тарелки: вот сколь скупно и негостеприимно он нас угощал. Затем Ишшор спрашивал нас, дать ли нам еще. Я знал ответ, который придется ему по сердцу, и мне не хотелось обездоливать его, прося прибавки. Ишшор ежедневно получал немного мелочи на покупку для нас на рынке легкой полуденной закуски, и ежедневно спрашивал нас, что мы хотели бы получить. Мы знали, что всего приятнее ему будет выбор наиболее дешевой пищи: поэтому мы иногда заказывали тушеный рис, а иногда даже столь неудобоваримую пищу, как вареный горох и жареные земляные орехи. Очевидно, Ишшор был не столь настойчиво педантичен в отношении нашей диеты, как в отношении своих манер и правил, предписываемых шастрами.

НОРМАЛЬНАЯ ШКОЛА

Во время моего обучения в Восточной семинарии я нашел способ избавиться от униженного положения ученика. Я открыл свою собственную школу в одном из углов нашей веранды. Моими учениками были деревянные столбики веранды; я разыгрывал учителя, сидя перед ними на стуле с палкой в руке. Я сразу же отыскал среди них и хороших и плохих учеников; мало того, ясно отличал послушных от непослушных и умных от глупых. Непослушных я довел своими побоями до такого состояния, что они могли бы найти избавление только в смерти, если бы они были живы. И чем более они обезображивались от моих ударов, тем больше я на них сердился, никак не умея придумать для них достаточное наказание. Из этих моих бессловесных учеников ни один не дожил до

нынешнего дня, чтобы засвидетельствовать, как свирепо я их истязал. Деревянные столбики заменены были с тех пор чугунными, и никто из молодого поколения не брал на себя бремени их воспитания; к тому же, прежние способы воздействия не могли бы уже производить никакого впечатления.

Я отчетливо видел, что ученики не торопятся усваивать преподносимые им знания, но с легкостью перенимают зато манеры своих учителей. Без всяких усилий я воспринял от моих учителей всю их несправедливость, нетерпение, вспыльчивость и пристрастность, — все, кроме того, чему они учили. Хорошо еще то, что в столь раннем возрасте я не мог применить этих приобретений ни к кому, кроме моих деревянных учеников; но, несмотря на все различие между столбиками веранды и живыми мальчиками, моя психология ни в чем не отличалась от психологии наших узколобых учителей.

По-видимому, я недолго пробыл в Восточной семинарии, ибо еще в очень юном возрасте я отдан был в Нормальную школу. Мне вспоминается, что перед началом занятий мальчики, сидя в галерее, должны были хором петь какие-то стихи, — это было, как видно, попыткой ввести элемент веселья в школьную жизнь. Но на беду, слова были английские, и мелодия столь же чужестранная; мы не имели даже и представления о том, какие мы распеваем заклинания или какой выполняем обряд; нечего и говорить, что ежедневное выполнение этой бессмысленной нудной церемонии не доставляло нам никакого удовольствия и не вызывало в нас веселья. Но наше школьное начальство твердо держалось некоей импортированной педагогической теории и нисколько не сомневалось в том, что осчастливило детвору; ему и в голову не приходило проверить действие этого метода на практике: дети просто-напросто обязаны были наслаждаться, согласно их теориям; обратный результат они сочли бы за дерзкое непослушание. Как бы то ни было, они удовлетворялись песнями в том виде, в каком нашли их со словами и мелодией в той же английской книге, из которой позаимствовали и самое свое педагогическое новшество. То превращение, которое претерпел английский язык в

наших устах, не может не заинтересовать лингвиста. Я вспоминаю только одну строку:

Колоки нулоки сингиль мелалинг, мелалинг, мелалинг.

После долгих размышлений, мне удалось восстановить первоначальный смысл части этой строки. Я до сих пор теряюсь в догадках, из чего произошло слово «колоки». Остальное же, вероятно, гласило:

...full of glee, singing merrily, merrily, merrily! ¹

Там, где мои воспоминания о Нормальной школе выплывают из тумана и проясняются, они ни в малейшей степени не могут быть названы приятными. Если бы я мог сблизиться с другими мальчиками, то тяготы учения не были бы для меня столь невыносимыми. Но это оказалось невозможным — столь отвратительны были манеры и поведение большинства из них. Перемены я поэтому проводил, сидя на втором этаже у окна, выходящего на улицу. Я все считал про себя: год, два года, три года; сколько таких лет придется мне еще провести?

Из учителей я помню только одного: его способ выражения был настолько непристойен, что из презрения к нему я никогда не отвечал на его вопросы. Так я молча сидел целый год на задней скамье, и во время уроков занимался обыкновенно разрешением сложных мировых вопросов. Один из них я помню до сих пор: как победить врага без оружия? О нем я размышлял глубоко и настойчиво; мне до сих пор ясно вспоминается, как я обдумывал его, сидя в одиночестве среди шумного класса. Если бы я мог надлежащим образом приручить множество собак, тигров и других свирепых животных и выставить их в несколько рядов на поле битвы, это было бы недурной подготовкой к сражению, думалось мне; если же мы потом пустим в ход наши кулаки, то победа не так уж недостижима. Чем яснее рисовалась моему воображению эта картина, тем менее я сомневался в победе. Пока я еще не знал настоящей работы, мне не трудно было придумывать легкие способы для выполнения сложнейших задач, но с тех пор, как я принялся за работу, я вижу,

¹ ...полные радости, поющие весело, весело, весело! (англ.)

что то, что трудно, — трудно поистине. Это, быть может, не очень утешительный вывод, но гораздо горестнее его — разочарования, неизбежно следующие за его непризнанием.

После того, как я провел год в этой школе, нам устроили экзамен по бенгальскому языку: экзаменатором был второй учитель Модхушудон Бачошпоти. Я выдержал экзамен лучше всех. Учитель уведомил школьную администрацию о том, что экзаменатор обнаружил пристрастие ко мне. Тогда меня проэкзаменовали вторично; сам старший инспектор школы сидел рядом с экзаменатором, но и на этот раз я, волею судеб, получил наивысшую отметку.

ПЕРВЫЕ СТИХИ

Мне в то время было не более семи-восьми лет. Мой племянник Джоти Прокаш был значительно старше меня. Он тогда впервые ознакомился с английской литературой — и с большим пафосом декламировал монолог Гамлета. Почему ему вдруг пришло в голову обучать стихосложению такого ребенка, как я, сказать не могу. Однажды в полдень он вызвал меня к себе в комнату и заявил: «Ты должен писать стихи». Вслед за тем он объяснил мне принципы построения четырнадцатисложного размера, называемого пояр.

До того мне приходилось видеть стихи лишь в печатных книгах, без подчеркнутых ошибок, без следов труда, без малейших признаков человеческих несовершенств. Я не осмеливался даже мечтать о том, чтобы самому сочинить что-либо подобное. Однажды в нашем доме был пойман вор. Увлекаемый любопытством, дрожа от страха, я отважился пойти взглянуть на него. Оказалось, что в действительности это самый обыкновенный человек. И когда наш слуга принялся его тузить, мне было его очень жаль. Нечто подобное я испытал и в отношении поэзии.

Когда я, написав несколько слов по своему произволу, заметил, что у меня получился пояр, прежнее мое благоговение перед тайнами стихосложения исчезло без следа. А на бедную поэзию и поныне сыплются удары. Много раз приходилось мне испытывать сострадание к ней, —

но чешутся руки и нет сил удержаться. Вору вряд ли претерпели столь много и от столь многих.

После того, как исчезла моя робость, я не знал удержу. Я раздобыл у одного из наших служащих синюю тетрадку, собственноручно разлиновал ее карандашом — не особенно искусно, впрочем, — и принялся писать стихи огромными детскими каракулями.

Подобно молодому оленю, который стучается повсюду своими прорезывающимися рогами, я досаждал всем своей прорастающей поэзией, а еще больше это делал мой старший брат, который, гордясь моими талантами, в поисках слушателей рыскал по всему дому. Мне вспоминается, как однажды мы оба вдвоем вышли из нашей конторы в первом этаже после успешного похода на тамошних служащих и встретились с редактором «National paper»¹, Нобогопалом Миттро, который как раз входил в наш дом. Мой брат задержал его и сразу приступил к делу: «Нобогопал-бабу, Раби написал стихотворение, не хотите ли послушать?» Декламации дожидаться не пришлось. Собрание моих сочинений тогда еще не было объемисто. Слава поэта умещалась в карманах его куртки, сопровождая его повсюду. Я был автором, наборщиком и издателем в одном лице; единственным моим помощником был брат, взявший на себя рекламное дело. Я сочинил стихотворение о лотосе и тут же прочитал его Нобогопалу-бабу у подножия лестницы, голосом, столь же высоким, как мое вдохновение. «Молодец, — сказал он с улыбкой. — Но что такое двирепх?»² Где я выкопал это слово — не помню. Слова «двирепх» и «бхромор» имеют одинаковое количество слогов. Обыкновенное название пчелы — «бхромор» — в не меньшей степени подошло бы к размеру. Но все мои надежды на успех стихотворения связаны были со словом «двирепх», и впечатлением, произведенным на наших служащих, я, несомненно, обязан был ему. Однако на Нобогопала-бабу оно нисколько не действовало, даже напротив — он улыбался. Я твердо решил, что он ничего не смыслит в поэзии, и больше никогда не читал ему стихотворений. С тех пор про-

¹ «Национальная газета» (англ.).

² Д в и р е п х — пчела (устар.).

шло много лет, но мне кажется, что я до сих пор не научился отличать понимающего слушателя от непонимающего. Но как бы ни улыбался Нобогопал-бабу, слово «двирепх», подобно опьяневшей от меда пчеле, неподвижно застыло на своем месте.

РАЗНООБРАЗНЫЕ ЗАНЯТИЯ

Нилкомол Гхошал, один из учителей Нормальной школы, давал нам частные уроки на дому. Это был худощавый, иссушенный человек, с пронзительным голосом; он походил на трость, принявшую человеческий образ. Он должен был заниматься от шести до половины десятого утра. Мы проходили у него все, начиная от легких литературных хрестоматий «Чарупатх», «Бостубичар» и «Пранибриттонто» и вплоть до поэмы Майкла Модхушудона Дотто «Смерть Мегханада».

Мой третий брат старался расширить наши знания во всех возможных областях. Поэтому нам дома приходилось изучать гораздо больше того, что требовалось школьной программой. Мы вставали перед восходом солнца, когда еще было темно, препоясывали чресла и начинали свой день несколькими схватками с одноглазым борцом. Затем мы набрасывали куртки на наши запыленные тела и приступали к чтению «Смерти Мегханада», к занятиям физикой, геометрией, арифметикой, историей и географией. Когда мы возвращались из школы, мы попадали в распоряжение учителей рисования и гимнастики. Вечером приходил Огхор-бабу, чтобы обучать нас английскому языку. Освобождались мы лишь после девяти часов вечера.

В воскресенье утром учитель по имени Вишну давал нам уроки пения. Кроме того, по воскресеньям часто приходил Шитонатх Дотто и показывал физические опыты. Эти опыты меня очень интересовали. Я отчетливо вспоминаю то ощущение чудесного, которое охватило меня, когда он однажды нагрел в пробирке воду с опилками и мы видели, как легкая вода поднимается снизу вверх, а тяжелая вода сверху опускается вниз и как, в конце концов, вода закипает. Очень обрадован я был также, когда узнал, что вода есть отделимая составная часть

молока, которая при кипячении выделяется в виде пара, вследствие чего молоко уменьшается в объеме. То воскресенье не было для меня воскресеньем, когда не приходил Шитонатх-бабу.

Был также определенный час, когда студент кэмпбеллской медицинской школы обучал нас остеологии. Для этой цели приобретен был скелет, скрепленный проволокою, и повешен в нашей классной комнате.

Наконец, в промежутках, находилось время и для господина Херомбо Тотторотно, который заставлял нас выучивать наизусть санскритские фразы вроде «Мукунданг саччидананданг»¹ и сутры санскритской грамматики Вопадевы. Трудно сказать, что было более неудобоваримо: названия ли костей или грамматические сутры. Мне кажется, впрочем, что, скорее, последнее.

Когда мы значительно продвинулись в бенгальском, мы стали брать уроки английского языка. Наш учитель, Огхор-бабу, был студентом медицинского колледжа, поэтому он мог давать уроки только по вечерам. В книгах говорится, что открытие огня было величайшим достижением человека. Оспаривать этого я не намерен, но я не могу не думать о том, как счастливы маленькие птички тем, что их родители не могут зажигать огня вечерами. Языку они обучаются по утрам, и вы заметили, должно быть, с каким наслаждением они это делают. Правда, следует вспомнить, что ведь тот язык, которому они обучаются, — не английский.

Этот студент-медик обладал настолько несокрушимым здоровьем, что даже объединенные горячие пожелания его трех учеников ни разу не были в силах помешать его приходу. Лишь однажды, во время схватки между англо-индийскими и бенгальскими студентами медицинского колледжа, враги запустили ему в голову стул, и ему пришлось несколько дней пробыть дома. То было грустное событие, но нам никак не удавалось заставить себя рассматривать его, как таковое, и нам даже показалось, что его выздоровление произошло несообразно скоро.

Настает вечер. Дождь льется струями, напоминающими копы; на улице — вода по колено. Пруд выступил

¹ «Молюсь богу Мукундангу (Кришне)» (санскр.).

из берегов, и пушистые вершины деревьев возвышаются над водою. Все наше существо в этот свежий дождливый вечер пронизано восторгом, подобно цветку кадамбы, раскрывающему свои лепестки. Наш учитель опоздал уже на несколько минут. Но еще не известно, что будет. «В ожидании любимого» мы сидим на веранде, выходящей на улицу, и с жалостным видом всматриваемся в угол переулка. Внезапно кажется, будто сердце остановилось в груди. Увы! Удар судьбы не предотвращен: показался знакомый черный зонтик. Может быть, это кто-нибудь другой? Нет, это невозможно. Где-нибудь у Бхавабхути, может быть, и найдется подобный ему, но в этот день, вечером, и в нашем переулке, появление другого, похожего на нашего, учителя, совершенно невозможно.

Вспоминая об уроках Огхора-бабу, я не могу сказать, чтобы он принадлежал к разряду бессердечных учителей. Он никогда не применял силы, и даже в его выговорах никогда не было брани. Но при всех его достоинствах, его временем был вечер, его предметом — английский язык. Я не сомневаюсь в том, что даже ангела бенгальский мальчик принял бы за посланца Ямы, если бы он явился к нему вечером после тягостного школьного дня и зажег тускло мерцающую лампу, чтобы учить его английскому языку.

Мне ясно вспоминается, как однажды Огхор-бабу пытался доказать нам привлекательность английского языка, для чего он восторженно декламировал что-то по-английски — прозу или стихи, мы не могли понять. Нам же его декламация показалась нелепо забавной, и мы так расхохотались, что ему пришлось на этом прервать урок. Он, должно быть, понял, что его задача нелегка и что не один год пройдет прежде, чем ему удастся добиться благоприятного оборота дела.

Иногда Огхору-бабу хотелось, чтобы свежий ветерок извне освежил затхлую атмосферу наших книжных занятий. Однажды он вдруг вынул из кармана какой-то таинственный предмет, завернутый в бумагу, и сказал: «Сегодня я покажу вам чудесное создание творца!» С этими словами он развернул бумагу и, вынув модель человеческого органа речи, принялся объяснять нам чудеса его устройства. Я до сих пор вспоминаю, какое потрясение

я тогда испытал. Я думал, что говорит весь человек, мне и в голову не приходило, что процесс речи можно рассматривать в таком оторванном от целого виде. Как бы ни были изумительны детали механизма, они не представляют большого интереса в сравнении с целым. Я, разумеется, не мог бы тогда объяснить это чувство столь же отчетливо, но именно оно было причиной моего уныния, и я не мог разделить восторга моего учителя. Как видно, он, на этих анатомических занятиях, позабыл о том, что действительная тайна речи — во всем человеке, а не в его гортани: вот почему в тот день его увлечение устройством гортани не нашло отзыва в сердце его ученика. В другой раз он взял нас с собой в анатомический театр медицинского колледжа. На столе лежал труп старой женщины. Это не произвело на меня сильного действия, но что меня совершенно вывело из равновесия, — это был вид отрезанной ноги, валявшейся на полу. Рассматривать человека по кусочкам казалось мне столь нелепым и столь страшным, что я долго не мог забыть об этой темной бессмысленной ноге. Когда мы кое-как одолели первую и вторую части английской хрестоматии Пири Саркара, нам вручены были «Уроки чтения» Мак Кулоха. К вечеру мы чувствовали усталость во всем теле; вся душа тянулась во внутренние покои; переплет книги был грубый и черный, язык ее труден, а содержание до крайности непривлекательно: в те дни материнская заботливость богини Сарасвати еще не проявлялась, и детские книги не снабжались иллюстрациями, как теперь. Перед каждой главой стояли на страже ряды вокабул, разделенных на слоги, а знаки ударений грозились, словно острые штыки, запирая вход уму ребенка. Мы не раз тщетно атаковывали эти неприступные форты английского языка.

Наш учитель ежедневно пытался подстегнуть нас рассказами об успехах какого-то другого своего ученика. Этот «сравнительный метод» вызывал у нас лишь неприязнь к тому успевающему ученику. В то же время нам было, конечно, и стыдно, но это не рассеивало мрака, который царил внутри этой черной книги.

Мать-природа из сострадания к людям снабдила сновторными чарами все скучные вещи. Едва начинался урок английского языка, как наши головы клонились вниз.

Учитель заставлял нас побрызгать себе воды в лицо и побегать по веранде, но это помогало ненадолго. Если случайно в это время мой старший брат проходил по веранде мимо классной комнаты и замечал нашу мучительную борьбу со сном, он освобождал нас от продолжения урока. Не проходило мгновения, как от нашей сонливости не оставалось и следа.

ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО С ВНЕШНИМ МИРОМ

Однажды, когда в Калькутте свирепствовала эпидемия тропической лихорадки, часть нашей многолюдной семьи, и мы в том числе, спасались на прибрежной вилле Чхату-бабу, в Пенети.

То было мое первое знакомство с внешним миром. Берег Ганги принял меня на свое лоно, как друг из прежнего рождения. Перед домом для слуг росла рощица гуав. Я проводил целые дни, сидя на веранде в их тени и глядя на струящийся поток сквозь промежутки между стволами. Каждое утро, когда я просыпался, мне казалось, что день, — словно полученное мною новое письмо с золотыми краями; что за неслыханные известия ожидают меня, когда я вскрою конверт! Чтобы не потерять ни мгновения, я, наскоро покончив с туалетом, мчался к своему стулу на веранде. Каждый день приносил с собою прилив и отлив на Ганге, я наблюдал различную повадку многочисленных судов, движение теней деревьев с запада на восток, и, — над каймою тенистых деревьев на другом берегу, — неисчерпаемые потоки золотой крови из пронзенной груди заката. Некоторые дни были облачными с самого утра; деревья на том берегу черны; черные тени носились над поверхностью реки; затем вдруг набегал голосистый ливень, застилавший горизонт; темная полоса по ту сторону, словно в слезах, скрывалась из виду; река тяжело вздымалась, а влажный ветер вольно играл с листвою деревьев.

Я чувствовал, что из недр балок, стропил и стен я вновь родился во внешний мир. При этом новом знакомстве с вещами оболочка привычности и повседневности со-

скальзывала с мира. Сахарная патока с холодными лучи, составлявшая мой завтрак, не могла отличаться по вкусу от амриты, которою Индра наслаждается в своем раю; ибо бессмертие — не в самом нектаре, а в той радости, которую он дает; тем же, которые его ищут, его не найти.

Позади дома находился огороженный стенами пруд с каменной лестницей, около которой возвышалось громадное джамбулановое дерево; вокруг росли различные плодовые деревья, в густой тени которых ютился пруд. Скромная красота этого спрятанного от глаз, тенистого внутреннего садика привлекала меня по контрасту с раздольем речного берега. То была как бы невеста, лежащая в одиночестве полуденного отдыха на покрывале, расшитом ею зелеными узорами, и тихо шепчущая о тайнах своего сердца. Сидя в безлюдный полдень на берегу пруда в тени джамбулана, я часто грезил о страшном царстве Куберы, таящемся в глубине пруда.

Мне очень хотелось посмотреть как-нибудь поближе бенгальскую деревню. Гроздя ее хижины, молельни, ее улицы и купальные места, ее игры и сборища, ее луга и рынки, ее жизнь в целом, как я видел ее в своем воображении, — все это неудержимо влекло меня к себе. Как раз такая деревня лежала за нашей виллой, но ходить нам туда было запрещено. Мы уехали из дома, но все еще не были свободны. Раньше мы были в клетке, теперь — на жерди, но все еще на цепочке.

Однажды двое старших вышли рано утром побродить по деревне. Не в силах сдержать любопытство, я тайком последовал за ними, держась на некотором расстоянии. Проходя по густо затененной улице мимо пруда, покрытого зелеными водяными растениями и окруженного густыми зарослями севара, я с наслаждением впивал в себя картину за картиной. До сих пор помню одного мужчину, сидевшего на берегу пруда нагишом и занятого запоздалым туалетом: он чистил зубы обглоданным концом ветки. Внезапно мои невольные спутники взрослые заметили, что я следую на ними. «Домой, тотчас же ступай домой», — закричали они. Они нашли, что я вышел из дому в чересчур домашнем костюме. Я был без чулок и поверх своей куртки не надел полагающейся накидки — вот в чем они видели мою вину. Но ни с чулками, ни с

другими, на мой взгляд, излишними предметами одежды я до того вообще никогда не имел дела. Все же мне пришлось смириться и вернуться домой; мало того, у меня не было надежды искупить свой грех и еще раз когда-либо получить разрешение выйти из дому.

Итак, назад мне не было пути, но спереди раздолье Ганги снимало с меня все путы. Я мог, не платя за проезд, усесться на любое из плывущих под парусом судов и унести в страны, донныне не названные ни в какой географии.

То было лет сорок тому назад. С тех пор я ни разу не вступал более на берег этой виллы, приютившейся в тени чампаков. Те же деревья, тот же дом по-прежнему, должно быть, стоят там, но я знаю, что всего того, что создано было свежим и радостным любопытством мальчика, там уже нет. Откуда мне теперь почерпнуть былую силу воображения?

Мы вернулись в наш городской дом в Джорашанко. И дни мои, как ежедневная порция корма некоего чудовища, вновь потекли в зияющую пасть Нормальной школы.

У П Р А Ж Н Е Н И Я В П О Э З И И

Голубая тетрадь заполнилась вскоре, словно улей, кривыми линиями и тонкими и толстыми черточками букв. Под усердным и неловким нажимом карандаша юного порта ее листы стали загибаться и, будучи к тому же разорваны по краям, напоминали согнутые пальцы чьей-то руки, словно старавшейся удержать написанное внутри, пока, в конце концов, волею милосердной богини забвенья, они не увлечены были водами не знаю какой Вайтарани. Так они избавлены были от родовых мук печатания и могут не опасаться рождения в эту юдоль печали.

Не могу сказать, чтобы я был равнодушным свидетелем распространения моей портической славы. Хотя господин Шаткори Дотто не был учителем в нашем классе, он ко мне очень благоволил. Он был автором книги о жизни животных, — но я надеюсь, что ни один язвительный юморист не усмотрит в теме этой книги причину его расположения ко мне. Однажды он подозвал меня и спро-

сил: «Ты, говорят, пишешь стихи?» Я не утаил от него правды. С тех пор он в целях поощрения время от времени давал мне закончить начатое им стихотворение.

Одно из них я запомнил. Оно начиналось так:

Солнце припекало без пощады.
Хлынул дождь — и все безмерно рады.

Из продолжения я помню только две строки; пользуясь случаем, привожу их в качестве доказательства, что мои стихи того времени ни в коем случае нельзя было назвать бессмысленными:

Все пруды наполнились до края,
Рыбы плещутся в воде, играя.

Стихотворение это явно замечательно по своей логике. Привожу еще четыре строки, написанные о самом себе. Лышу себя надеждой, что стилисты обнаружат в них простоту языка, равно как и ясность мысли.

В молоко вливаю я сок манго,
А потом кладу кусок пизанга.
Съем я все, добавки попрошу,
Капли не оставив мурашу.

Гобиндо-бабу, старший инспектор нашей школы, был темнокожий, низкорослый и толстый человек. Он сидел в своем черном сюртуке, со своими бумагами в канцелярии на втором этаже. Мы все боялись его, ибо он был судьей-жезлоносцем нашей школы. Однажды, спасаясь от преследования забияк, я невзначай вбежал к нему в комнату. Гнались за мною пять-шесть старших мальчиков. Единственным, что свидетельствовало в мою пользу, были слезы. Дело было выиграно, и со времени этого знакомства Гобиндо-бабу смотрел на меня с нежностью.

Однажды во время перемены я внезапно вызван был к нему. Я явился в страхе и трепете, но не успел я войти, как услышал вопрос: «Ты, говорят, пишешь стихи?» Я не колеблясь отвечал утвердительно. Он поручил мне написать стихотворение на некую высокоморальную тему — какую, я уже не помню. Сколько приветливости было в подобном поручении от этого мрачного, серьезного человека, может оценить только тот, кто был его учеником.

Когда я на следующий день принес ему стихи, он повел меня в старший класс, поставил перед мальчиками и сказал: «Читай!» Я громко прочел свое произведение.

В пользу этого моралистического стихотворения можно сказать одно — оно очень скоро затерялось. Поскольку можно было судить о его моральном воздействии на слушателей, оно было малоутешительно. По крайней мере, добрых чувств к автору оно отнюдь не вызвало. Большинство мальчиков было уверено, что сочинил его не я. Один сказал даже, что он раздобудет книгу, с которой оно списано; никто, однако, не досаждал ему напоминанием о том, что он обещал: так тягостны доказательства тем, кто хочет верить. Но число искателей поэтической славы стало быстро возрастать, а их методы не принадлежали к числу тех, что рекомендуются в целях нравственного совершенствования.

В наши дни мальчик, пишущий стихи, — уже не редкость; поэзия сведена с прежнего пьедестала. Я вспоминаю, что в те дни женщина, пишущая стихи, считалась каким-то чудом создателя. В наше же время, когда слышишь, что такая-то молодая особа не пишет стихов, это кажется настолько несообразным, что отказываешься верить. Росток поэзии в наши дни поднимает свою голову — даже при отсутствии дождей поощрения — задолго до того, как ученик достигнет старших классов, так что современный Гобиндо-бабу даже не обратил бы внимания на поэтические подвиги, о которых я рассказывал.

ШРИКАНТХО-БАБУ

В то время у меня был слушатель, какого я никогда больше не встречу. Он обладал столь необычайной способностью приходить в восторг, что уж никак бы не мог занять пост критика в каком-нибудь ежемесячном журнале. Этот старик был похож на спелый плод манго — в его существе начисто отсутствовали кислые или грубые волокна. У него не было и следа волос на голове, доброе лицо было гладко выбрито, рот совершенно свободен от зубов, а его большие глаза постоянно сияли радостью. Когда он говорил своим мягким глубоким голосом, его

руки, рот и глаза тоже говорили. Он был старой персидской школы и не знал ни слова по-английски. Он не ставался с хуккой и ситарой, а из его уст непрерывно текли песни.

Независимо от степени знакомства с ним, никто не мог противиться действию его обаяния. Мне вспоминается, как однажды он повел нас к какому-то фотографу-англичанину, чтобы сняться вместе. Он так наивно убеждал фотографа на смешанном хинди-бенгальском наречии, словно своего старого знакомого: «Нет, я не могу платить такую цену за фотографию, я — бедный человек; нет, нет, сахиб, это совершенно невозможно», — что сахиб, смеясь, согласился понизить цену. Даже в этом гордом английском предприятии его столь несообразные просьбы не звучали неподобающе — настолько чистосердечно было его отношение ко всякому человеку; ему и в голову не приходило кому-либо не доверять, ибо в нем самом не было и следа того, что может вызывать недоверие.

Иногда он посещал вместе со мною одного европейского миссионера. Он пел, играл на ситаре, возился с маленькими дочками миссионера, изумленно восхвалял обутые маленькие ножки его жены, и так веселил всех, как этого не мог бы сделать никто иной. Всякий другой, ведя он себя таким образом, показался бы бесцеремонным и навязчивым, но его прозрачная простота нравилась всем, и всех заражало его веселье.

Шрикантхо-бабу был недостижим для грубости или дерзости; оскорбления он не воспринимал как таковые, и они теряли по отношению к нему всякий смысл. Наши наняли однажды известного певца. Когда он бывал навеселе, он грубо издевался над Шрикантхо-бабу. Тот невозмутимо переносил все, даже не пытаясь защищаться. В конце концов, певец был уволен из-за своего грубого обращения с Шрикантхо-бабу. Тот был страшно расстроен и всячески заступался за своего обидчика. «Виноват не он, виновато вино», — повторял он.

Он совершенно не мог выносить страдания других, ни даже рассказа о них. Когда кто-либо из мальчиков хотел поддразнить его, достаточно было почитать ему вслух грустные места из книги Биддашагора «Сита в лесу» или

из «Шакунталы». Шрикантхо-бабу протягивал руки, запрещал, просил, умолял прекратить чтение.

Этот старик был одновременно другом моего отца, моих старших братьев и нас, мальчиков; он был сверстником всякого из нас. Трудно было бы найти другого такого любителя стихов. Как любой камешек подхватывается струями водопада и быстрым вращением доводится до восторженной пляски, так и ему достаточно было малейшего повода, чтобы преисполниться бурного восхищения. Однажды я сочинил два гимна богам, в которых, как и полагается, не забыл упомянуть о страданиях земной жизни. Шрикантхо-бабу не сомневался в том, что приведет моего отца в восторг, если декламирует ему столь совершенный образец поэтического благочестия. С превеликим энтузиазмом он вызвался лично прочесть эти стихи отцу. К счастью, меня в то время не было дома; как я узнал по возвращении, отца очень насмешило, что страдания жизни столь рано стали тревожить его младшего сына, и он даже сочиняет пояры на эту тему. Серьезность их содержания на него нисколько не подействовала. Я не сомневаюсь, что, будь на его месте наш старший инспектор Гобиндо-бабу, он сумел бы оценить эти мои два гимна.

Я был любимым учеником Шрикантхо-бабу в пении. Он научил меня песне: «Не слышать мне волшебной флейты Кришны», водил меня по комнатам всех обитателей нашего дома и заставлял меня петь ее им. Я пел, а он аккомпанировал на ситаре, и каждый раз, когда повторялся рефрен «Не слышать мне волшебной флейты Кришны», он восторженно присоединялся ко мне и неутомимо все вновь и вновь повторял припев, кивая головой, и в упоении заглядывал в лицо каждого из слушателей, словно побуждая их к восхищению.

Он был преданным последователем моего отца. Одна из его песен на хинди была переработана в гимн богу Брахме: «Не забывай его — он сердце наших сердец». Когда он пел его моему отцу, то приходил в такое возбуждение, что вскакивал со своего места и, энергично ударя по струнам ситары, повторял: «Он сердце наших сердец!» или вдруг, указывая рукою на моего отца, изменял слова: «Ты сердце наших сердец!»

Когда этот старик в последний раз навестил моего отца, тот лежал в постели больной в прибрежной вилле в Чинсуре. Шрикантхо-бабу не мог вставать без посторонней помощи и должен был рукою поддерживать веки, чтобы видеть. В таком состоянии он, в сопровождении своей дочери, проделал путь из Райпура в Бирбхуме до Чинсуры. С великим трудом удалось ему взять прах от ног моего отца и вернуться в тот дом в Чинсуре, где он остановился и где он через несколько дней умер. От его дочери я слышал потом, что, умирая, он пел гимн: «Как сладко милосердие твое!» С этими словами на устах обрел он вечное безмолвие.

МЫ КОНЧАЕМ ИЗУЧАТЬ БЕНГАЛЬСКИЙ ЯЗЫК

В училище мы были тогда в предпоследнем классе. Дома мы прошли по-бенгальски гораздо больше, чем наши товарищи по классу. Мы прошли «Физику» Оккхой-кумара Дотто и закончили чтение «Смерти Мегханада». Физику мы изучали по книге, в полном отрыве от практики, поэтому знания наши были весьма смутными. Время, затраченное на их приобретение, было, в сущности, потеряно. Мало того, я даже уверен, что оно было бы в меньшей степени потеряно, если бы мы просто ничего не делали. «Смерть Мегханада» тоже не доставила нам особого удовольствия. То, что является лакомым кушаньем на тарелке, вряд ли будет вами оценено по достоинству, будучи брошено вам в голову. Читать настоящую поэзию ради изучения языка — все равно, что бриться мечом: унизительно для меча и небезопасно для подбородка. Поэзию следует изучать с точки зрения поэтического чувства, именно как поэзию; если же искусственно превращать ее в какое-то соединение грамматики со словарем, то это вряд ли способно ублаготворить божественную Сарасвати.

В это время наше обучение в Нормальной школе внезапно прервалось. Произошло это следующим образом. Однажды учителю нашей школы захотелось почитать биографию моего деда, написанную Кишоримохоном

Миттро на английском языке. Мой одноклассник и племянник Шотто Прошад набрался мужества и вызвался достать эту книгу у моего отца. Он решил, что для изложения его просьбы не подойдет обычное бенгальское словоупотребление. Поэтому он составил фразу в столь «высоком штиле», что мой отец, как видно, понял, что наши занятия бенгальским языком зашли слишком далеко и могут привести к утрате нами всякого живого чувства языка. Поэтому, когда на следующее утро мы, по обыкновению, поставили на южной веранде стол, повесили около него классную доску и дожидались нашего учителя Нилкомол-бабу, мы все трое вдруг вызваны были к отцу на третий этаж. «Вам незачем больше заниматься бенгальским языком», — сказал он. Наши сердца запрыгали от радости.

В это время нас уже дожидался внизу Нилкомол-бабу; на столе лежала раскрытая геометрия на бенгальском языке, и он, по-видимому, собирался приступить с нами к вторичному чтению «Смерти Мегханада». Но как на смертном одре для человека утрачивает реальность уклад повседневной жизни, так и для нас в одно мгновение все, начиная от пандита и вплоть до гвоздя, на котором висела классная доска, сделалось пустым, как мираж. Нас заботило только одно: как сообщить весть о нашем освобождении Нилкомолу-бабу с сохранением должной серьезности. Все же нам удалось это сделать с достаточной сдержанностью, меж тем как геометрические фигуры на доске смотрели на нас в немом изумлении, а прежде враждебные строки «Смерти Мегханада» так смиренно распростерлись на столе, что вся наша неприязнь к ним сразу исчезла.

На прощание пандит сказал нам: «Повинуясь долгу, я не раз бывал резок с вами — об этом забудьте! То, чему я вас научил, вы оцените в будущем!»

Он оказался прав: мы могли успешно развиваться потому, что учились в детстве именно на бенгальском языке. Обучение должно, насколько возможно, подражать процессу принятия пищи. Если с первого же куска вы начинаете чувствовать вкус пищи, деятельность желудка пробуждается раньше, чем он наполнен, и его пищеварительные соки получают полную свободу игры. Но совер-

шенно обратное происходит, когда бенгальского мальчика обучают по-английски: первый же кусок способен переломать ему оба ряда зубов — нечто вроде небольшого землетрясения. Когда же он откроет, что во рту у него не камень, а конфета, прошла уже половина положенного ему срока жизни. Пока ученик давится правописанием и грамматикой и по щекам у него текут невольные слезы, во внутрь ему ничего не попадает. Когда же наконец после долгих трудов он может приступить к еде, аппетит уже пропал. Если с самого начала не вовлечен в работу, весь дух, полнота его сил останется нераскрытой до самого конца. В то время, как всюду кругом стоял крик о необходимости английского воспитания, мой третий покойный брат был достаточно тверд, чтобы дать нам бенгальское. За это ему благодарная память навеки!

Когда мы перестали учиться в Нормальной школе, нас отдали в Бенгальскую академию. То было англо-индийское учебное заведение. Мы почувствовали, что у нас прибавилось достоинства, что мы доросли, по крайней мере, до первого этажа свободы. И в самом деле, единственным преимуществом этой Академии для нас была свобода, которой мы пользовались. Того, чему нас там обучали, мы не понимали; уроков мы не готовили; но никто об этом особенно и не заботился. Мальчики там были надоедливые, но не противные; я был очень обрадован, когда это заметил. Они писали на своей ладони английское слово «Ass»¹ в обратном порядке букв и с дружеским «hello»² хлопали нас по спине, запечатлевая на ней таким образом наименование этого презируемого людьми четвероногого; или они, идя рядом с нами, неожиданно хлопали нас по голове бананом и бесследно исчезали; или же, быстро ударив нас сзади, с невинным лицом смотрели в другую сторону, принимая вид безупречной добродетели. Все это нам досаждало, но ненадолго, ибо ничего оскорбительного в этом не было. Мы словно выбрались из болота на твердую почву; идти, возможно, еще трудно, но грязи уже больше нет. Эта школа имела одно

¹ Осел (англ.).

² Привет (англ.).

большое преимущество: никто в ней не поддерживал тщетной надежды на то, что обучение может к чему-нибудь привести. Школа была маленькая, доходы ничтожны, и нам нетрудно было очаровать школьные власти аккуратными месячными взносами. В результате даже латинская грамматика не была для нас камнем преткновения, и при самых серьезных ошибках наши спины оставались неповрежденными. Происходило это отнюдь не из гуманности — просто школьное начальство заблаговременно предупредило учителей.

При всей своей безобидности, это все-таки была школа. Классные комнаты были тоскливы; их стены стояли на страже, как полицейские. Здание походило более на продырявленную коробку, чем на человеческое жилье. Не было нигде ни украшений, ни картин, ни красок; не было и следа стремления привлечь сердце мальчика. Не было обращено ни малейшего внимания на то, как много это все значит для детей. Понятно, что мы чувствовали себя подавленными, когда через ворота входили в узкий школьный двор — и это отвращение к школе не раз приводило к пропускам занятий.

Скоро мы нашли себе пособника. Мои старшие братья брали уроки персидского языка. Имя их учителя я позабыл, но все называли его Мунши. Он был средних лет и весь — кожа да кости, словно его скелет обернут был темной оболочкой, без всякого заполнения кровью или мускулами. Он, вероятно, хорошо знал персидский язык и вполне сносно — английский, но он не искал славы в этих областях. Он был убежден, что с одинаковым совершенством владеет фехтованием на палках, как и искусством пения. Он стоял на солнце, посреди нашего двора, и выполнял ряд необычайных приемов, сражаясь со своею тенью. Излишне упоминать, что его тень никогда не одерживала победы, и, когда он с радостными возгласами, смеясь, оглушал ее ударами по голове, она покорно и безмолвно лежала у его ног. Его пение — чересчур в нос, и к тому же фальшивое — звучало, словно смесь стенаний и причитаний, доносившихся из мира привидений. Наш учитель пения, Вишну, иногда говорил ему: «Послушай, Мунши, этак ведь ты лишишь меня куска хлеба!» — на что тот отвечал лишь презрительной улыбкой.

Из вышеизложенного явствует, что доставить удовольствие Мунши было делом нетрудным. Поэтому не стоило большого труда уговорить его написать школьной администрации письмо с оправданием нашего отсутствия. А школьная администрация не производила особого расследования по поводу этих писем; ей было прекрасно известно, что в наших познаниях не произойдет никакого изменения оттого, придем ли мы или нет.

Теперь у меня есть своя собственная школа, в которой ученики также обнаруживают склонность к самым разнообразным нарушениям дисциплины; такова их природа, равно как природа учителей — проявлять строгость. Когда кто-нибудь из учителей рассердится на их шалости и предлагает, ради блага школы, назначить строгое наказание, проступки моих школьных дней обступают меня со всех сторон и улыбаются мне.

Я теперь ясно понял, что, измеряя проступки детей мерилom взрослых, мы забываем о том, что ребенок подобен быстро текущему потоку: не следует приходить в отчаяние, если на его поверхности обнаруживаются какие-либо недостатки, ибо само его движение — лучшее противоядие против них. Опасность появляется лишь с застоем — вот когда необходимо пристальное внимание. Бояться ошибок должен не столько ученик, сколько учитель.

В школе имелась особая столовая для мальчиков-бенгальцев, выделенная для соблюдения кастовых требований. Там мы познакомились с несколькими мальчиками. Все они были старше меня. Один из них увлекался мелодией кафи, еще более нравилась ему собственная юная жена, проживавшая пока что в доме тестя. Он любил напевать эту мелодию и часто разглагольствовал о своей жене.

О другом я расскажу поподробнее. Он был любителем магии. Мало того, он даже напечатал небольшую книжку о магии, в которой его имя значилось с титулом профессора. До того я никогда не встречал мальчика, который был бы автором печатной книги. Поэтому мое уважение к нему — по крайней мере, как к профессору магии — было очень глубоко. Мне и в голову не приходило, чтобы в ровных рядах печатных букв могло заключаться что-либо, вызывающее сомнение. Запечатлеть свои слова

нестирающейся типографской краской: разве этого мало? Не смущаясь, стоять нараспашку перед всем светом, не имея возможности куда-либо укрыться: как можно было сомневаться при такой непоколебимой самоуверенности? Помнится, я однажды раздобыл в типографии Брахмо Самаджа несколько букв, образующих мое имя. Когда я вымазал их чернилами и тиснул на бумаге, это показалось мне достопримечательнейшим событием моей жизни.

Мы ежедневно, отправляясь в школу, подвозили этого нашего школьного товарища и друга-писателя. Затем он стал навещать нас. Он также был большим любителем театра. С его помощью мы соорудили сцену в нашей комнате для гимнастики и, водрузив несколько бамбуковых шестов, натянули на них бумагу, которую покрыли разноцветными изображениями. Но играть на ней нам не пришлось — насколько помнится, этому воспрепятствовал непререкаемый запрет с верхнего этажа.

Тем не менее мы разыграли однажды и без сцены некую «комедию ошибок». С автором ее читатели уже имели случай познакомиться на этих страницах: то был мой племянник Шотто Прошад. Глядя теперь на его спокойные и мягкие черты, совершенно невозможно себе представить, каким мастером на самые невообразимые проделки был он в детстве.

Случай, о котором я собираюсь рассказать, произошел немного спустя, когда мне было двенадцать или тринадцать лет. Меня всегда поражало то, что наш маг рассказывал о чудесных свойствах различных вещей, и мне невыносимо хотелось увидеть что-нибудь самому; но материалы, о которых он говорил, были обыкновенно столь труднодоступны, что вряд ли можно было надеяться раздобыть их без помощи Синдбада-морехода. Но однажды профессор, видимо по неосторожности, упомянул о сравнительно доступном способе совершения одного из чудес, и я тотчас же решил испытать его на деле. Кому могло прийти в голову, что если двадцать один раз обмазать косточку манго соком известной породы кактуса и столько же раз ее высушить, то в течение часа она взойдет, расцветет и принесет плод? Но разве можно было не верить профессору, чье имя украшало печатную книгу?

Мы стали приставать к нашему садовнику, и через несколько дней мне удалось получить от него в достаточном количестве сок кактуса. В воскресенье я удалился в укромный уголок нашей верхней террасы, чтобы проделать опыт с косточкой манго.

Я глубоко погрузился в работу обмакивания и высушивания — впрочем, взрослый читатель не будет спрашивать меня о результатах. Но в другом углу той же террасы Шотто в течение часа вырастил совершенно иное волшебное дерево, с пышной листвою, о чем я тогда ничего не знал. Позже оно принесло своеобразные плоды.

После этого случая профессор как будто стал избегать меня, чего я, впрочем, долго не замечал. В экипаже он избегал садиться рядом со мною и вообще как бы опасался моей близости.

Однажды после уроков он предложил нам всем поочередно спрыгнуть со скамейки в нашей классной комнате: он хотел, по его словам, изучить различие в наших движениях при прыгании. Профессор знает много чудесных вещей, подумал я; должно быть, ему известна и какая-то тайна насчет прыгания. Мы все поочередно спрыгнули со скамейки. Профессор глубокомысленно покачал головой и промышал про себя что-то невнятное. Несмотря на все просьбы, нам не удалось вытянуть из него ни слова.

Другой раз чародей пригласил нас к себе, сказав, что некоторые из его добрых друзей хотят с нами познакомиться. Наши домашние не возражали, и мы пошли. Комната оказалась наполненной любопытными людьми. Во-первых, они обнаружили сильное желание услышать мое пение. Я спел им несколько песен. Не удивительно при моем возрасте, что мой голос не напоминал рыканья льва. Все покачали головой и заявили: «Чрезвычайно приятный голос». Затем, когда подано было угощение, они уселись вокруг нас и наблюдали, как мы едим. Я до того почти не имел дела с чужими, да и по природе был застенчив; кроме того, я уже рассказывал о том, каким образом Ишшор приучил нас к умеренности в еде. По крайней мере, все наблюдатели были поражены тем, как мало я ел. Если бы пристрастное внимание, с которым

приглашенные наблюдали в тот день наше поведение, встречалось у нас почаще, быстрый расцвет биологии был бы обеспечен в Бенгалии.

Пятый акт: я стал получать до непонятности теплые письма от профессора, которые и разъяснили все дело. На этом занавес опускается.

Я узнал от Шотто, что в то время, как я совершал магические действия над косточкой манго, ему удалось убедить профессора, что меня переодели мальчиком, чтобы я мог поступить в мужскую школу, но что в действительности я — девочка. Тем, кто любопытен до лженауки, именуемой «магия», я должен пояснить, что, согласно ее учению, девочки прыгают левой ногой вперед, а я как раз это и сделал, когда выполнял просьбу профессора. Я и не подозревал тогда, насколько ложен был мой шаг!

О Т Е Ц

Еще за несколько лет до моего рождения отец начал беспрерывно путешествовать по Индии. В детстве я его, можно сказать, совсем не знал. Время от времени он неожиданно приезжал домой и привозил с собой слуг, по большей части не бенгальцев, с которыми мне всегда очень хотелось познакомиться поближе. Однажды он привез с собой молодого пенджабца, по имени Лену, встретившего у нас теплый прием, который был бы достоин самого Ранджита Сингха. Он был представителем другой нации, и какой нации — пенджабской! Не удивительно, что мы были в восторге. Мы так же преклонялись перед всеми пенджабцами, как перед образами Бхимы и Арджуны в «Махабхарате». Они были воинами, и если иногда проигрывали сражение, в этом можно было винить только их врагов, но не их. Мы были страшно горды тем, что в нашем доме живет представитель этого славного племени. У моей невестки был игрушечный военный корабль под стеклянным колпаком; когда заводили механизм, то шелковые голубые волны приходили в движение, и корабль плавно качался на них под звуки музыки. После долгих просьб мне удавалось получать у нее и показывать это чудо глубокоизумленному Лену.

Для меня, замкнутого в доме, словно в клетке, все, напоминавшее о дальних странах, таило в себе особое очарование. Это была одна из причин, почему мне так понравился Лену. По той же причине меня всегда волновал приход еврея Габриеля, с его украшенным большими пуговицами сюртуком, продававшего благовония и душистые масла; а огромные кабулийцы, с их пыльными, мешковатыми панталонами и заплечными мешками и узлами, вызывали в детском уме очарование, смешанное со страхом.

Когда приезжал отец, мы удовлетворялись тем, что не отходили ни на шаг от его слуг, — непосредственно с ним мы не имели дела.

Однажды, когда мой отец был в Гималаях, все вдруг стали оживленно говорить о якобы угрожавшем русском нашествии — этом давнишнем пугале британского правительства. Одна благонамеренная дама, знакомая моей матери, поведала ей об этом со всею обстоятельностью богатого воображения. Ведь нельзя было предугадать, через какой из горных проходов Тибета могут внезапно, как роковая комета, появиться русские войска.

Мать моя была не на шутку встревожена. Очевидно, другие члены семьи не разделяли ее опасений, и, отчаявшись в сочувствии со стороны взрослых, она искала поддержки у меня. «Не напишешь ли ты отцу о русских?» — спросила она.

Это письмо, извещавшее о беспокойстве матери, было моим первым письмом к отцу. Я не знал, как надо начать и как кончить письмо и как вообще пишут письма. Я обратился к Моханондо, служащему нашей канцелярии. Получилась, несомненно, вполне корректная форма обращения, но чувства, выраженные в письме, не могли не отдавать запахом пыли, неотделимым от литературы канцелярского происхождения.

На письмо свое я получил ответ. Отец просил меня не бояться; если русские явятся, он сам отгонит их прочь. Это самоуверенное заявление вряд ли успокоило мою мать, но я совершенно забыл о своих опасениях. После этого у меня ежедневно являлось желание писать отцу, и я постоянно надоедал Моханондо. Не в силах противиться моей назойливости, он самолично изготовлял мне

письма, которые переписывал. Но я ничего не знал о том, что за пересылку требуется платить. Я не сомневался в том, что письма, сданные на руки Моханондо, достигнут назначения и что заботиться о них более нечего. Вряд ли нужно упоминать о том, что мои письма преспокойно оставались в канцелярии.

Когда, после долгого отсутствия, приезжал мой отец, он, казалось, переполнял собой весь дом. В известные часы он имел свидания со взрослыми членами семьи; для этого случая они надевали свои чоги и приходили к нему с серьезным и сдержанным видом, выплюнув кусочки бетеля, который они жевали. Все были как бы настороже. Мать сама наблюдала за приготовлением кушаний, чтобы быть уверенной в том, что все делается исправно. Старый слуга Кину, в своей белой ливрее и в хохлатом тюрбане стоял у дверей отцовской комнаты и предупреждал нас, чтобы мы не шумели во время его полуденного отдыха. Мы должны были ступать тихо, говорить шепотом и не осмеливались хотя бы украдкой заглянуть внутрь.

Однажды отец приехал домой, чтобы посвятить нас троих в брахманство при посредстве священного шнура. С помощью пандита Бедантобагиша он восстановил для этой цели древние ведические обряды. В течение нескольких дней Бечарам-бабу, друг отца, учил нас правильно произносить тексты «Упанишад», собранные в молитвеннике «Брахма Дхарма», изданном моим отцом. При этом мы сидели вместе с Бечарамом-бабу в молельне. Над нами совершили обряд посвящения в брахманы по всем правилам древнего ведического ритуала. Затем мы, трое молодых брахманов, с бритыми головами и золотыми кольцами в ушах, должны были провести в уединении три дня в одном из помещений третьего этажа.

Для нас все это было очень забавно. Кольца были очень удобны, чтобы тянуть друг друга за уши. В одной из комнат мы нашли маленький барабан; мы выходили с ним на веранду и, заметив кого-нибудь из слуг, проходящих по двору, привлекали его внимание звуками барабана. Взглянув наверх и увидев нас, он поспешно удалялся от греха подальше, низко опустив голову. Иными словами, мы не можем похвалиться тем, что провели эти три дня в аскетическом созерцании.

Я убежден, что в старину мальчики-отшельники часто были вроде нас. И если памятники древности рассказывают о том, что мальчики, вроде десяти или двенадцатилетнего Сарадваты или Сарнгараavy, проводили целые дни в жертвоприношениях и пении мантр, то мы отнюдь не обязаны безусловно доверять подобным свидетельствам; ибо еще древнее их — Книга о Душе Ребенка. Ни на одном языке нет откровения, более авторитетного, чем она.

После посвящения в брахманство я с большой охотой повторял гаятри. Я размышлял о ней с глубоким сосредоточением. Вряд ли я мог в то время вполне понять смысл такого текста. Я прекрасно помню, как я пытался расширить рамки своего сознания при помощи начального обращения к «Земле, тверди и небу». Трудно объяснить в точности, что я в эти минуты думал или чувствовал, но ясно одно: отчетливое понимание смысла слов отнюдь не есть важнейшее условие постижения. Обучение должно ставить себе целью стучаться в двери духа, а не объяснять смысл. Если спросить мальчика, что проснулось в нем при подобном стуке, он вряд ли сможет ответить что-либо вразумительное. Ибо то, что происходит внутри, гораздо глубже того, что может быть выражено в словах. Те, кто считает университетские экзамены достаточной проверкой плодов образования, не принимают этого во внимание. Я могу вспомнить о многих вещах, которых я не понимал, но которые производили на меня глубокое впечатление.

Однажды, когда мы находились на крыше нашей прибрежной виллы в Муладжоре, мой старший брат, увидев, что внезапно набежали тучи, произнес вслух несколько строчек из «Облака-Вестника» Калидасы. Я не понимал, да и не нуждался в понимании санскрита: с меня довольно было его восторженной декламации и звучного размера.

Другой раз мне в руки попало обильно иллюстрированное издание «Лавки древностей». Английского языка я тогда еще почти не знал. Я «прочел» эту книгу целиком, хотя, по крайней мере, девять десятых ее слов были мне неизвестны. Но из тех неопределенных представлений, которые я извлекал из остальных, я соткал пеструю нить, на которую мог нанизывать иллюстрации. Любой

университетский экзаменатор поставил бы мне круглый нуль за такое знание, но все же подобного рода «ознакомление» с книгой вовсе не было для меня столь бесплодным, как это могло бы показаться. Однажды мы вместе с отцом катались по Ганге в лодке. Среди взятых им с собою книг была «Гитаговинда» Джаядевы в старом издании Форта Уильяма, напечатанном бенгальским шрифтом. Стихи в нем были напечатаны не отдельно по строкам, а сплошь — как проза. Я тогда еще совершенно не знал санскрита, но, благодаря моему хорошему знанию бенгальского языка, многие слова были мне понятны. Трудно сказать, сколько раз я потом перечел эту «Гитаговинду». Я прекрасно помню следующую строчку:

Ночь прошла в одиноком приюте лесном...

Она дышала для меня смутно угадываемой красотой. Мне вполне достаточно было уже одного сложного санскритского слова, означающего «одинокий лесной приют». Мне пришлось самому открыть для себя сложный размер Джаядевы, что было сильно затруднено слитностью строк. Это открытие доставило мне громадное наслаждение. Конечно, я не вполне понимал содержание поэмы. Вряд ли можно даже сказать, что я постиг его хотя бы частично. Но звучание слов и биение размера наполняли мой дух образами чудесной красоты, что побудило меня переписать себе всю книгу для собственного пользования.

То же самое произошло, несколькими годами позже, с одним стихом «Рождения бога войны» Калидасы. Стих этот произвел на меня очень сильное впечатление, хотя единственные слова, смысл которых я уловил, были следующие: «Ветер, несущий брызги падающих вод священной Мандакини и сотрясающий листья деодаров». После этого отрывка мне страстно хотелось постигнуть остальное. Когда, позже, некий пандит сообщил мне, что в следующих двух строчках тот же ветер «расщепляет павлиньи перья на голове ревностного охотника за оленями», я был разочарован надуманностью и скудостью этого образа. Когда я его меньше понимал, стих мне гораздо больше нравился.

Всякий, кто вспомнит о своем раннем детстве, согласится со мною в том, что наиболее ценные духовные при-

обретения нисколько не были тогда соразмерны полноте понимания. Наши сказители хорошо это знают. В их рассказах постоянно встречается множество звучных санскритских слов и туманных выражений, которые действуют как намеки и отнюдь не рассчитаны на полное понимание со стороны простодушных слушателей. Значения подобных намеков не следует недооценивать. Те, кто измеряет результаты воспитания мерою фактических приобретений и утрат, требуют подсчета итогов и точного выяснения того, какая часть преподанного урока может быть воспроизведена. Но дети и те, кто не перевоспитан, обитают в том раю, где человек может знать, даже и не понимая всецело. И только когда этот рай потерян, настает злосчастный день, когда все необходимо понимать. Путь, ведущий к знанию не через безрадостный процесс понимания — вот царский путь. Если он закрыт, то — хотя бы мировое торжище и продолжалось по-прежнему — открытое море и вершины гор становятся недоступными.

Итак, как я уже упоминал, я в том возрасте не мог вполне понять смысла гаятри, но и без полного понимания эта мантра имела для меня смысл. Я вспоминаю, как однажды я сидел на каменном полу в углу нашей классной комнаты и размышлял об этой мантре; глаза мои наполнились слезами. Откуда эти слезы, я не знал; и если бы кто-нибудь внезапно и напрямик попросил у меня объяснения, я, вероятно, сказал бы что-нибудь, не имеющее никакого отношения к гаятри: ведь то, что происходит во внутренних тайниках сознания, не всегда известно обитателю поверхности.

Я ОТПРАВЛЯЮСЬ В ПУТЕШЕСТВИЕ С ОТЦОМ

После церемонии посвящения в брахманы я не знал, как мне показаться в школу с обритой головою. Как бы юноши смешанного англо-индийского происхождения ни чтили корову, но почтение к брахманам у них явно отсутствует. Понятно поэтому, что наши бритые головы служили мишенью для всякого рода колкостей, если не для других метательных снарядов. Однажды, когда я

с грустью размышлял о предстоящих неприятностях, за мною прислал отец. Хотел ли бы я поехать с ним в Гималаи? Хочу ли я? Если бы от моих радостных криков треснуло небо, это дало бы, пожалуй, точное представление о том, как я хотел. Только подумайте: Бенгальская академия — и вдруг Гималаи!

В день отъезда отец, согласно своему обыкновению, собрал всю семью в молельне. Взяв прах от ног старших членов семьи, я вошел в экипаж вместе с отцом. В первый раз в моей жизни я был в одежде, сшитой на заказ. Отец сам выбрал фасон и цвет материи. Вышитая золотом круглая бархатная шапочка довершала мой наряд. Втайне опасаясь ее несоответствия моей бритой голове, я держал шапочку в руке. Но когда мы уселись в экипаж, отец, который не терпел небрежности в одежде, настоял на том, чтобы я ее надел, и мне пришлось это сделать. В поезде, каждый раз, как он отворачивался, я ее снимал, но он тотчас же снова поворачивался ко мне, и шапочка водворялась на прежнее место.

Мой отец был очень точен во всех своих распоряжениях и указаниях. Он не любил оставлять что-либо неясным или неопределенным и не терпел неряшливости и незаконченности. У него был вполне установленный кодекс взаимоотношений с людьми. Этим он отличался от большинства своих соотечественников. Для всех нас ничего не значили некоторая неточность или послабление в том или ином пункте; поэтому в отношениях с ним нам приходилось соблюдать скрупулезную точность. Он не столько возражал против самих уклонений от его требований, сколько против проявляющейся в этом внутренней слабости.

Мой отец обыкновенно заранее точно намечал все подробности того, что должно быть сделано. Когда происходила какая-либо религиозная церемония и он не мог присутствовать, он заранее придумывал и назначал место для каждой вещи, обязанности для каждого члена семьи, стул для каждого гостя; ничто не ускользало от его предусмотрительности. А после церемонии он расспрашивал отдельно каждого из ее участников и таким образом составлял себе целостное представление обо всем ее ходе.

Этим он отличался от своих соотечественников. В его мыслях, характере, поступках не было и тени непоследовательности. Так и во время нашего путешествия он, правда, нисколько не препятствовал мне развлекаться, но в других отношениях он окружил меня плотной стеной строгих правил поведения, не оставлявших никаких лазеек для уклонений.

Первая наша остановка была в Болпуре, где мы пробыли несколько дней. Незадолго до нас там побывал Шотто со своими родителями. В нынешние времена ни один уважающий себя мальчик не поверил бы рассказу о его путешествии, который он поведал нам по возвращении. Но мы не имели еще опыта в проведении границ между возможным и невозможным. Криттибаш и Каширам Дас не дали, к сожалению, никаких указаний на этот счет. Не было у нас и иллюстрированных детских книг, которые учат детей различать правду и ложь. Безжалостно непреклонные законы, управляющие миром, познавались нами лишь по мере того, как мы сталкивались с ними.

Шотто сообщил нам, что посадка в железнодорожный вагон без надлежащего опыта есть дело чрезвычайно опасное; стоит лишь поскользнуться — и все пропало. Далее, сидя на скамейке в вагоне, необходимо держаться за нее изо всех сил, ибо толчок при отходе поезда настолько ужасен, что неизвестно даже, куда можешь быть отброшен. Когда мы прибыли на вокзал, я весь трясся от страха. Но мы с изумительной легкостью заняли места в нашем купе, и я решил, что худшее, очевидно, впереди. Когда же через некоторое время поезд тронулся до нелепости плавно и никаких признаков опасности не было и в помине, я был горько разочарован.

Поезд мчался вперед; широкие поля, окаймленные зелено-голубыми деревьями, и деревни, гнездящиеся в их тени, текли мимо вереницей картин, таявших одна за другою, как поток миражей. Был уже вечер, когда мы достигли Болпура. Войдя в паланкин, я закрыл глаза. Мне хотелось, чтобы чудесная картина Болпура сразу развернулась передо мною в утреннем свете. Я опасался, что свежесть впечатлений будет нарушена смутностью образов, схваченных во мраке.

Когда я утром проснулся и вышел из дому, сердце мое трепетно билось от нетерпения. Шотто сказал мне, что в Болпуре имеется одна особенность, которой нет нигде более на всем свете, а именно: от главного здания к дому слуг ведет дорога, которая, не имея над собою никакого прикрытия, не позволяет ни солнечным лучам, ни струям дождя касаться идущих по ней. Я вышел, чтобы поискать эту волшебную дорогу, но читатель, вероятно, не удивится, что я не нашел ее и по сей день.

Выросши в городе, я никогда не видел рисового поля; но мое воображение рисовало мне чарующий образ пастушка, о котором я читал. Я слышал от Шотто, что болпурский дом окружен полями зреющего риса и что он там каждый день вел с пастушками игры, увенчивавшиеся собиранием, варкой и вкушением риса.

Я с нетерпением озирался вокруг. Но где, о, где рисовые поля среди этой бесплодной равнины? Пастушки тут где-нибудь, быть может, и имеются, но как отличить их от других мальчиков — вот вопрос.

Впрочем, я достаточно быстро забыл о том, чего не мог видеть — того, что я видел, было вполне достаточно. Здесь уже не было господства слуг, и единственным кругом, обнимавшим меня, был лазурный горизонт, который богиня — покровительница тех мест — обвела вокруг них, — но он ни в чем не нарушал свободы моего движения. В его пределах я мог двигаться свободно, как и куда мне вздумается.

Хотя я был еще ребенком в то время, отец не стеснял моих странствий. В углублениях песчаной почвы дождевая вода вырыла глубокие борозды и намыла миниатюрные горные цепи, усеянные песком и камнями различной формы, между которыми текли тонкие струйки, — в целом, пейзаж страны лиллипутов. Я набрал в полу моей куртки множество странных камешков и принес коллекцию моему отцу. Он никогда не обнаруживал пренебрежения к моим стараниям; напротив, он и сам пришел в восторг.

— Замечательно! — воскликнул он. — Где ты набрал все это?

— Там есть еще гораздо больше камешков, тысячи и тысячи! — выпалил я. — Я мог бы приносить каждый день столько.

— Это было бы неплохо, — ответил он. — Почему бы не украсить ими мой холмик?

В саду нашего дома начали рыть пруд, но оказалось, что подпочвенная вода слишком глубоко расположена; работа не была доведена до конца и брошена; от нее осталась вырытая земля, сложенная холмиком. На вершине этого холмика отец обычно садился для совершения утренней молитвы; и в то время, как он сидел, солнце поднималось над краем волнистой равнины, простиравшейся перед ним до восточного горизонта. Этот-то холмик он и поручил мне выложить камешками. При отъезде из Болпура я был очень опечален тем, что не мог взять с собою собранных мною камешков. О том, что перевозка такого груза повлечет за собою затруднения и расходы, я не имел тогда представления. Мне и до сих пор трудно понять, почему я не имею безусловного права поддерживать тесную связь с вещами уже на одном том основании, что я их собрал. Если бы судьба даровала мне исполнение моего желания, о котором я так горячо молился тогда, и устроила так, чтобы я мог всегда иметь при себе эту коллекцию камней, я вряд ли посмел бы смеяться над этим сегодня.

В одном из оврагов я нашел углубление, полное ключевой воды, вытекающей из него ручейком, в котором играли крошечные рыбки, бойко пробиваясь против течения.

— Я нашел такой миленький родник, — сказал я отцу. — Нельзя ли нам брать оттуда воду для купания и для питья?

— Прекрасно, — согласился он, разделяя мое восхищение, и, ради поощрения исследователя, отдал распоряжение о том, чтобы нам носили воду из этого источника.

Я неумоимо бродил среди этих миниатюрных холмов и долин в надежде наткнуться на что-нибудь, дотоле невиданное. Я был Ливингстоном этой неисследованной страны, которая имела такой вид, как будто ее наблюдали через обратный конец телескопа. В ней решительно все — ее карликовые финиковые пальмы, жалкие дикие сливы, малорослые джамболаны — гармонировало с миниатюрными горными хребтами, маленьким ручейком и крошечными рыбками, которых я открыл, — не говоря уже о самом исследователе.

Желая, должно быть, научить меня аккуратности, отец стал давать мне мелкие деньги и велел вести им счет. Кроме того, он вменил мне в обязанность заводить вместо него его драгоценные золотые часы. Стремясь развить во мне чувство ответственности, он забывал о возможном ущербе. Когда мы выходили вместе на утреннюю прогулку, он поручал мне давать милостыню каждому нищему, который попадался нам навстречу. Но я никогда не умел представить ему точного отчета в конце прогулки. Однажды мой баланс оказался больше того, что следовало ожидать по расчету.

— Мне остается только назначить тебя моим кассиром, — заметил отец. — Деньги каким-то образом умножаются в твоих руках!

Его часы я заводил с таким неустойчивым усердием, что их очень скоро пришлось отправить для починки калькуттскому часовщику.

Я вспоминаю о том времени, когда впоследствии мне было поручено заведовать нашим имуществом и мне приходилось представлять отчет отцу, страдавшему плохим зрением, второго или третьего числа каждого месяца. Я должен был сначала прочитывать итоги под каждой рубрикой, и если у него возникали сомнения по какому-либо пункту, он спрашивал меня о подробностях. Если же я пытался утаить или незаметно пробежать через какую-нибудь статью счета, неодобрения которой я опасался, мое намерение им всегда обнаруживалось. Первые дни каждого месяца были тревожными днями для меня. Как я уже говорил, у отца было обыкновение отчетливо удерживать все перед своим духовным взором, будь то цифры, или счета, или распорядок церемоний, или прирост и изменения в имуществе. Он никогда не видел нового храма, построенного в Шантиникетоне, но прекрасно знал все подробности его устройства благодаря своим расспросам всех бывавших у него после посещения Шантиникетона. Он обладал превосходною памятью и, однажды узнав о какой-либо вещи, никогда о ней больше не забывал.

Отец отчеркнул любимые стихи в своем экземпляре «Бхагавадгиты». Он попросил меня переписать их для него, совместно с бенгальским переводом. Дома на меня мало обращали внимания, но здесь, когда на меня были

возложены столь важные обязанности, я чувствовал себя польщенным.

К тому времени я уже распрощился со своей истрепанною голубою тетрадкой и приобрел себе переплетенный дневник. Я стал заботиться о том, чтобы внешние аксессуары отвечали моим занятиям поэзией. Мне важно было не только писать стихи, но и воображать себя поэтом. Поэтому, когда я писал стихотворения в Болпуре, я любил делать это, развалившись под молодой кокосовой пальмой. Мне казалось, что этого требуют истинно поэтические манеры. Так, лежа на жестком голом песке в горящих лучах солнца, я сочинил воинственную балладу на тему о поражении Притхвираджа. Невзирая на изобилие воинственности, поэме этой не удалось избежать ранней смерти. Этот переплетенный том дневника последовал за своею старшей сестрой, голубой тетрадью, не оставив даже адреса.

Мы покинули Болпур и, после кратких остановок в Сахибгандже, Динапуре, Аллахабаде и Канпуре, прибыли в Амритсар.

Мне запомнился случай, происшедший по дороге. Поезд остановился на какой-то крупной станции. Пришел контролер и проколол наши билеты. Он пытливо посмотрел на меня, как будто у него явилось сомнение, которого он не хотел высказать. Он ушел и вернулся с товарищем. Оба они потолкались у двери нашего купе и тоже ушли. Наконец, пришел, кажется, сам начальник станции. Он взглянул на мой полубилет и спросил:

— Мальчику не больше двенадцати лет?

— Нет, — ответил мой отец.

Мне тогда было всего лишь одиннадцать, но я казался старше своих лет.

— Вам придется взять целый билет для него, — сказал начальник станции.

Глаза у отца сверкнули, но, не говоря ни слова, он вынул ассигнацию из своей шкатулки и передал ее начальнику станции. Когда отцу принесли сдачу, он с презрением швырнул ее назад, и деньги со звоном покатались по каменному перрону, а начальник станции ушел, пристыженный этим ответом на свое мелочное подозрение.

Золотой храм в Амритсаре вспоминается мне, как сон. Много раз по утрам я сопровождал отца к этому расположенному посреди озера храму сикхов. В нем непрерывно звучало священное пение. Мой отец, сидя среди толны молящихся, иногда присоединял свой голос к хвалебным гимнам, а они, видя, что иноверец участвует в их молебне, приходили в восторг и всячески выражали ему свое почтение; мы возвращались домой, нагруженные освященными приношениями сахарных леденцов и других сластей.

Однажды отец пригласил одного из певцов к нам и попросил его спеть некоторые из священных песен сикхов. Тот ушел, вероятно более чем удовлетворенный полученным вознаграждением. В результате нам пришлось принимать энергичные меры самозащиты — столь настойчивая армия певцов осадила нас. Когда они убедились в неприступности нашего дома, они начали подкарауливать нас на улицах. Когда мы утром выходили на прогулку, время от времени перед нами всплывала тамбура, перекинутая через чье-то плечо: для нас это было — что для дичи ствол охотничьего ружья. Мы были настолько осторожны, что даже издали звон тамбуры действовал на нас, как холостой выстрел — он обращал нас в бегство; так охотникам и не удавалось поймать нас.

Когда наступал вечер, отец садился на веранде, выходящей в сад, и приглашал меня петь ему.

Взошла луна; ее лучи, сквозь чащу деревьев, падают на пол веранды; я пою в ладе бехага:

Если не ты, — кто спасет от беды,
В сумраке ночи отыщет следы?

Отец, склонив голову и сложив руки, внимательно слушает. Я отчетливо вспоминаю эту вечернюю сцену и посейчас.

Я рассказывал о том, как развеселила отца моя детская попытка писать стихи на религиозную тему, о которой рассказал ему Шриконтхо-бабу. Я вспоминаю, что позже я все-таки взял свое, и мне хочется рассказать об этом здесь. К одному из праздников месяца магх ряд гимнов был сочинен мной. Один из них начинался так:

Не зрит наш глаз тебя: ведь ты зрачок в глазу.

В то время отец находился в Чинсуре. Он послал за мною и моим братом Джоти и попросил брата аккомпанировать мне на фисгармонии, а меня — пропеть ему все мои новые гимны, один за другим. Некоторые из них мне пришлось повторить. Когда я кончил, он сказал:

— Если бы владыка нашей страны знал бенгальский язык и мог оценивать его поэзию, он, несомненно, вознаградил бы певца. Но раз это не так, я чувствую себя обязанным сделать это. — С этими словами он протянул мне чек на пятьсот рупий.

Отец взял с собою несколько томов из серии рассказов Питера Парли, чтобы учить меня. Он выбрал для начала биографию Франклина. Он думал, что она будет читаться, как роман, и будет интересна и поучительна зараз. Но как только мы приступили к чтению, он заметил свою ошибку. Франклин был слишком прозаическим человеком. Узость его рассчитанной морали вызвала отвращение у моего отца. Иногда его настолько возмущали поучения «жизненной мудрости» Франклина, что он не мог удержаться от резких замечаний по его адресу.

До тех пор я почти не занимался санскритом, если не считать немногих выученных наизусть грамматических правил из «Мугдхабодхи». Отец сразу засел со мною за вторую часть «Риджупатха», книги для чтения Биддашагора, заставляя меня выучивать склонения из «Упокроники». Мое хорошее знание бенгальского языка сослужило мне тогда службу. Отец с самого же начала побуждал меня сочинять по-санскритски. Из слов, заученных мною во время чтения, я составлял грандиозные сложные слова, обильно снабженные звонкими носовыми, превращая язык богов в какую-то дьявольскую мешанину. Но отец никогда не упрекал меня за мою самонадеянность.

Кроме того, мы читали с ним «Популярную астрономию» Проктора, которую отец объяснял мне на легком языке и которую я затем излагал по-бенгальски.

Среди книг, которые отец взял с собою для собственного употребления, мое внимание привлекло большое десяти или двенадцатитомное издание «Истории Рима» Гиббона. Эти томы казались мне донельзя скучными.

«Я ведь мальчик, — думал я, — я беспомощен и читаю много потому, что меня заставляют. Но зачем взрослому человеку, который вправе читать то, что ему хочется, мучить себя подобным чтением?»

В ГИМАЛАЯХ

Около месяца мы пробыли в Амритсаре, а к середине чойтро выехали по направлению к холмам Далхузи. Последние несколько дней в Амритсаре тянулись нескончаемо долго: так могущественно влекли меня к себе Гималаи.

Когда мы поднимались наверх в джампане, уступчатые горные склоны всё горели красотой весеннего расцвета. Каждое утро после завтрака, состоявшего из молока и хлеба, мы двигались в путь и перед заходом солнца останавливались на ночь на ближайшей станции. Мои глаза целый день не знали отдыха, — так сильно боялся я что-либо пропустить. Каждый раз, когда дорога вступала в ущелье и громадные густолиственные лесные деревья сдвигались теснее, а из глубины их прохладной тени выбегал водопад, — точно маленькая дочь пустыни, играющая у ног седовласых мудрецов, погруженных в созерцание, — и с журчанием прыгал по черным обомшелым скалам, носильщики ставили джампан на землю и отдыхали. «Почему, о, почему мы покидаем такие места, — кричало мое жаждущее сердце, — почему мы не можем остаться здесь навсегда?»

В этом — великое преимущество первого узрения: дух тогда еще не знает, что встретит много столь же заманчивого. Когда же это становится известным расчетливому существу, оно всячески сокращает трату внимания. Лишь когда дух считает что-либо редким, он перестает скупиться на оценки. Так иногда на улицах Калькутты я воображаю, что я иностранец, и только тогда я открываю, как многое достойно быть отмеченным и теряется, пока на него не обращена вся полнота заслуженного внимания. То, что гонит людей путешествовать, это — голод по настоящему видению.

Отец передал в мое ведение свою денежную шкатулку. У него не было оснований думать, что я наиболее

подходящий хранитель тех довольно значительных сумм, которые он держал в ней для нужд путешествия. Он, несомненно, чувствовал бы бóльшую уверенность в ее судьбе, если бы она была в руках его приближенного, Кишори Чатерджи. Я могу только предположить, что он стремился развить во мне чувство ответственности. Однажды, когда мы ночевали в станционном здании, я забыл передать ее ему и оставил на столе. За это я получил выговор.

Каждый раз, когда мы прибывали на очередную станцию, мы усаживались на стульях снаружи, подле здания. Наступал мрак, звезды ярко пылали сквозь ясный горный воздух; отец показывал мне созвездия и вел разговоры на астрономические темы.

Дом, который мы заняли в Бакроте, стоял на самой высокой из окрестных вершин. Приближался бойшакх, но здесь было еще очень холодно, — настолько, что затененный склон холма был еще застлан белым покровом.

Отец спокойно позволял мне бродить, сколько вздумается.

Несколько ниже нашего дома находилась гора, густо заросшая деодарами. В их чащу я часто отваживался проникать один, со своей палкой, снабженной железным наконечником. Эти царственные лесные деревья, с их огромными тенями, высящиеся, как толпа великанов, — какие долгие жизни прожили они в веках! А этот мальчик, живущий со вчерашнего дня, бродит беспрепятственно между их стволами. Мне казалось, что, вступая в их тень, я ощущаю тяжкий холод, идущий от какого-то допотопного ящера, сетка же света и теней на усеянной листьями земле — его чешуя.

Моя спальня была в конце дома. Лежа на постели, я мог видеть сквозь незавешенные окна удаленные горные вершины, тускло белеющие в звездном свете. Иногда — в котором часу, я не мог сообразить — я, полупроснувшись, видел отца, который, накинув красную шаль, держа в руке зажженный фонарь с восковой свечой, тихо проходил мимо к застекленной веранде, где он предавался молитвам.

Я снова засыпал, но, вторично проснувшись, находил его у своей постели; он будил меня легким толчком, когда было еще совсем темно. То был час, назначенный

мне для заучивания санскритских склонений из «Упокроники». Как мучительно было вылезать из-под ласкающего тепла одеял!

Между тем солнце всходило; отец, после молений, кончал со мною наш молочный завтрак и затем шел, стоя рядом со мною, тексты из «Упанишад».

Потом мы выходили на прогулку. Но как мне было поспеть за ним? Этого не могли бы и многие из взрослых. Через некоторое время я отставал и кратчайшим путем спускался назад по горному склону.

Когда отец возвращался, мы час занимались английским. После десяти часов следовало купание в ледяной воде; бесполезно было бы просить слуг разбавить ее хотя бы кружкой горячей воды без позволения отца. Чтобы приободрить меня, отец рассказывал мне о невыносимо холодных купаниях, которые он совершал в молодости.

Другим подвигом самоумерщвления было для меня питье молока. Отец очень любил молоко и мог пить его много. Но у меня, к прискорбию моему, отсутствовала любовь к молоку — потому ли, что я не унаследовал отцовской склонности, или же под влиянием неблагоприятной обстановки, о которой я говорил. К несчастью, мы пили молоко вместе. Мне пришлось отдать себя на милость слуг, и их человеколюбию (или молоколюбию) я обязан тем, что мой стакан с тех пор более чем наполовину бывал наполнен пеной.

После полуденной закуски опять начинались уроки. Но это было уже не под силу моему организму. Мой прерванный утренний сон требовал реванша, и на меня напала непреодолимая сонливость. Отцу становилось жалко, но как только он отпускал меня, моей сонливости — как не бывало! А затем — прочь, к «божественным царям гор»!

С палкой в руке я после полудня часто уходил далеко в горы. Отец никогда не противился этим странствиям. До самого конца своей жизни он ничем, видно, не хотел ограничивать нашу независимость. Не раз я говорил или делал вещи, неприемлемые как для его вкуса, так и для его воззрений; он одним словом мог бы остановить меня, но он никогда этого не делал; он предпочитал дожидаться, чтобы мы одумались сами. Его не удовлетворяло пассивное соблюдение нами пристойного и должного; он желал,

чтобы мы полюбили истину всем сердцем; он знал, что простое повиновение без любви — бесплодно. Он знал также, что истина, даже будучи утрачена, может быть найдена вновь, но что насильственное или слепое приятие ее извне закрывает к ней путь.

С ранней молодости я мечтал о том, чтобы проехаться по главной дороге, вплоть до самого Пеншавара, в повозке, запряженной быками. Никто не поддерживал этого плана, и, несомненно, можно было бы многое возразить против него с практической стороны. Но когда я обсуждал его с отцом, он нашел, что это блестящая идея: путешествие по железной дороге вообще не заслуживает названия путешествия. После этого замечания он принялся рассказывать мне о своих отважных странствиях пешком, верхом и т. д. О неудобствах или опасностях моего плана он не обмолвился ни словом.

В другой раз, когда я только что был назначен секретарем Ади Брахмо Самаджа, я навестил моего отца в его квартире на Парк Стрит и сообщил ему, что не одобряю правила Брахмо Самаджа, согласно которому только брахманы в праве совершать богослужение. Он не колеблясь разрешил мне изменить это положение, если это мне удастся. Но оказалось, что, имея право, я не имею силы сделать то, что хочу. Я мог раскрыть несовершенство, но не мог создать совершенство. Где подходящие люди для этого? Как мне привлечь таких людей? Способен ли я построить что-либо вместо того, что я разрушу? Прежде чем явятся надлежащие люди, какая-нибудь форма лучше, чем никакая, — таково было мнение отца. Но он и не пытался разубеждать меня указаниями на трудности дела.

Как он позволял мне блуждать по горам, сколько и куда мне вздумается, так и в поисках истины он предоставлял мне находить собственный путь. Его не устрашали возможные мои ошибки, его не тревожили угрожающие мне беды. Он водружал перед нами образец жизни, а не жезл власти.

Я часто говорил с отцом о том, что делается дома. Когда я получал письмо от кого-либо из домашних, я спешил показать его отцу. Я убежден, что он от меня узнавал таким образом о многих подробностях, о которых ему помимо меня не от кого было узнать.

Он же давал мне читать письма, получаемые им от моих старших братьев. Таким путем он учил меня, как следует писать ему, — ибо он отнюдь не пренебрегал внешними формами вежливости.

Я вспоминаю, как в одном из писем, полученных от моего второго брата, тот жаловался, в чрезмерно санскритизированном стиле, на то, что смертельно устает от работы, прикованный как бы цепями к своему делу, диктуемому долгом. Отец попросил меня разъяснить ему содержание одного места письма. Я объяснил его по-своему, но отец не согласился и истолковал его иначе. Самомнение побудило меня принять вызов, и я пустился с ним в длинные споры. Другой на его месте остановил бы меня сердитым замечанием, но отец терпеливо выслушал и взял на себя труд оправдать передо мною свой взгляд.

Отец иногда рассказывал мне забавные истории. Он знал множество анекдотов об аристократической молодежи дней своей молодости. Среди нее были неженки, для которых вышитый край одежды, даже из даккского муслина, был слишком груб, так что одно время считалось чрезвычайно модным носить муслин с отрезанной каймой. Меня также очень рассмешила в первый раз услышанная мною от отца история о молочнике, которого подозревали в том, что он разбавляет молоко, и чем большему количеству слуг его заказчик поручал смотреть за ним, тем все более голубым оказывалось молоко, пока, наконец, когда оно уже стало почти прозрачным, заказчик не спросил его сам, в чем дело; тогда тот признался, что, если бы ему пришлось удовлетворять еще большее количество надсмотрщиков, в молоке скоро завелись бы, наверное, уже и рыбки.

После того, как я таким образом провел с отцом несколько месяцев, он отослал меня в Калькутту в сопровождении своего приближенного Кишори Чатерджи.

МОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ

Когда я расстался с отцом, цепи сурового режима, сковывавшие меня до того, наконец отпали. Вернувшись, я сделался полноправным членом семьи. Самая моя бли-

зость ранее делала меня незаметным; пробыв некоторое время в отсутствии, я вновь приобрел интерес для наших домашних.

Некоторое предвкушение этого я испытал еще на обратном пути. Я путешествовал один, со слугою, был полон цветущего здоровья и бодрости, на голове сверкала шапочка, вышитая золотом; не удивительно, что англичанки, с которыми я сталкивался в пути, не оставляли меня в покое.

Мое возвращение было не только возвращением домой после путешествия, но также возвращением из общества слуг — во внутренние покои, двери которых раскрылись передо мной. Когда домочадцы собирались в комнате моей матери, я занимал почетное место, и та, которая была тогда самой молодой невесткой в доме, щедро одаряла меня вниманием и любовью.

В детстве любящая забота женщины принадлежит нам без нашей просьбы; она такая же необходимость, как свет и воздух, и мы ее принимаем без сознательной благодарности, как нечто естественное и должное: подрастающее дитя склонно даже обнаруживать нетерпение освободиться от окружающей его сети женской заботы. Но несчастный, лишенный ее в том возрасте, когда она необходима, есть истинно нищий. Таков именно был мой удел. И вот теперь, после того, как я вырос в обществе слуг, внезапно получив в дар всю щедрость женской любви, я не мог остаться к ней бесчувственным. В те дни, когда внутренние покои были для меня недоступны, они были для моего воображения раем; женская половина дома, которая обычно считается местом заключения, мне казалась обителью свободы. Там не было ни школы, ни учителя; никто там, мнилось мне, не обязан делать то, чего не хочет; уединенность и праздность, царившие на женской половине, казались мне таинственными; там играли, делали, что хотели, и не должны были никому давать отчета в своих действиях. В особенности так обстояло с сестрой, которой, хотя она вместе с нами училась у пандита Нилкомола, было совершенно безразлично, знала ли она уроки хорошо или плохо. Между тем как мы в десять часов должны были, проглотив наскоро завтрак, собираться в класс, она беззаботно уходила на женскую половину,

потряхивая косичками, и вселяла в нас мучительное смещение. Когда же в дом вошла новая невестка в золотом ожерелье, тайна внутренних покоев сгустилась. Она пришла извне и стала одной из нас; незнакомка — и стала своей: я горел желанием подружиться с нею. Но когда я пытался, уловив момент, проникнуть в глубь дома, сестра выталкивала меня: «Вам, мальчикам, нечего здесь делать, ступай прочь!» Я преисполнялся чувством безнадежности и обиды. Сквозь стеклянные двери их комнат можно было уловить очертания странных предметов из фарфора и стекла великолепной окраски и орнаментовки. Нас не считали достойными даже прикоснуться к ним, у нас не хватило бы духу и попросить об этом. Эти редкие и прекрасные предметы служили только для того, чтобы окрасить еще большей привлекательностью чары внутренних покоев.

Так дни за днями проходили в изгнании. Как внешняя природа, — так недостижимы для меня были и внутренние покои; поэтому мои редкие впечатления были ярки, как картины. В десятом часу вечера, когда уроки с Огхором-бабу кончены, я возвращаюсь к себе спать. Тускло мерцающий фонарь висит в длинном, крытом на венецианский лад коридоре, ведущем во внутренние покои. Миновав его, я спускаюсь на четыре-пять ступенек которых не достигает свет, и направляюсь на веранду, окружающую первый внутренний дворик. Луч лунного света падает с восточной части неба на западный угол этой веранды, оставляя большую часть ее во мраке. В этой полоске света собрались служанки; они сидят, тесно прижавшись друг к дружке, на полу, вытянув ноги; скручивая фитили для светильников, они вполголоса болтают о своих семьях в деревне на родине. Много таких картин неизгладимо отпечаталось в моей памяти.

После ужина — мытье ног на веранде, перед тем как растянуться на широком просторе нашей кровати, где мы, мальчики, спали втроем. Одна из нянек, Шонкори, Пери или Тинкори, садится тогда в головах и тихо рассказывает сказку о принце, который ехал пустынной дорогой. Сказка кончается, и в комнате воцаряется тишина. Лицом к стене, я смотрю на еле видные в тусклом свете белые и черные полосы, образованные отпавшей штукатуркой:

Я вызываю из них множество причудливых образов и понемногу засыпаю. Иногда среди ночи я слышу крики старого Шорупа — сторожа, обходящего дозором веранду за верандой.

И вот, из этого неведомого, фантастического мира внутренних покоев изшло то признание, по которому я так долго томился; внезапно было мне выплачено полностью с накопившимися недоимками то, что должно было выплачиваться постепенно день за днем. Должен признаться, что голова моя закружилась.

Маленькому путешественнику приходилось обходить комнату за комнатой с рассказами о своем странствии, но с каждым повторением рассказ становился все менее связан, пока он вовсе не перестал удовлетворительно связывать события. Увы! Как и все прочее, отвечает и рассказ, а заодно и слава рассказчика; ему приходится всякий раз освежать краски.

После возвращения домой я был главным рассказчиком на собраниях, происходивших у моей матери по вечерам на верхней террасе, под открытым небом. Трудно устоять против соблазна прославиться в глазах матери, тем более, что этой славы достигнуть нетрудно.

Когда я был в Нормальной школе, я вычитал в учебнике, что солнце в миллион четыреста тысяч раз больше земли, и объявил эту истину в тот же день на собрании у моей матери; это было для нее достаточным доказательством того, что малое на вид может обладать громадною величиною. Я удивлял ее, читая наизусть стихотворные отрывки, служившие примерами в главе о стихосложении и стиле в нашей бенгальской грамматике. Один из них я запомнил:

О муха! Это добрая примета —
Ты складываешь лапки в знак привета.
Куда ты тянешь тонкий хоботок?

Теперь же я на этих вечерних собраниях, овеваемых южным ветерком, излагал ей обрывки астрономических знаний, почерпнутых у Проктора.

Приближенный моего отца, Кишори Чатерджи, принадлежал одно время к странствующей труппе, декламировавшей звучные стихи эпоса Дашоротхи. Когда мы были в горах, он часто говорил мне: «О мой братец, если бы

ты был в нашей компании, мы могли бы давать блестящие представления». Мое воображение рисовало мне тогда прельщающую картину: мальчик декламирует, поет и читает перед публикой, странствуя из города в город. Я научился от него многим песням Дашурая: «О брат мой! Отправляйся с Ситой в лес», «Жизнь кончена, о ты, лотосоокая», «На ногах твоих краски цветов отражаются», «Наводишь ты и прогоняешь страх». Эти песни имели больший успех, чем мои рассказы о фотосфере солнца и о лунах Сатурна.

Но из всех моих успехов больше всего импонировало моей матери то, что я читал с отцом самого махарши Вальмики в оригинале, с соблюдением санскритского метра, между тем как обыкновенные люди принуждены ведь всю жизнь довольствоваться бенгальским переводом «Рамаяны» Криттибаша. «Прочитай мне что-нибудь из этой «Рамаяны», прочитай», — сказала она, страшно обрадованная, когда я принес ей это известие.

Увы, мое знание Вальмики ограничивалось краткими выдержками из «Рамаяны», которые были приведены в «Риджупатхе», моем учебнике санскрита, да и теми я овладел не вполне. Больше того, думая об этом теперь, я нахожу, что память обманула меня, и многое из того, что, как мне казалось, я знал твердо, на самом деле я знал очень туманно. Но у меня не было мужества сказать «я забыл» матери, ждущей нетерпеливо доказательства блестящих талантов ее сына; в моем чтении было поэтому значительное расхождение между намерениями Вальмики и тем, что получалось. Кроткий сердцем мудрец, мягко улыбнувшись в своей небесной обители, верно, простил мальчика, искавшего материнского одобрения, но вряд ли вполне простил мне Мадхусудан, Смиритель Гордости.

Моя мать, вне себя от радости, хотела, чтобы все разделили ее удивление пред моим необыкновенным талантом. «Ты должен прочитать это Диджендро», — сказала она. «Попался», — подумал я и выставил против этого все доводы, какие мог придумать, но моя мать и слышать ничего не хотела, послала за старшим братом и, едва он вошел, обратилась к нему: «Послушай, как чудесно Раби читает «Рамаяну» Вальмики». Пришлось подчиниться. Мадхусудан сжалился и обнаружил меру в проявлении

своей великой силы смирять гордость; мой брат, вероятно, озабочен был своими литературными делами: он не обнаружил нетерпения услышать мой перевод с санскритского на бенгальский и, едва я успел прочитать несколько строк, он только заметил: «Прекрасно», — и удалился.

После моего допуска во внутренние покои, мне стало еще труднее вернуться к школьной жизни. Я стал прибегать ко всевозможным уловкам, чтобы освободиться от Бенгальской академии. Пытались определить меня в колледж св. Ксаверия, но с тем же результатом.

После нескольких попыток, мои старшие братья оставили всякую надежду на меня и даже перестали бранить. Однажды моя старшая сестра сказала: «Мы все надеялись, что Раби станет человеком, когда подрастет, но он разочаровал нас». Я чувствовал, что ценность моя в обществе явно понижается, и тем не менее не мог подчинить свой ум и дать привязать его к вечному жернову школьной мельницы, которая, в своей чуждости жизни и красоте, казалась мне ужасным и жестоким соединением больницы и тюрьмы.

Одно воспоминание о колледже св. Ксаверия для меня доныне свежо и чисто — воспоминание о преподавателях. Не потому, чтоб они были все в равной мере безупречных качеств, в частности, в тех, которые преподавали в нашем классе, я не видел благоговейного смирения духа; они ни в коем случае не возвышались над уровнем обычных бессердечных автоматов обучения. Машина воспитания безжалостно могущественна сама по себе; но нет на свете другого столь страшного жернова для сокрушения человечности, как внешние формы религии. Если люди изгнаны в эту пустыню и к тому же навеки прикованы к колесу школьной машины, то ясно, что от них ничего хорошего ждать нельзя. Среди моих учителей было, если не ошибаюсь, несколько человек в таком роде. И все же, как я сказал, я сохранил воспоминания, в которых образ моих учителей высится как идеал. Таково, например, воспоминание об отце де Пенеранда. Он с нами мало соприкасался: если память меня не обманывает, он лишь временно замещал нашего постоянного учителя. Он был испанец и с затруднением говорил по-английски. Быть может, поэтому мальчики мало обращали внимания на

его слова; мне казалось, что это невнимание было ему тяжело, но он терпеливо переносил его изо дня в день. Не знаю почему, его облик затронул мое сердце; черты его лица не были красивы, но имели для меня странную притягательную силу. Когда я смотрел на него, дух его казался погруженным в молитву; глубокий мир царил внутри и вокруг него. В течение получаса мы должны были писать в тетрадах; это было время, когда, с пером в руке, я далеко уносился в мыслях. Однажды отец де Пенеранда давал очередной урок; он расхаживал взад и вперед за нашими скамейками; вероятно, он не раз уже замечал неподвижность моего пера. Вдруг он остановился позади меня, наклонясь, тихо положил мне на спину руку и ласково спросил: «Ты нездоров, Тагор?» В этом вопросе не было ничего особенного, но я не могу его забыть доныне. Не знаю, как другие мальчики, но я чувствовал в нем великую душу, и даже ныне воспоминание о нем словно вводит меня в молчаливый, уединенный храм.

Был еще другой старый учитель, которого все мальчики любили, отец Генри. Он преподавал в старших классах, так что я не мог его хорошо знать. Но мне вспоминается случай, который стоит рассказать. Он знал бенгальский язык; однажды он спросил Нирода, мальчика из своего класса, о значении его имени. Бедный Нирод настолько мало размышлял о себе самом, что вопрос о происхождении его имени никогда его не тревожил, и он был совершенно не подготовлен к ответу. Но так как, при наличии такого количества неизвестных и редких слов в словаре, быть побежденным своим именем было бы так же глупо, как попасть под собственный экипаж, то Нирод, не краснея, моментально отвечал: «Ни — отрицание, род — солнечные лучи, Нирод — то, что вызывает отсутствие солнечных лучей!»

ЗАНИЯТИЯ ДОМА

Нашим домашним учителем стал в это время Гьян-чондро Бхоттачарджо, сын пандита Анондочондро Бедантобагиша. Когда он убедился в том, что сделать меня внимательным к школьным предметам невозможно, он

оставил это дело как безнадежное и стал действовать иначе. Он начал читать и переводить со мною «Рождение бога войны» Калидасы; понемногу читал со мною «Макбета», сперва объясняя мне текст по-бенгальски, а потом запирали меня одного в комнате, пока я не изложу очередной отрывок бенгальскими стихами. Так он добился того, что я перевел всю трагедию. К счастью, я потерял этот перевод и постольку освобожден от бремени своей кармы.

На пандита Рамшорбошо возложено было обучение меня санскриту; он тоже оставил безнадежную попытку научить нерадивого ученика грамматике и вместо этого читал со мной «Шакунталу». Однажды он решил показать мой перевод «Макбета» пандиту Биддашагору и взял меня с собой к нему.

У него в это время сидел Раджкришно Мукхопаддхай. Мое сердце забилося, когда я вошел в большой кабинет пандита, битком набитый книгами; его строгое лицо не помогло мне собраться с духом. Слушателей, подобных Биддашагору, я еще никогда не имел, и жажда славы загорелась во мне с необыкновенной силой. Вернулся я домой, кажется, с некоторыми основаниями для восторга. Раджкришно-бабу посоветовал мне придать репликам ведьм характер, отличный от обыденной человеческой речи.

Бенгальская литература была тогда невелика, и я быстро исчерпал все удобно и неудобочитаемое, что в ней в ту пору было. Литература для юношества тогда еще не выработалась, но я уверен, что мне не повредило ее отсутствие. Водянистая жидкость, которой теперь разбавляют литературный нектар, чтобы подать его молодежи, приспособлена, быть может, к их детскому возрасту, но никак не к их человеческой природе. Детские книги должны быть частично понятны детям, но частично и непонятны. В детстве мы читаем от начала до конца всякую книгу, какая нам попадется, и действует в душе как то, что мы понимаем, так и непонятное нам. Точно так же и сам мир действует на сознание ребенка: он усваивает себе то, что понимает, между тем как то, что вне его понимания, ведет его ступенью дальше. Когда появилась

комедия Динобондху Миттро «Дом для зятьев», мы еще не были в возрасте, для которого она могла бы подойти. Одна наша родственница читала комедию, но никакие мои просьбы не могли ее заставить дать мне книгу в руки; она держала ее под замком. Недоступность книги сделала ее для меня особенно желанной, и я заявил, что непременно прочту книгу.

Однажды после обеда она играла в карты, и ключи, привязанные к краю сари, висели у нее за плечом. Я никогда не интересовался картами, даже не выносил карточной игры; но в этот день вряд ли мое поведение обнаружило бы это, — так я был погружен в игру. Наконец, когда она была возбуждена намечавшимся ловким ходом одной из сторон, я стал развязывать узел, державший ключи; но я действовал неискусно, был к тому же взволнован, спешил и был пойман. Владетельница сари и ключей, улыбаясь, сняла с плеча связку ключей, положила ее на колени и снова принялась за игру.

Тогда я пустился на хитрость. Моя родственница очень любила бетель; я положил его перед ней. Все вышло, как я ожидал. Когда она встала, чтобы выплюнуть разжеванный бетель, ключи упали и были снова переброшены через плечо. Тогда они были украдены, преступник улизнул, и книга была прочтена. Возвратив владелице ключи и книгу, я попытался тем самым себя реабилитировать. Она стала было бранить меня, но тут же мы оба дружно расхохотались.

Доктор Раджендролал Миттро издавал иллюстрированный ежемесячник смешанного содержания, под названием «Бибидхартхо шонгрохо» («Обо всем понемногу»). У моего третьего брата в книжном шкафу хранился переплетенный комплект журналов за год. Я его раздобыл, и до сих пор памятно мне наслаждение, с каким я несколько раз подряд прочел его от начала до конца. Сколько послеобеденных часов в свободные дни провел я, лежа на кушетке в нашей спальне, с томом журнала на груди, читая описание нарвала, анекдоты о правосудии старых кади или романтическую историю Кришна-кумари. Почему у нас нет теперь таких журналов? У нас есть, с одной стороны, философские, научные

исторические статьи, с другой — рассказы, стихи и описание скучных путешествий, но нет таких среднего типа журналов, которые обыкновенный человек мог бы прочитать с удовольствием, вроде «Чэмберс джорнэл», «Кэсселз мэгэзин» или «Стрэнд мэгэзин» и др. в Англии. Между тем такие журналы дают обычному читателю простую, но питательную пищу, и для громадного большинства они полезнее всяких других.

Натолкнулся я в молодости и на другой небольшой журнал, называвшийся «Ободхбондху» («Друг необразованных людей»); непереpletенный комплект его ежемесячных выпусков я нашел в библиотеке старшего брата и глотал их ежедневно, сидя на пороге его кабинета, лицом к южной стороне террасы. На страницах этого журнала я впервые познакомился со стихами Бихарилала Чоккроборти. Из всех стихотворений, которые я читал тогда, они понравились мне больше всего. Их безыскусственные звуки пробуждали во мне музыку полей, лесных прогалин.

На эти же страницы пролил я немало слез над прочувствованным бенгальским переводом «Поля и Виргинии». Чудесное море, волнуемые ветром кокосовые рощи на берегу, игры горных коз на далеких безлюдных склонах — что за сладкие, освежающие видения вызывали они во мне, в полдневный жар, на верхней террасе дома в Калькутте! И что за романтические отношения завязались на зеленых лесных тропинках уединенного острова между бенгальским мальчиком и Виржинией, с ее пестрым платком на голове!

Затем настала очередь и за «Бонгодоршоном» Бонкима, которым бенгальское сердце захвачено было, как бурей. Трудно было уже ждать выхода в свет следующего номера, но ждать еще сверх того, пока прочитают его взрослые, было просто невыносимо. Ныне всякий, кто хочет, может проглотить сразу «Чондрошекхор» или «Ядовитое дерево», но ждать, предвкушать целый месяц, растягивать на долгие промежутки сосредоточенную радость каждого краткого чтения, без конца возобновляя в уме все подробности и вместе с тем живя ожиданием дальнейших происшествий; соединение удовлетворения с

неудовлетворенной жаждой, пылающего любопытства с утолением его — всех этих медлительных усад при чтении произведения по мере выхода в свет журнала, где оно печатается, не узнает уже никто.

Антологии из старых поэтов, составленные Шарода-чороном Миттро и Оккхоем Шоркараром, тоже были для меня полны интереса. Наши взрослые выписывали эти издания, но читали их нерегулярно, так что получить к ним доступ было мне нетрудно. Изысканный и неправильный майтхильский язык Видьяпати привлекал меня особенно своей непонятностью; я старался добраться до смысла без помощи редакторских примечаний и отмечал в записной книжке все трудные слова вместе с их контекстом; насколько хватало знаний, я отмечал и грамматические особенности.

ДОМАШНИЕ

Одним из великих преимуществ моей молодости была литературная и артистическая атмосфера, господствовавшая в нашем доме. Я помню, как ребенком я стоял, опираясь о перила террасы, с которой видны были приемные покои, занимавшие отдельное здание. Эти покои были ярко освещены каждый вечер. Блестящие экипажи въезжали под портик, и беспрестанно входили и выходили гости. Что происходило, я не мог хорошенько понять, но долго в ночной темноте смотрел я на ряд освещенных окон. Расстояние до них было невелико, но для моего детского мира то были далекие огни.

Мой старший кузен Гонендро побудил тогда Рамна-района Торкоротно написать драму и ставил ее в нашем доме. Его приверженность к литературе и искусствам была безгранична. Он был в центре группы людей, сознательно стремившихся осуществить то возрождение, которое мы видим ныне. В них проснулся уже сознательный национализм в одежде, литературе, музыке, искусстве, театре, религии и политике. Гонендро ревностно изучал историю разных стран, он начал, но не смог окончить исторический труд на бенгальском языке. Он перевел и издал санскритскую драму «Мужеством добытая Урваси».

Многие гимны, сочиненные им, и по сей день занимают почетное место среди священных гимнов. Вот один из них:

Прославь создателя вселенной,
Чье милосердие нетленно
И льется щедростной струей.

Можно сказать, что он был пионером в деле сочинения патриотических стихотворений и песен. Это было еще в те времена, когда Хинду Мела ежегодно собиралась, причем обычно исполнялась его песня: «Мне стыдно петь о славе Индии». Я был еще ребенком, когда Гонендро умер во цвете молодости; но те, кто его хоть раз видели, не забудут его красивую, благородную, высокую, стройную фигуру. Его влияние на людей было неотразимо; он умел собрать людей, привязать их к себе; пока не прекращалось его могущественное притягательное действие, о распадении не могло быть и речи.

Он был один из тех — род людей, свойственный нашей родине, — кто, благодаря личной силе магнетического притяжения, легко становится центром семьи, деревни. В другой стране, где слагаются широкие политические, социальные, коммерческие группы, такие люди естественно становятся национальными вождями. Способность объединить большое количество людей в организацию присуща гению особого рода; этот гений в нашей стране пропадает даром, прозябая в неизвестности в семейном кругу; эта потеря столь же прискорбна, думается мне, как если бы срывали с небесного свода звезды и употребляли их вместо спичек.

Я хорошо помню его младшего брата, моего кузена Гунендро. Он также наполнял собою весь дом. Его широкое человеколюбивое сердце обнимало в равной мере родственников, друзей, гостей и подчиненных. На своей широкой южной веранде или в саду у фонтана, или на берегу пруда на мостках для ужина — повсюду он возглавлял стихийные небольшие собрания, подобный воплощению самого гостеприимства. Благодаря широкому пониманию искусства и одаренности, он постоянно сиял восторгом. Веселые затеи и проказы, театральные сценки и прочие развлечения всегда находили в его лице энергичного покровителя и с его помощью успешно процве-

тали. Мы были слишком молоды тогда, чтобы принимать участие во всех этих предприятиях, но волны веселья и жизни, вызывавшиеся ими, докатывались до нас и бились во врата нашего любопытства. Я вспоминаю, как ежедневно в полдень устраивались репетиции пьесы — пародии, сочиненной моим старшим братом, в гостиной моего кузена. С нашего места у перил веранды нашего дома мы слышали, через раскрытые окна напротив, взрывы смеха, смешанные со звуками комической песни, а иногда наблюдали урывками за необычайными плясовыми выходами Оккхоя Моджумдара. В одной из песен были следующие строчки:

Для чего об этом вдруг
Речь заводишь ты, мой друг?
Вот умора, вот потеха!
Все покатаются от смеха,
Ха, ха, ха, от смеха.

Я не мог понять, в чем умора, но жил надеждою когда-нибудь понять.

Я вспоминаю, как однажды совершенно случайный повод вызвал у кузена Гунендро симпатию ко мне. Я никогда не получал в школе наград, если не считать стихотворного сборника «Чхондомала», полученного за хорошее поведение. Из нас троих мой племянник Шотто учился лучше всех. Однажды он успешно сдал какой-то экзамен и был награжден призом. Когда мы приехали домой, я соскочил с экипажа, чтобы сообщить новость кузену, находившемуся в тот момент в саду. «Гун-дада! Шотто получил награду», — еще издали закричал я ему. «А ты не получил приза?» — спросил он, улыбаясь и притягивая меня к себе. «Нет, — сказал я, — Шотто!» Мое искреннее удовлетворение успехом Шотто, видимо, сильно тронуло моего кузена. Он обратился к своим друзьям и заметил, что это — весьма достойная черта. Я прекрасно помню, как поражен я был тогда, ибо я не думал о моем чувстве с этой точки зрения. Эта награда, полученная мною за то, что я не получил награды, не была благотворна для меня. Детям можно давать подарки, но не награды: не следует направлять их внимание на самих себя.

После полуденной трапезы Гунендро направлялся в контору, размещавшуюся в передней части дома. Эта ком-

ната была чем-то вроде клуба, где смех и беседы свободно перемешивались с деловыми занятиями. Мой кузен садился на кушетку, а я пользовался случаем и незаметно подсаживался к нему. Он обычно рассказывал мне из индийской истории. Я до сих пор вспоминаю изумление, с которым я выслушал, что Клайв, установив британское владычество в Индии, вернулся домой и перерезал себе горло. С одной стороны, новая глава истории, с другой же — трагедия, похороненная в таинственном мраке человеческого сердца. Как возможна была столь мрачная катастрофа внутри и столь блестящий успех снаружи? Эти мысли тяжко угнетали меня весь день. Иногда кузен Гунендро замечал по моему поведению, что в кармане у меня спрятана тетрадка. Достаточно было малейшего намека с его стороны, чтобы она без всякого смущения появилась на свет. Вряд ли нужно говорить, что мой кузен не был суровым критиком; мало того, его суждения смело могли бы служить текстом для рекламных объявлений. Тем не менее, когда в моих стихах чересчур явно сказывался возраст их автора, он не мог сдержать сердечного «ха! ха!».

Однажды я читал ему стихотворение «Мать-Индия». В конце одной из строчек я не мог подобрать никакой иной рифмы, кроме «колесница», и мне пришлось втащить ее туда, хотя не было и следа той дороги, по которой она могла бы естественным образом появиться; но настойчивые требования рифмы не считались ни с какими отговорками голого рассудка. Буря смеха, которою кузен Гунендро приветствовал мою колесницу, отогнала ее вместе с конями назад по тому же самому невозможному пути, по которому она и приехала, и с тех пор о ней ничего более не было слышно.

Самый старший из моих братьев в то время занят был сочинением своего «Путешествия во сне»; он писал его, сидя на мягком кресле с подушками перед низеньким столом на южной веранде. Кузен Гунендро приходил каждое утро и сидел у него некоторое время. Его неутомимое влечение к поэзии помогало, подобно весенним ветрам, ее прорастанию. Брат попеременно писал и прочитывал вслух написанное, и его бурное веселье по поводу своих выдумок заставляло дрожать веранду. Он пи-

сал гораздо больше того, что включал в окончательную редакцию своих произведений, — настолько плодородно было его поэтическое воображение. Подобно пышным цветкам манго, пестрящим весною в тени рощ, весь дом был усеян забракованными страницами «Путешествия во сне». Если бы кто-нибудь сохранил их, они ныне составили бы целую корзину цветов, способных украсить нашу бенгальскую литературу.

Подслушивая у дверей и подглядывая из-за угла, мы получали полную долю участия в этих поэтических пиршествах, — столь обильны они были. Мой старший брат был тогда в расцвете своего изумительного дарования; и из-под его пера изливался неумоимо, волна за волной, мощный поток поэтического вымысла, рифм и экспрессии, исполняя и переполняя берега буйно радостным триумфальным гимном. Сполна ли мы понимали «Путешествие во сне»? Но разве необходимо было вполне понимать для того, чтобы наслаждаться? Мы не имели доступа к сокровищам в глубинах океана, — да и что мы могли бы сделать с ними, если бы получили доступ? — но мы упивались игрою волн на берегу; и как весело при их ударах мчалась кровь по всем нашим венам и артериям!

Чем больше я размышляю об этом периоде, тем лучше я отдаю себе отчет в том, что мы не знаем больше тех стихийных, трепещущих жизнью собраний, которые назывались меджлис. В нашем отрочестве мы застали уже закат той интимной общительности, которая была характерна для предыдущего поколения. Жажда подобного общения была велика, меджлис был жизненной необходимостью, и высоко ценились те, кто умел оживлять его. В наши дни люди приходят друг к другу или просто наносят визит вежливости, но не ради меджлиса. Им некогда, да и нет у них уже такой близости! Сколько движения видели мы, какое веселье царило в комнатах и на верандах, где не умолк гул разговоров, нарушавшийся взрывами смеха! Исчезло умение наших предшественников собирать вокруг себя группы и собрания, затевать и вести оживленную и веселую болтовню. Люди по-прежнему приходят и уходят, но те же веранды и комнаты кажутся пустыми и покинутыми. В те дни всё, начиная от мебели и кончая самими празднествами, было пред-

назначено для многих, так что сколько бы в той жизни было блеска и великолепия, в ней не было высокомерия. Внешние ее достоинства с тех пор увеличились в количестве, но она стала бесчувственна, и теперь люди не знают искусства создавать уют для всех, для высоких и низких. Нагой или нищий не вправе более участвовать в ней без разрешения, ради одного лишь своего смеющегося лица. Те, кому мы теперь стремимся подражать в устройстве и меблировке наших жилищ, имеют свое особое общество, которому свойственно широкое гостеприимство. Беда наша в том, что мы потеряли наш собственный общественный уклад, но не обладаем средствами строить наново по европейскому образцу, в результате чего наша домашняя жизнь стала безрадостна. Мы все еще встречаемся лишь ради деловых или политических целей, но никогда не собираемся ради самого удовольствия быть вместе. Мы не стремимся более собирать людей из любви к ним. Я не могу себе представить ничего более уродливого, чем это отсутствие общительности; и когда я вспоминаю о тех, чей звонкий смех, идущий прямо от сердца, облегчал нам бремя домашних забот, они кажутся мне гостями из какого-то иного мира.

ОККХОЙЧОНДРО ЧОУДХУРИ

В эти годы я приобрел друга, роль которого в моем литературном развитии неоценима. Покойный Оккхойчондро Чоудхури был школьным товарищем моего пятого брата, Джоти. Он был магистром искусств, специалистом по английской литературе, которую он столь же любил, сколь и знал. Но не менее горячие чувства питал он и к нашим бенгальским поэтам-вишнуитам, к Кобиконкону, Рампрошаду, Бхаротчондро, Хорутхакуру, Рамбошу, Нидху-бабу, Шридхору и др. Он знал сотни бенгальских песен, неизвестно кем сочиненных, и исполнял их самозабвенно, невзирая на мелодию и последовательность и даже на явно выраженное неодобрение слушателей. Никакие силы, будь то внутренние или внешние, не могли помешать ему отбивать такт своей музыки, его подвижные пальцы энергично барабанили по ближайшему

столику или книге, с целью поднять настроение аудитории. Он также обладал ничем не ограниченной способностью вдохновляться всем. Он был столь же искусен в обнаружении в каждой вещи хороших сторон, сколь щедр на похвалы ей. Он обладал изумительным искусством молниеносно сочинять стихотворения и песни, отнюдь не лишенные серьезных поэтических достоинств; но авторству их он не придавал никакого значения. Он совершенно не интересовался судьбою груд бумаги, исписанных его карандашом. Он был настолько же равнодушен к своему дарованию, насколько оно было плодотворно. Одна из его поэм, под названием «Юная отшельница», была высоко оценена, когда она появилась в «Бонгодоршоне», и я слышал не раз, как посторонние люди пели его песни, ничего не зная об их сочинителе. Искренняя любовь к литературе встречается гораздо реже, чем литературная эрудиция, и именно тот энтузиазм, который жил в Оккхое-бабу, пробуждал во мне интерес к поэзии.

Он был столь же щедр в дружбе, как в литературных оценках. Среди чужих он молчал, как рыба, вытащенная из воды, но среди друзей для него не существовало различий в уме или возрасте. С нами, мальчиками, он был мальчиком. Когда вечером он покидал меджлис взрослых, я хватал его за петлицу и тащил в нашу классную комнату. Там он с не меньшей выдумкой изображал собою душу нашего маленького общества, сидя на краю стола, при слабом мерцании светильника. Не раз в таких случаях он восторженно декламировал английские стихи, обстоятельно излагал свою оценку какого-либо литературного произведения или вел с нами горячие споры; не раз читал я ему свои собственные сочинения, за что бывал вознаграждаем щедрою хвалою.

ЗАНЯТИЯ МУЗЫКОЙ

Мой пятый брат Джоти едва ли не более всех помог мне в моем литературном и эмоциональном развитии. Он был сам энтузиастом и любил вызывать энтузиазм в других. Он не допускал, чтобы разница в возрасте служила каким-либо препятствием свободному обмену мыслей и

чувств. Он предоставлял мне полную независимость, и в общении с ним я не чувствовал никакой внутренней скованности. Великим даром свободы, которым я обязан ему, не осмелился бы наделить меня никто другой; многие даже, кажется, упрекали его за это. Однако это было в высшей степени благотворно для меня после сурового подавления моей свободы во времена детства, как благотворны тучи дождливого сезона после знойного лета. Если б не это внезапное избавление от цепей, я мог бы остаться искалеченным на всю жизнь. Власть имущие не устают оправдывать стеснение свободы возможностью злоупотреблений ею, но без этой возможности свобода не есть свобода. Наиболее естественным способом научиться правильно пользоваться какой-либо вещью является именно злоупотребление. Про себя, по крайней мере, я могу утверждать, что то небольшое зло, которое проистекало из моей свободы, всегда вело и к своему излечению. Я никогда не мог усвоить то, что меня заставляли проглатывать насильственно, будь то физически или умственно. Всегда дело оканчивалось для меня бесцельным страданием, за исключением тех случаев, когда меня предоставляли самому себе.

Джоти-дада без всяких колебаний предоставил мне идти самостоятельным путем к познанию себя, и только с той поры мое существо могло свободно порождать пусть шипы, но и цветы. Опыт научил меня бояться не столько самого зла, сколько тиранических попыток утвердить добро. Я не питаю особой любви к карательной полиции, политической или моральной. Состояние рабства, насаждаемое таким путем, есть худший недуг, которому подвержено человечество.

Одно время брат проводил целые дни за пианино, поглощенный сочинением новых мелодий. Потoki музыки текли из-под его пляшущих пальцев, в то время как Оккхой-бабу и я, сидя по сторонам, подбирали слова к мелодиям, чтобы лучше удержать их в памяти. Так произошло мое первое посвящение в музыку и в сочинение мелодий.

Во время нашего отрочества музыка процветала у нас в семействе. Для меня в этом было то преимущество, что я мог впивать ее без малейших усилий всем моим

существом. Но зато, с другой стороны, я не получил вследствие этого технического умения, которое вырабатывается лишь постепенным изучением, шаг за шагом. Настоящего знания музыки я поэтому так и не приобрел.

ДРУГ

Со времени моего возвращения из Гималаев сфера моей свободы все более расширялась. Господство слуг окончилось; я всякими правдами и неправдами стремился расшатать узы школьной жизни; да и моим домашним учителям я не подчинялся. Мой прежний учитель Гьян-бабу, прочитав с нами поверхностно «Рождение бога войны» и некоторые другие книги, покинул нас ради юридической карьеры. Тогда явился Броджо-бабу. В первый день он дал мне переводить «Векфильдского священника» Голдсмита; книга мне понравилась, но когда он обнаружил намерение заняться со мною более серьезно, я стал всячески уваливать от занятий с ним.

Как я сказал, старшие перестали за мной следить. Ни я, ни они не думали более о моем будущем. Почувствовав себя свободным, я стал заполнять свою тетрадку. Плоды моего творчества были не лучше, чем этого можно было ожидать. Мой дух не заключал в себе еще ничего, кроме пара, и наполненные паром пузыри пенились и кружились в водовороте бесплодной фантазии, бесцельные и бессмысленные. Устойчивых форм не было; было лишь движение: всплывали и лопались пузыри. Содержание было, при всей своей незначительности, взято у других поэтов. Моим было только беспокойное, неутомимое напряжение. Если движение уже имеется, но еще не созрело равновесие сил, то результатом может быть лишь слепой хаос.

Моя невестка очень любила литературу. Она читала не для простого времяпрепровождения; бенгальские книги, которые она читала, заполняли всецело ее мысли. Я разделял все ее литературные увлечения.

Она была восторженной ценительницей «Путешествия во сне»; я тоже, тем более что рос в атмосфере его создания; и его красота естественно срослась с моей душой.

Но подражать этой поэме я не пытался. Мне и в голову не приходило, что я смогу написать что-нибудь подобное.

«Путешествие во сне» может быть уподоблено величественному дворцу Аллегории, с бесчисленными залами, комнатами, уголками и нишами, полными статуй и картин, изумительной композиции и мастерства; а кругом него — сады, беседки, фонтаны и тенистые уголки в изобилии. Оно не только богато поэтической мыслью и фантазией, — столь же изумительны в нем богатство и разнообразие языка и выразительность. Для создания столь великолепного здания, эстетически законченного во всех своих частях, требовалась громадная творческая сила, вот почему я даже в воображении не пытался подражать ему.

В это время Бихарилал Чоккроборти печатал в «Арджодоршоне» свои песни, объединенные под названием «Песнь вдохновения». Моя невестка была очень увлечена его лирикой. Большинство этих песен она знала наизусть. Она часто приглашала поэта к нам и сама вышила ему подушку для сиденья.

Я подружился с ним. Он меня очень полюбил, и я усвоил обычай заходить к нему во всякое время дня. Его сердце было так же велико, как и его тело, и нимб фантазии окружал его, как поэтическое астральное тело, которое казалось его верным образом. Он был постоянно преисполнен подлинной радости художника, и, когда я бывал с ним, я всегда впивал ее в себя. Часто заставлял я его в маленькой комнатке на третьем этаже. Развалившись на гладком прохладном полу в знойную пору дня, он сочинял стихи, напевая про себя мелодию. Несмотря на разницу возрастов, его приветствие всегда бывало настолько искренне и сердечно, что я никогда не чувствовал малейшей робости в его присутствии. Затем, охваченный вдохновением и забыв обо всем окружающем, он начинал читать мне свои стихи или петь свои песни. Не могу сказать, чтобы он был даровитым певцом; но голос у него все же был, и можно было прекрасно понять, какую мелодию он поет. Когда он закрывал глаза и раздавался его густой, глубокий голос, выразительность искупала недостатки исполнения. Я доселе как будто слышу некоторые спетые им песни. Иногда я сам сочинял мелодии к его словам и пел их ему.

Он был большим поклонником Вальмики и Калидасы. Я вспоминаю, как однажды, прочитав громким голосом первую шлоку из «Рождения бога войны», он сказал: «Обилие здесь долгих «а» не случайно. Поэт умышленно повторяет так часто этот звук, начиная от Девататма до Нагадхираджа, чтобы лучше дать почувствовать величие Гималаев».

В то время я мечтал только о том, чтобы сделаться поэтом вроде Бихари-бабу. Я, может быть, даже убедил бы себя в том, что мне это удалось, если бы не моя невестка, его ревностная почитательница. Она часто напоминала мне о санскритском изречении, гласящем, что «недостойный искатель поэтической славы пожинает лишь насмешки». Быть может, она знала, что, если дать свободу моему самомнению, с ним потом трудно будет совладать. Она очень редко хвалила меня за поэтические способности или за пение, но никогда не упускала случая похвалить при мне какого-либо иного певца; в результате я совершенно разуверился в моих певческих способностях. Сомнения насчет моего поэтического дарования также осаждали меня; но так как поэзия была единственной областью, в которой я еще мог сохранять уважение к себе, я никому не позволил бы лишить меня всякой надежды в этом отношении; мало того, поэтическая потребность во мне была настолько сильна, что заставить меня бросить мои поэтические опыты не смог бы никто.

О П У Б Л И К О В А Н И Е

До тех пор мои произведения не выходили из семейного круга. Но когда стал издаваться ежемесячник под названием «Гьянанкур» («Побеги знания»), то в нем, как это и соответствует его названию, нашлось место для начинающего поэта. В нем печаталось без разбора все, что я давал, и до сих пор еще в уголке моего сердца живет опасение, что, когда придет для меня Судный день, какой-нибудь восторженный полицейский агент литературы примется за поиски во внутренних покоях забытых журналов, не смутится воплями их жительниц и выставит их напоказ перед безжалостным взором публики.

Мое первое прозаическое сочинение тоже увидело свет на страницах «Гьянанкура». То была критическая статья, и с ней связана небольшая история.

В печати появилась книга стихов под заглавием «Гений Бхубонмохини». Все решили, что автором книги с таким названием должна быть женщина. Оккхой Шоркар в журнале «Шадхарони» и Бхудеб Мукхопаддхай в «Эдьюкейшен газет» с восторгом приветствовали появление нового поэта. Один мой друг, который был несколько старше меня, и дружба с которым у меня завязалась как раз тогда, приходил и показывал мне полученные им письма, подписанные Бхубонмохини. Он был в числе поклонников этой книги и часто посылал почтительные приношения, состоявшие из книг или одежд, по адресу поэтессы.

Некоторые из этих стихотворений были настолько невоздержанны как по мысли, так и по языку, что я не мог допустить, чтобы автор принадлежал к женскому полу. Показанные мне письма еще меньше возможно было приписать женщине. Но мои сомнения не поколебали чувств моего друга, и он продолжал служение своему идолу.

Тогда я выступил в «Гьянанкуре» с критикой произведений неведомого автора. Я взял три его книги: «Бхубонмохини», «Друг в беде», «Лотосы досуга». Я дал себе волю и пустился в обстоятельнейшие рассуждения о лирике и о стихах вообще, благо бумага все терпит, не краснея, и не выдает подлинного качества того, что на ней напечатано. Друг мой пришел в большое волнение и объявил мне, что ответ на мою критику пишет некий бакалавр искусств. Бакалавр искусств! Я потерял голову от страха. Я почувствовал себя так же, как в детстве, когда Шотто звал полицейского. Я уже видел в воображении, как воздвигнутая мною триумфальная колонна аргументов на моих глазах рассыпается в прах под ударами веских цитат; передо мной затворяется дверь, навсегда преграждая мне путь к публичным выступлениям. Увы, моя критика, под какой злою звездой ты родилась! Я проводил день за днем в томительном ожидании. Но, подобно полицейскому, бакалавр искусств так и не появился.

Как я уже упоминал, моим любимым занятием было изучение старинных вишнуитских стихов, которые собирали и издавали Оккхойчондро Шоркар и Шородачорон Миттро. Смешанный майтхильско-бенгальский язык этих стихов я понимал с трудом, но это препятствие лишь увеличивало мое стремление добраться до смысла. Меня влекло к ним то же любопытство, с которым я смотрел на таящийся в семени росток или думал о неведомых тайнах, скрытых под поверхностью земли. Мое воодушевление питалось надеждою извлечь на свет божий какую-нибудь забытую жемчужину поэзии.

Когда я так бродил во мраке этих неизведанных сокровищ, мною овладела мысль облечь мои собственные сочинения в одеяние такой же тайны.

Я еще до того слышал от Оккхоя-бабу историю английского поэта-мальчика Чаттертона. Я не имел никакого представления об его поэзии, как, вероятно, и сам Оккхой-бабу. Если бы мы были с ней знакомы, эта история, вероятно, потеряла бы для нас свое очарование. Мелодраматическая судьба Чаттертона воспламенила мое воображение: разве не были многие введены в заблуждение его удачным подражанием классикам? Но несчастный юноша рано кончил свою жизнь самоубийством. И вот я решил последовать смелому примеру Чаттертона — исключая, впрочем, самоубийство.

Как-то раз в полдень собрались густые тучи. Наслаждаясь приятной тенью, в час полуденного отдыха, я, лежа ничком на постели в моей комнате, написал на грифельной доске маленькое подражательное стихотворение «Среди цветов». Мне оно понравилось, и я не теряя времени прочел его первому, кто попался мне навстречу; опасаться, что он поймет в нем хоть одно слово, не было ни малейшего основания, и ему оставалось только с важностью кивнуть и сказать: «Хорошо, в самом деле, очень хорошо!»

Однажды я сказал своему другу, о котором я упоминал: «Недавно, при разборе библиотеки Ади Брахмо Самаджа, была найдена рваная старая рукопись; я переписал из нее несколько стихотворений старого вишнуит-

ского поэта по имени Бхану Шингхо», и я прочитал ему некоторые из моих подражаний. Он был глубоко взволнован. «Таких стихотворений не могли бы написать даже Видьяпати и Чандидас! — вскричал он в восторге. — Я непременно должен получить эту рукопись, чтобы передать ее Оккхою-бабу для напечатания».

Тогда я показал ему свою тетрадку, и он убедился, что этих стихотворений не могли бы написать ни Видьяпати, ни Чандидас, ибо автором их был не кто иной, как я сам. Мой друг лишь смущенно пробормотал: «Да, да, они не так уж плохи».

Когда стихотворения Бхану Шингхо печатались в «Бхароти», доктор Нишиканто Чоттопаддхай находился в Германии. Он написал диссертацию о лирической поэзии нашей страны, сравнивая ее с лирикой европейской. Моему Бхану Шингхо отведено было, как одному из старинных поэтов, почетное место, на какое не мог рассчитывать ни один из современных писателей. За эту-то свою диссертацию Нишиканто Чоттопаддхай и получил степень доктора философии.

Кто бы ни был этот Бхану Шингхо, но если бы его сочинения попали в мои руки впоследствии, ручаюсь, что я не был бы обманут. Его язык еще мог ввести в заблуждение, ибо старинные поэты писали не на своем родном языке, а на языке искусственном, различном у каждого из них. Но в их чувствах не было и следа искусственности. Испытание поэзии Бхану Шингхо на звон обнаружило бы ее низкопробный состав. Ее звуки — не пленительное пение флейт нашей страны, но лишь дребезжание современной, чуждой нашему уху, английской шарманки.

ПАТРИОТИЗМ

Хотя с первого взгляда могло показаться, что многие чужеземные обычаи нашли доступ в нашу семью, в сердце ее пылало немеркнущее пламя национальной гордости. Глубокое преклонение перед нашей страной, которое никогда не покидало отца в течение всех событий и потрясений его жизни, возродилось у его потомков в виде сильного патриотического чувства. Любовь к родине вообще

не была, правда, характерной чертой того времени, о котором я пишу. Наши образованные люди тогда еще чуждались как языка, так и мысли своего народа. Тем не менее мои старшие братья всегда интересовались бенгальской литературой. Когда кто-то из новых свойственников написал моему отцу письмо по-английски, оно было немедленно возвращено отправителю.

Хинду Мела — так называлась ежегодная ярмарка, установившаяся при содействии нашей семьи. Бабу Нобогопал Миттро назначен был ее администратором. Это была, пожалуй, первая попытка воплощения идеи Матери-Индии как идеи национально-религиозной. Известный национальный гимн «Слава Индии» был тогда сочинен моим братом. Пение песен, возвеличивающих родину, декламация патриотических стихов, выставка произведений национальных искусств и ремесел, поощрение национальных талантов и способностей — вот что составляло программу этой Мела.

По случаю дарбара лорда Керзона в Дели я написал статью, — во время лорда Литтона то было стихотворение. Британское правительство в те дни боялось, правда, России, но перо четырнадцатилетнего поэта не внушало ему опасений. Итак, хотя мое стихотворение полно было пламенных чувств, свойственных тому возрасту, в рядах представителей власти, от главнокомандующего до полицейского комиссара, никаких признаков тревоги оно не вызвало; не появлялось и слезливого письма в «Таймс» с пророчеством о скорой гибели империи из-за равнодушия хранителей порядка на местах со ссылкой на дерзость какого-то мальчишки. Я продекламировал мое стихотворение под деревом во время Хинду Мела; в числе слушателей был поэт Нобин Шен. Впоследствии, когда я уже был взрослым, он напомнил мне об этом случае.

Мой брат Джоти организовал патриотическое общество, председателем которого был старый Раджнарайон-бабу. Заседания общества происходили в полуразвалившемся здании на одной из окраинных улиц Калькутты и окружены были покрывалом тайны. Если не считать этой таинственности, то ни в наших прениях, ни в наших делах не было ничего такого, чего правительство или население могли бы опасаться. Остальные члены нашей

семьи совершенно не догадывались о том, где мы проводили наше время после обеда. Дверь запиралась, заседания велись в темноте, паролем была ведическая мантра, беседа велась шепотом. Словом — по спине пробежали мурашки; а нам только того и нужно было. Хотя я был еще мальчиком, но тоже состоял членом общества. Мы настолько окружили себя атмосферой бредового вымысла, что, казалось, все время реяли в воздухе на крыльях энтузиазма. Робости, неуверенности или страха мы не знали; главной нашей целью было горение в огне собственного воодушевления. Храбрость обнаруживает иногда свои отрицательные стороны, но люди всегда окружали ее глубоким преклонением. В литературах всех стран мира мы видим непрестанное стремление к поддержанию этого преклонения. В каких бы условиях ни жила на земле любая группа людей, она не может оставаться глухою ко внушениям этого чувства. Мы отвечали на его призывы, как могли, давая волю своей фантазии, собираясь, произнося патетические речи и усердно распевая песни. Если же этому стремлению, глубоко укоренившемуся в человеческой природе и столь ценимому человеком, преграждаются все пути, закрываются все выходы, то тем самым оно отводится в русло вырождения. Недостаточно, чтобы открыты были только пути для действий, предусмотренных законом, ибо не будет выхода естественным и здоровым силам человеческой природы. Если не будет путей для дерзаний человеческого мужества, неизбежно искажение человечности, которая будет томиться по освобождению и будет искать тайных проходов, извилистых и неизвестно куда ведущих. Я твердо убежден в том, что если бы правительство обнаружило подозрительность и боязливость, то комедия мужества, разыгрывавшаяся юными членами общества, могла бы обратиться в жестокую трагедию. Но игра ныне кончена, ни один из кирпичей Фор-та Уильяма от нее не пострадал, и мы улыбаемся теперь, вспоминая о ней.

Мой брат Джоти занялся придумыванием общеиндийского национального костюма и предлагал обществу различные образцы. Джоти были неудобны для работы; брюки казались чем-то чужим; ему пришлось прибегнуть к некоему компромиссу между ними; с одной стороны его

костюм отличался от дхоти, а с другой — представлял малоудачную попытку реформы брюк. Брюки были спереди и сзади украшены ложной складкой дхоти. Странный предмет, получившийся из сочетания тюрбана и пробкового шлема, даже наиболее воодушевленные члены нашего общества не решились бы назвать головным убором. Ни один человек, одаренный обычною степенью мужества, не осмелился бы надеть этот костюм, пока он еще не вошел во всеобщее употребление; но мой брат бестрепетно носил весь свой наряд среди бела дня, проходя через весь дом к экипажу, ждавшему его на улице, одинаково равнодушный к изумлению родных и друзей, привратника и кучера. Много можно было бы найти индийцев, готовых умереть за свою страну, но я уверен, что лишь немногие способны были бы для блага Индии проехаться по улицам Калькутты в таком «общеиндийском одеянии».

Каждое воскресенье мой брат устраивал охоту. Многих лиц, участвовавших в этих увеселениях помимо нашего приглашения, мы не знали; были среди них плотник, кузнец и другие из всех слоев общества. Единственное, чего не было в нашей охоте, — это кровопролития, по крайней мере, я не могу припомнить ни одного. Но все другие принадлежности охоты были в таком изобилии и такого качества, что отсутствие убитого или раненого животного или птицы не имело для нас никакого значения. Мы уходили из дому с самого утра, и моя невестка снабжала нас обильным запасом лúчи, с надлежащими добавлениями в виде фруктов и овощей; а так как их количество не зависело от исхода нашей охоты, то нам никогда не приходилось возвращаться голодными.

В окрестностях Маниктола было множество заброшенных садов. Под конец мы обычно заходили в один из них, рассаживались все вместе, независимо от кастовой принадлежности, на берегу пруда и с решительностью брались за наши лúчи, от которых оставляли в целости только содержавшие их плетенки.

Броджо-бабу был одним из наиболее ревностных среди этих миролюбивых охотников. Он был инспектором Метрополитен колледжа и одно время давал нам частные уроки. Однажды ему пришла в голову счастливая мысль

огорошить садовника одной виллы, в которую мы вторглись, как всегда самочинно, таким обращением: «Послушай, давно ли здесь был дядюшка?» — Садовник, поспешив поклониться, отвечал: «Нет, господин, хозяина в последнее время здесь не было». — «Прекрасно, набери нам зеленых кокосовых орехов с деревьев». В тот день мы в добавление к нашим лучи получили еще прекрасный напиток.

Среди участников наших прогулок был один мелкий заминдар. У него была вилла на берегу Ганги. Однажды мы устроили там пикник, с обычным нарушением кастовых правил. После полудня разразилась сильнейшая гроза. Мы стояли на ступеньках, сходящих к реке, и во весь голос распевали наши песни под аккомпанемент бури. Я не берусь утверждать, что в пении Раджнарайона-бабу можно было ясно различить все семь тонов музыкальной гаммы, но его это не смущало, и подобно тому как в старинных санскритских трактатах комментарии совершенно подавляют текст сутр, так и у нашего Раджнарайона-бабу оживленные телодвижения и игра лица почти подавляли более слабую музыкальную сторону; его голова мерно раскачивалась в такт песне, а буря трепала его развевающуюся бороду. Лишь поздно ночью мы вернулись домой в наемной коляске. К тому времени тучи рассеялись и засверкали звезды. Мрак сгущался, воздух был спокоен, деревенские дороги пустынные, а кустарники по обеим сторонам сияли мириадами светляков, подобно бесшумному хороводу искр на каком-то фантастическом празднестве.

Одной из целей нашего общества было поощрение отечественного производства спичек и тому подобных товаров. Для этого каждый из членов должен был жертвовать одну десятую часть своего дохода. Итак, речь шла об изготовлении спичек; но дерево для спичек не так-то легко было раздобыть. Мы, правда, все хорошо знаем тот огонь, который может быть вызван умелым применением пучка розог; но то, что загорается от его прикосновения, несколько не похоже на ламповый фитиль. После многих опытов нам удалось изготовить несколько коробок спичек. Их ценность не исчерпывалась, однако, воплощенным в них патриотическим рвением сынов Индии, ибо на деньги, потраченные на их изготовление, можно было бы зажигать очаги в целой деревне в течение года. К тому

же, у них был еще один небольшой дефект: их нелегко было зажечь, если поблизости не было огня. Если бы они унаследовали хоть долю того патриотического горения, с которым были рождены, они могли бы находить сбыт даже в наши дни.

Однажды до нас дошла весть о том, что некий юный студент работает над созданием механического ткацкого станка. Мы немедленно отправились посмотреть на его работу. Никто из нас не имел надлежащих знаний для оценки станка с практической точки зрения, но по готовности верить и надеяться мы не уступили бы никому. Бедняга страшно задолжал при постройке своей машины, — мы уплатили по его долгам. Как-то Броджо-бабу явился к нам в Джорашанко с реденьким деревенским полотенцем, обернутым вокруг головы. «Сделано на нашем станке!» — воскликнул он, с поднятыми руками отплясывая воинственный танец. В то время у него в волосах уже показывалась седина.

В конце концов, в наше общество вступило несколько умудренных жизнью людей; они дали нам отвесть плоды познания и разрушили наш маленький рай.

Когда я впервые познакомился с Раджнарайоном-бабу, я был еще слишком молод, чтобы оценить его разносторонность. В нем соединялись совершенно противоположные черты. Не взирая на свои седые волосы и бороду, он был юн, как самый юный из нас; его почтенная наружность была лишь белым покрывалом, сохранявшим свежесть молодости. Даже его обширная ученость ничего не изменяла в этом отношении; он оставался всегда одинаково простодушным. Вплоть до конца своих дней он продолжал смеяться чистосердечным смехом, которого не могли сдержать ни годы, ни недомогание, ни домашние заботы, ни глубокомыслие, ни разнообразные знания, а всем этим он обладал в полной мере. Он целиком верил свою судьбу, как и судьбу семьи, богу; это не мешало ему выдумывать множество планов развития страны. Он был любимым учеником Ричардсона и воспитан был в духе английского образования; но, несмотря на это, он преодолел все препятствия, вытекавшие из его прежнего образа мыслей, и с любовью и преданностью посвящал себя бенгальской литературе. Он был

поразительно мягок, но в то же время полон огня, который прорывался сильнее всего в его патриотизме, как бы для того, чтобы испепелить всю скудость и бессилие нашей страны.

Глаза его сверкали ярким блеском, словно исходившим из глубины его души, особенно когда он пел вместе с нами, порывисто жестикулируя, а порой и выбиваясь из лада:

Связала нить одна сердца людей в отчизне.
За дело общее не пожалеем жизни.

Память об этом улыбающемся, горячем, вечно молодым святом достойна почитания наших соотечественников.

«Б Х А Р О Т И»

В общем, период, о котором я пишу, исполнен был для меня экстатического возбуждения. Много провел я бессонных ночей без какой-либо особой причины, просто из стремления поступать не так, как принято. Я оставался один читать в тускло освещенной комнате для занятий; каждые четверть часа доносился звон далеких часов, как будто возвещая о продаже с молотка каждого протекающего часа; вновь и вновь раздавались громкие возгласы «Харибол», когда трупы умерших проносили по Читпурской дороге к набережной Нимтола. Не раз темными летними ночами я, как некий беспокойный дух, блуждал между кадок и горшков с растениями по крыше нашего дома, залитой ярким лунным светом, перемежавшимся с густыми тенями.

Те, кто счел бы это поведение лишь признаком мечтательно поэтического настроения, впали бы в несомненную ошибку. Земля тоже некогда пережила время частых землетрясений и извержений. Еще и теперь она, несмотря на свой возраст, нередко поражает нас своими отклонениями от трезвой устойчивости; в дни молодости, когда она еще не была покрыта твердой корой, она нередко обнаруживала свой буйный темперамент. И человек в юности проходит через ту же стадию. До тех пор пока элементы его личности еще не приняли своей окончательной формы, их брожение нередко принимает бурный характер.

В это время мой брат Джоти решил приступить к изданию журнала «Бхароти», с нашим старшим братом в качестве редактора, что дало новую пищу нашему энтузиазму. Мне как раз исполнилось шестнадцать лет, но и меня вовлекли в штаб редакции. Несколько времени тому назад я со всем нахальством юношеского тщеславия написал критический разбор «Смерти Мегханада». Как кислый вкус свойствен незрелым плодам манго, так оскорбительная резкость — незрелой критике. Когда отсутствуют другие способности, способность к придиркам выражена резче всего. Так я пытался дешево купить бессмертие, оставляя мои бессильные царапины на этом бессмертном эпосе. Эта нахальная статья была моим первым печатным выступлением в журнале «Бхароти».

В первом томе я напечатал также поэму под названием «История поэта». Она была произведением молодого человека, не издавшего до того времени фактически ничего, кроме преувеличенного изображения своего собственного туманного «я». Героем поэмы был, разумеется, поэт: не столько действительный автор поэмы, сколько его воображаемый двойник, или идеал. Впрочем, вряд ли будет точно сказать, что он хотел быть тем, кого изображал; скорее он изображал себя таким, каким его хотели видеть, по его мнению, другие, и каким он заставил бы мир изумленно воскликнуть: «Да! Вот настоящий поэт, без всякого сомнения!» В поэме описывалась некая грандиозная феерия всеобщей любви — любимый сюжет начинающего поэта, столь же эффектный, сколь и легкий. До тех пор пока ни одна истина еще не вошла на умственный горизонт и единственным имеющимся товаром являются чужие слова, простота и самоограничение невозможны. Попытки превознесения того, что велико само по себе, невозможны без нелепых искажений. Я краснею, перечитывая эти юношеские излияния, но меня в то же время охватывает тревога: что, если и мои позднейшие писания страдают тою же уродливостью и лживостью, вызванными погоней за эффектом, хотя и в менее явной форме? Я не сомневаюсь в том, что мой громкий голос часто заглушает то, что я хотел бы сказать; и придет срок, когда с меня спросится за это.

«История поэта» была моим первым произведением, вышедшим отдельной книгой. Когда я приехал с моим вторым братом в Ахмедабад, один из моих пылких друзей сделал мне сюрприз: напечатал «Историю поэта» в виде отдельной книжки и прислал мне экземпляр. Я не могу сказать, чтобы он поступил хорошо; но чувства, вызванные во мне тогда, не походили на возмущение. Он был наказан, однако, — правда, не автором, а публикой: кошельки читателей оставались плотно закрытыми. Мне передавали, что мертвое бремя этих книг отягощало много долгих дней полки книгопродавцев и сердце неудачливого издателя.

Писания того возраста, в котором я начал сотрудничать в «Бхароти», вообще не могут быть пригодными для опубликования. Беда с ранним печатанием: нет лучшего способа обеспечить себе угрызения совести в зрелом возрасте, чем слишком рано начать печататься. Но все же и здесь есть обратная сторона: непреодолимая жажда видеть свои произведения в напечатанном виде исчерпывает себя еще в молодые годы. Кто мои читатели, что они говорят, какие опечатки остались неисправленными, — эти и тому подобные беспокойства проходят, как детские болезни, и оставляют зрелому возрасту досуг, необходимый для более здорового отношения к своим писаниям; чем скорее освобождаешься от горячего стремления видеть свою книгу в руках у каждого, тем лучше.

Бенгальская литература недостаточно стара для того, чтобы скрытые законы умеренности в состоянии были сдерживать ее жрецов. По мере того как бенгальский писатель приобретает опыт, он должен вырабатывать в себе сдерживающие силы. Неумеренность неминуемо ведет к появлению большого количества литературного хлама. Претенциозное стремление совершать чудеса с ограниченными возможностями, неизбежное в юном возрасте, приводит к крайней искусственности, и усилия превзойти пределы своего таланта, а тем самым и пределы истины и красоты, видны на каждом шагу в ранних произведениях. Отыскание своего естественного «я», привычка ценить свои силы в их естественных пределах — все это дело времени.

Как бы то ни было, я оставил на страницах «Бхароти» много излияний своего юношеского сумасбродства, заставившего меня после стыдиться, — стыдиться не только литературной незрелости этих писаний, но и их полного бесстыдства, неводержной экстравагантности и претенциозной искусственности.

В то же время я беру на себя смелость утверждать, что они полны энтузиазма, ценности которого не следует преуменьшать. Этому периоду жизни заблуждения столь же свойственны, как и юношеская способность надеяться, верить и радоваться. И если топливо заблуждений необходимо было для питания пламени энтузиазма, то пусть обратится в пепел то, что этого заслуживает, — все же это благое пламя не напрасно озаряло мою юность.

А Х М Е Д А Б А Д

После того, как «Бхароти» вступил во второй год издания, мой второй брат высказал намерение взять меня с собой в Англию, и отец мой дал свое согласие. Эта неожиданная милость провидения была для меня большой радостью.

Сперва я поехал с братом в Ахмедабад, где он исполнял должность судьи. Моя невестка с детьми была в то время в Англии, так что его дом оставался почти пустым.

Резиденция судьи известна под названием Шахибаг. Это бывший дворец старых падишахов, для них в свое время и построенный. У подножия стены, поддерживавшей широкую террасу, струился узкий и прозрачный поток реки Савармати, покрывавший в эту летнюю пору ее широкое песчаное русло лишь с одного края. Мой брат уходил в суд, а я оставался один в обширном дворце, где только воркованье голубей нарушало полуденный покой; необъяснимое любопытство влекло меня сквозь анфиладу комнат. В одной из зал, в стене, были ниши, где мой брат держал свои книги. Среди книг я нашел роскошное издание сочинений Теннисона, с крупным шрифтом и многочисленными иллюстрациями. Для меня эти книги были столь же молчаливы, как дворец; и я перелистал картинки с тем же любопытством, с каким блуждал по дворцу.

Нельзя сказать, чтобы я ничего не понимал в тексте, но то, что я понимал, более походило на нечленораздельное воркованье, чем на слова. В библиотеке моего брата я нашел также собрание санскритских стихов, изданное доктором Хэберлином и напечатанное в шрирамपुरской типографии. Эти стихи также были мне недоступны, но звучные санскритские слова и музыка размера «Амару-Шатака» приковывали меня к мягкому рокоту этих стихов.

Верхняя комната дворцовой башни была моей отшельничьей кельей, где единственными моими сожителями были осы. В непроницаемом мраке ночей я спал в этой комнате один. Иногда несколько ос выпадали из своего гнезда на мою постель, и если я, поворачиваясь, натыкался на них, встреча оказывалась неприятной для осы и чрезвычайно огорчительной для меня. В лунные ночи я любил блуждать взад и вперед по просторной террасе, выходявшей на реку. В одну из таких ночей я впервые сочинил собственные мелодии к моим стихам. Песня, обращенная к Девушке-Розе, сочинена была тогда, она до сих пор сохранила место в собрании моих сочинений.

Неудовлетворенный своим знанием английского, я прилежно взялся за чтение английских книг с помощью словаря. С юношеских лет я не смущался неполным пониманием текста при чтении; мне вполне достаточно было того, что мое воображение создавало из немногого, мною понятого. Вплоть до настоящего дня я продолжаю пожинать как хорошие, так и дурные плоды этого моего обыкновения.

АНГЛИЯ

Проведя шесть месяцев в Ахмедабаде и Бомбее, мы поехали в Англию. В недобрый час начал я писать письма о своем путешествии к родным и в «Бхароти». Теперь я не могу при всем желании взять их назад. Они были не чем иным, как плодом юношеского задора. В этом возрасте дух отказывается признать, что он больше всего должен гордиться своею способностью понимать, воспринимать и уважать и что скромность — лучший способ расширения его владений. Преклонение и восхваление считается признаком слабости и даже поражения; именно из

желания обесславить, поразить, уничтожить воображаемого противника своими аргументами и рождаются такого рода интеллектуальные фейерверки. Эти мои попытки установить свое превосходство посредством брани могли бы позабавить меня теперь, если бы не прискорбное отсутствие прямоты и элементарной учтивости.

С самых ранних лет я был почти целиком оторван от внешнего мира. Понятно поэтому, что, когда я семнадцатилетним юношей был брошен в море английской жизни, моя способность удержаться на поверхности могла вызывать большие сомнения. Но моя невестка с детьми как раз в это время жила в Брайтоне, и я выдержал первые удары волн под кровом ее дома.

Приближалась зима. Однажды вечером, когда мы болтали, сидя у камина, дети прибежали с волнующим известием: «Идет снег!» Мы тотчас же вышли из дому. Было очень холодно, небо залито было белым лунным светом, земля — покрыта белым снегом. То не был знакомый мне лик природы, то было нечто совершенно иное — похожее на сон. Все близкое как бы отступило куда-то далеко: осталась лишь неподвижная белая фигура аскета, погруженного в глубокое созерцание. Я только открыл дверь на улицу — и мне явилось откровение такой чудесной, такой безмерной красоты, какой я никогда еще ранее не видывал.

Дни мои проходили весело, в шумных играх с детьми моей невестки, которая относилась ко мне с заботливой нежностью. Дети много шутили над моим своеобразным английским произношением, и хотя я с увлечением участвовал во всех их забавах, я не мог никак понять, что смешного в моем произношении. Как мог я им объяснить, что нет никаких разумных способов отличить звук английского «а» в слове WARM¹ от звука «о» в слове WORM?² Так мне, несчастному, приходилось терпеть насмешки по вине капризов английского произношения. Я усердно изобретал для детей разные занятия и игры. Это умение сослужило мне хорошую службу много лет спустя; оно и до сих пор приносит пользу, но нет уже во мне того неисто-

¹ Теплый (англ.).

² Червь (англ.).

щимого потока изобретательности. Это был первый случай в моей жизни, когда я мог посвятить себя детям, и я делал это со всею свежестью и щедростью первого дара.

Но я отправился в путь не для того, чтобы заменить мой дом за морем другим — в Англии. Целью поездки было, чтобы я изучил юриспруденцию и вернулся домой бакалавром. Поэтому в один прекрасный день меня отдали в брайтонскую школу. Первые слова, с которыми ко мне обратился директор школы, — после того как он на меня пытливо посмотрел, — были: «Какая у вас прекрасная голова». Эта подробность осталась у меня в памяти потому, что та, которая дома с великим рвением выполняла возложенную ею на себя задачу умерять мое честолюбие, убедила меня, что мой череп и внешний облик вообще принадлежат, сравнительно с другими, лишь к среднему разряду. Я надеюсь, читатель не откажется поставить мне в заслугу то, что я слепо поверил ей и втайне оплакивал скупость, проявленную создателем при моем сотворении. И не раз, когда мои английские знакомые оценивали меня иначе, чем к тому приучила меня она, меня не на шутку мучила мысль о расхождении вкуса в обеих странах.

Одно оказалось приятной неожиданностью для меня в брайтонской школе: мальчики не обнаружили ни малейшей резкости или грубости в отношении ко мне. Напротив, не раз бывало, что они всовывали мне в карманы апельсины или яблоки и убегали. Я могу объяснить их необычное поведение только тем, что я был иностранцем.

Недолго пробыл я и в этой школе, но не по ее вине. Друг моего второго брата, Тарок Палит, жил в то время в Англии. Он понял, что мне надо идти иным путем, и, с согласия моего брата, взял меня с собою в Лондон и поселил там одного в меблированных комнатах. Мое новое жилище выходило фасадом на Риджентс-парк. Была глубокая зима. На деревьях по ту сторону улицы не было ни одного листа; они лишь протягивали к небу свои иссохшие, скрюченные, оснеженные ветви; при этом зрелище холод пронизал меня до самых костей. Для вновь прибывшего иностранца не может быть более сурового города, чем Лондон зимой. Я не знал никого по соседству и не мог найти дороги сам. В моей жизни снова настали молчаливые, одинокие дни, проведенные у окна. Но на

этот раз открывавшийся вид был малопривлекателен. Он походил на хмурое лицо; небо было мутно; свет дня лишен сияния, подобно глазу мертвеца; горизонт съежился; в окна не смотрел уже тот гостеприимный, широкий мир, который я знал раньше. Комната была скупо меблирована, но в ней случайно оказалась фисгармония, и, когда наступали преждевременные зимние сумерки, я обычно играл на ней как бог на душу положит. Иногда меня навещали некоторые индийцы, жившие в Лондоне, и хотя я не был с ними коротко знаком, но, когда они вставали, чтобы уходить, меня так и тянуло удержать их за полу сюртука.

Когда я жил в этих комнатах, ко мне стал приходить учитель латинского языка. Его худощавая фигура в поношенном платье, казалось, не лучше защищена была от зимнего холода, чем оголенные деревья против моего окна. Я не знал в точности его возраста, но он, несомненно, казался старше своих лет. Иногда во время уроков он вдруг забывал какое-либо слово и рассеянно и смущенно смотрел на меня. Домашние считали его чудачком. Он был сильно увлечен следующей теорией: он верил, что в каждую эпоху одна преобладающая идея раскрывается в человеческом обществе во всех частях света: принимая различные формы сообразно различным ступеням цивилизации, она в основе остается неизменной; при этом ее не перенимают одни человеческие группы у других, ибо помянутое единообразие обнаруживается даже и там, где отсутствуют всякие связи между ними. Его главной заботой было собирание и записывание фактов, подтверждающих эту теорию. Результатом было то, что его домашним не хватало пищи, а его телу — одежды. Его дочери питали лишь ограниченное уважение к его теории и, по-видимому, постоянно попрекали его помешательством. Иногда по его лицу видно было, что он наткнулся на новое доказательство и его работа соответственно подвинулась вперед. В этих случаях я заводил с ним соответствующий разговор и еще поддавал жару его энтузиазму. В другие дни он бывал мрачен, как бы изнемогая под бременем своей задачи. В эти дни ход нашего урока неоднократно прерывался: взор моего учителя блуждал в пустоте, дух его парил высоко над тесными сводами «Начальной Латинской Грамматики».

Я ощущал сильную симпатию к этому бедняге, истощенному постоянным недоеданием и согнувшимся под бременем работы и взятой на себя непосильной задачи. Хотя у меня не было никаких иллюзий насчет успешности такого преподавания, я никак не мог решиться отказать ему. Так эти фиктивные уроки продолжались все время, пока я не переехал в другие комнаты. Накануне моего переезда я хотел расплатиться с ним, но он возразил жалобно: «Я ничего не делал, только отнимал у вас время, я не могу принять плату». Лишь после долгих уговоров мне удалось, в конце концов, заставить его взять деньги.

Хотя мой учитель латинского языка никогда не пытался утруждать меня приведением доказательств своей теории, я и по нынешний день не считаю ее ложной. Я убежден, что человеческие умы объединены какой-то глубокой непрерывной средой, которая таинственно передает всякое возмущение, происходящее в какой-либо одной ее части, во все другие.

Господин Палит затем поселил меня в квартире репетитора, по имени Баркер, который сдавал комнаты студентам и готовил их к экзаменам. Если не считать его кроткой маленькой жены, то в его доме не было ничего, что могло бы притяжать на малейшую привлекательность. Нетрудно себе представить, как такие учителя находят учеников, ибо эти бедные создания не имеют подчас выбора. Но совершенно непонятно, при каких условиях подобному человеку удалось раздобыть себе жену. Миссис Баркер пыталась найти утешение в маленькой собачке, но когда Баркер хотел наказать свою жену, он истязал собаку. Таким образом, ее любовь к этому несчастному животному служила для нее лишь источником новых страданий.

Не удивительно поэтому, что, когда моя невестка пригласила меня к себе в Торкэй, в Девоншире, я был рад переменить обстановку. Я почувствовал себя невыразимо счастливым, увидев холмы, море, усеянные цветами лужайки, тенистые сосновые рощи и моих обоих маленьких неутомимых товарищей по играм. Но иногда меня мучило недоумение: почему, когда мои глаза так насыщены красотой, когда дух исполнен радости, когда дни мои плывут по безграничной, молчаливой лазури неба, наполненные ничем не омрачаемым блаженством, я не слышу

призыва поэзии. Памятуя о своем призвании поэта, я однажды отправился вдоль скалистого берега, вооруженный тетрадкой и зонтиком. Выбранное мною место было, бесспорно, очень красиво — благо, красота его не зависела от моих рифм и моей фантазии. Высокий выступ скалы как бы в вечной скорби протянулся в пространство; спереди солнечное небо, мерно колыхаясь на пенистых волнах жидкой лазури, улыбочиво дремало под ее колыбельную песнь; а позади, под опушкой соснового бора, распростерлась тень, как соскользнувшее одеяние томной лесной нимфы. Разместившись на этом каменном троне, я написал стихотворение «Затонувший корабль». Я мог бы, пожалуй, думать теперь, что оно было хорошо, если бы я благоразумно опустил его тогда в море. Но я лишен этого утешения, так как оно, на беду, до сих пор существует и может дать улику против меня; хотя оно и не допущено в собрание моих сочинений, остается опасность, что адрес этого свидетеля когда-нибудь станет известен.

Но вестник долга не дремал. Вновь достиг меня его голос, и я вернулся в Лондон. На этот раз я нашел себе убежище в семье доктора Скотта. Однажды вечером я вторгся в его квартиру со всем своим багажом. Дома были только седовласый доктор, его жена и их старшая дочь. Две младшие дочери, встревоженные нашествием чужеземца из Индии, сбежали к родственникам. Они вернулись домой, кажется, лишь после того, как получили известие, что непосредственной смертельной угрозы я собою не представляю.

В очень короткое время я сделался как бы членом их семьи. Миссис Скотт обращалась со мной, как с сыном, а искренняя доброта ее дочерей по отношению ко мне была бы необычна даже со стороны родственников.

Что меня поразило во время жизни в их семье — это то, что природа человека повсюду одна и та же. Мы склонны утверждать, — и я тоже верил этому, — что преданность индийской женщины своему мужу представляет собой нечто исключительное и не встречаемое в Европе. Но я, по крайней мере, не мог найти никакой разницы между миссис Скотт и идеальной индийской женой. Она была всецело погружена в заботы о муже. Их средства были скромны, и у них отнюдь не было избытка при-

слуги; миссис Скотт сама делала все, что ему было нужно, вплоть до мелочей. Когда муж должен был вернуться домой с работы, она ставила перед камином его кресло и войлочные туфли. Она никогда не позволила бы себе забыть на минуту об его излюбленных вещах и привычках. Со своей единственной служанкой она каждое утро обходила весь дом, от верхнего этажа до кухни, и каждое утро бронзовые столбики на лестнице, дверные ручки и украшения подвергались чистке и полировке и сияли новым огнем. Помимо этих семейно-хозяйственных обязанностей, на ней лежали еще и семейно-общественные. После своих дневных трудов она с большим искусством участвовала в наших вечерних чтениях и музыкальных вечерах, ибо не последней обязанностью хорошей хозяйки является устройство веселого досуга.

Иногда мы по вечерам устраивали с девушками сеансы столоверчения: мы клали пальцы на маленький чайный столик, и он, подскакивая, ходил по комнате. В конце концов, дошло до того, что все, к чему мы ни прикасались, начинало дрожать и колебаться. Миссис Скотт все это не особенно нравилось. Она иногда с серьезным видом качала головой и выражала сомнение в правильности нашего поведения. Все же она мужественно сносила все, не желая всерьез препятствовать нашим юношеским забавам. Но однажды, когда мы наложили руки на цилиндр доктора Скотта, чтобы заставить его вертеться, она не выдержала. Она взволнованно подбежала к нам и запретила прикасаться к цилиндру. Она не могла вынести мысли о том, что сатана, хотя бы на мгновение, будет иметь касательство к головному убору ее мужа.

Во всех ее действиях бросалось в глаза ее преклонение перед мужем. Память об ее прекрасном и радостном самоотречении убеждает меня в том, что всякая женская любовь обретает полноту в преклонении и что там, где этому не препятствует какая-либо внешняя причина, она, эта женская любовь, естественно вырастает в обожание. Но там, где господствует изобилие роскоши и суетность омрачает дни и ночи, эта любовь вырождается и природа женщины не дозревает до полноты блаженства.

В семье Скоттов я провел несколько месяцев. Затем моему брату пришло время возвращаться домой, и мой

отец написал мне, чтобы я сопровождал его. Я был очень обрадован этой перспективой. Свет и небо моей родины молчаливо манили меня к себе. При прощании миссис Скотт взяла меня за руку и заплакала. «Зачем вы приезжали к нам, — сказала она, — раз вы уезжаете так скоро?» Теперь этой семьи уже нет более в Лондоне. Одни члены семьи доктора отошли в иной мир, другие рассеяны неизвестно где. Но в моей памяти она будет жить всегда.

Однажды, в зимний день, идя по улице Танбридж Уэллса, я увидел человека, стоявшего на краю дороги. Через зияющие дыры в его ботинках видны были голые пальцы ног, грудь его была полуобнажена. Он мне ничего не сказал, быть может, потому, что нищенство запрещено, но на мгновение остановил на мне свой взгляд. Монета, которую я ему дал, была, должно быть, большей стоимости, чем он ожидал, ибо, когда я прошел несколько шагов, он догнал меня и со словами: «Сэр, вы нечаянно дали мне золотую монету» — хотел вернуть ее мне. Я, быть может, не запомнил бы этого случая, если бы не произошло другого, похожего. Это было, насколько помнится, когда я впервые приехал в Торкэй. Носильщик отнес мой багаж к извозчику. Не найдя в кошельке мелочи, я дал ему — как раз когда извозчик тронулся — монету в полкроны. Через несколько мгновений он бегом погнался за извозчиком, крича ему, чтобы тот остановился. Я подумал, что, усмотрев во мне простачка, он нашел какой-либо повод попросить у меня еще денег. Когда коляска остановилась, он сказал: «Вы, видно, приняли полкроны за пенни, сэр».

Не могу сказать, чтобы я ни разу не был обманут во время моего пребывания в Англии; но такого случая, который стоило бы запомнить, не было. Напротив, я пришел к убеждению, что те, кто сам достоин доверия, умеют доверять. Я был иностранцем и легко мог бы во многих случаях безнаказанно избежать уплаты, но ни один лондонский лавочник не обнаруживал недоверия ко мне.

В течение всего моего пребывания в Англии я участвовал поневоле в забавной комедии, которую мне пришлось разыграть от начала до конца. Я случайно познакомился со вдовой одного английского чиновника, который некогда жил в Индии. Она была настолько добра, что

называла меня уменьшительным именем Руби. Какой-то ее знакомый индеец написал скорбное английское стихотворение в память ее мужа. О его поэтических достоинствах и о его слоге распространяться не буду. Но, на мою беду, составитель его указал, что оно должно петься в ладе бехага. И вот однажды вдова попросила меня спеть его. По своей невинности и уступчивости я согласился. К несчастью, только я один мог почувствовать весь жестокий комизм сочетания лада бехага с этими нелепыми стихами. Вдова, по-видимому, была очень тронута, услышав мое исполнение этих стихов, оплакивавших ее мужа. Я думал, что на этом дело и кончится, но не тут-то было.

Я часто встречался с этой вдовою в обществе, и, когда мы после обеда сидели вместе с дамами в гостиной, она обычно просила меня спеть бехага. Все остальные присоединялись к ее просьбе, ожидая услышать замечательный образец индийской музыки. Затем она извлекала из кармана печатные экземпляры рокового стихотворения, а мои уши уже начинали краснеть и чесаться. Наконец, когда я, опустив голову, дрожащим голосом начинал петь, я, увы, слишком ясно чувствовал, что в достаточной мере душераздирающим это пение было только для меня. Когда я кончал, подавленный смех вокруг меня заглушался хором восклицаний: «Благодарим вас! Как интересно!» Несмотря на зимнее время, я весь покрывался потом. Кто мог бы предсказать при моем рождении или при его смерти, каким тяжким ударом должна была отозваться на мне кончина этого почтенного человека!

Затем, когда я жил у доктора Скотта и посещал лекции в университетском колледже, я на время потерял эту вдову из виду. Она жила в пригородной местности на некотором расстоянии от Лондона, и, хотя я часто получал от нее письма, где она приглашала меня к себе, страх перед помянутыми концертами удерживал меня от принятия ее приглашений. В конце концов, я получил от нее весьма настойчивую телеграмму. Я как раз шел в колледж, когда эта телеграмма была мне подана. В это время срок моего пребывания в Англии был уже на исходе. Я решил про себя, что перед отъездом должен еще раз повидаться с нею и доставлю ей сегодня это удовольствие.

Из колледжа я, вместо того чтобы идти домой, отправился прямо на вокзал. Погода была очень скверная, было очень холодно, сквозь туман падал снег. Станция, до которой мне предстояло взять билет, была конечной на этой железнодорожной линии. Поэтому я чувствовал себя вполне уверенным и не считал нужным наводить справки о времени прибытия.

Перроны всех станций были с правой стороны, поэтому я примостился у окна справа и стал читать книгу при свете горевшего надо мной фонаря. Между тем стемнело, и снаружи уже ничего нельзя было разглядеть. Один за другим пассажиры выходили на своих остановках.

Мы миновали предпоследнюю станцию. Затем поезд снова остановился, но снаружи не было видно ничего — ни людей, ни огней, ни платформы. Без посторонней помощи пассажир, увы, не может выяснить, почему поезд остановился в непредвиденном месте, и я, не пытаясь сделать это, вернулся к моей книге. Затем поезд стал вдруг двигаться в обратном направлении. «Кто разберется в капризах железнодорожного движения?» — подумал я и снова приступил к чтению. Но когда мы достигли предыдущей станции, я уже не мог более оставаться равнодушным. «Скоро конечная станция?» — спросил я, выйдя на перрон. «Да ведь вы только что оттуда приехали», — услышал я в ответ. «Куда же мы в таком случае направляемся?» — спросил я, совершенно сбитый с толку. «В Лондон». Затем я узнал, что это — обратный поезд. Я решил тогда остановиться пока на этой станции. На мой вопрос, когда пойдет следующий поезд из Лондона, я получил ответ, что сегодня вечером поездов больше не будет. В ответ на следующий мой вопрос я узнал, что на расстоянии пяти миль вокруг нет ни одной гостиницы.

Я вышел из дому после завтрака, в десять часов утра, и с тех пор ничего не ел. Когда воздержание от пищи является вынужденным, то вызвать в себе аскетическое настроение духа не стоит труда. Я застегнул свое теплое пальто вплоть до верху и, усевшись под лампой на перроне, продолжал читать. Книга, которую я взял с собой, была «Основания этики» Спенсера; она тогда недавно вышла в свет. Я утешал себя мыслью, что при других

условиях я вряд ли имел бы столь удобный случай сосредоточить все свое внимание на такой теме.

Спустя короткое время появился носильщик и заявил мне, что идет экстренный поезд, который прибудет на станцию через полчаса. Я был настолько обрадован этим известием, что не мог более продолжать чтение.

В месте назначения меня ожидали в семь часов, но я явился туда в половине десятого. «Что с вами, Руби? — спросила моя хозяйка. — Как это вы так опоздали?» Я рассказал ей без особой гордости о моих изумительных приключениях.

Время обеда уже прошло. Тем не менее — так как неудача вряд ли произошла по моей вине — я не ожидал за нее возмездия, тем более от женщины. Но единственное, что мне предложила вдова высокопоставленного англо-индийского чиновника, было: «Пойдемте, Руби, выпейте чашку чаю».

Я никогда не был особенным любителем чая, но в надежде, что это будет содействовать утолению голода, я проглотил чашку крепкого отвара с парой круглых печений. Когда я, в конце концов, попал в гостиную, я нашел там собрание пожилых дам и между ними красивую молодую американку, которая была обручена с племянником хозяйки и, по-видимому, разыгрывала обычный предсвадебный любовный церемониал.

— Теперь мы немного потанцуем, — сказала хозяйка. Я — ни по своему настроению, ни по телесному самочувствию — не был расположен к подобным упражнениям. Но, как известно, смирение рождает самые невозможные подвиги. Танцы были, в сущности, задуманы на благо обрученной парочке, и мне пришлось танцевать с дамами весьма почтенного возраста, в то время как от голодной смерти после десятичасового поста меня отделял только чай с печеньями.

Но на этом мои страдания не кончились. «Руби, где вы остановитесь на ночь?» — спросила меня хозяйка. К этому вопросу я не был подготовлен. Пока я с безмолвным замешательством смотрел на нее, она объяснила мне, что местная гостиница закрывается в полночь и мне лучше отправиться туда не откладывая. Однако нельзя сказать, чтобы с ее стороны совершенно отсутствовало

гостеприимство: дабы мне не пришлось самому искать гостиницу, со мной отправили слугу, который с фонарём в руках вел меня за собой.

Сначала я понадеялся на то, что это может оказаться замаскированной милостью судьбы, и, придя в гостиницу, сразу же стал разузнавать, нет ли мяса, рыбы или растительной пищи, в горячем или холодном виде, вообще нет ли чего-нибудь поесть. Я узнал, однако, что напитков имеется большой выбор, еды же никакой. Тогда я попытался найти забвение во сне, но, увы, в его мирообъемлющем лоне не оказалось для меня места в эту ночь. В комнате, с ее полом из песчаника, царил ледяной холод; единственным убранством ее были старая кровать и полуразвалившийся умывальник.

Утром вдова прислала мне приглашение к завтраку. Завтрак был холодный — очевидно, остаток вчерашнего обеда. Если бы небольшая порция этого завтрака, тепловатая или даже холодная, предложена мне была вчера вечером, это не принесло бы никому ущерба, но зато мои танцы, должно быть, не так напоминали бы предсмертные судороги выброшенного на берег карпа.

После завтрака хозяйка объявила мне, что та дама, для услаждения слуха которой я был приглашен, больна и что я должен пропеть ей свою песню, стоя перед дверью ее спальни. Она привела меня на площадку лестницы и, указав на закрытую дверь, сказала: «Вот где она». Я исполнил свою мелодию перед лицом неведомой тайны по ту сторону двери. О том, как это отозвалось на состоянии больной, я не узнал и по сию пору.

После моего возвращения в Лондон я слег, расплачиваясь за свою безрассудную любезность. Дочери доктора Скотта умоляли меня не принимать этого всерьез за образец английского гостеприимства. Они утверждали, что это плод действия индийской соли.

ЛОКЕН ПАЛИТ

Когда я посещал лекции по английской литературе в университетском колледже, Локен Палит был моим товарищем. Он был года на четыре моложе меня. Теперь,

когда я пишу эти воспоминания, разница в четыре года уже не ощутительна. Но дружбе нелегко перекинуть мост через промежуток между тринадцатью и семнадцатью годами. Не отягчаемый бременем лет, мальчик всегда стремится соблюдать степенность, свойственную старшему возрасту. Но это совершенно не мешало моей дружбе с Локеном, так как я не замечал, чтобы он был моложе меня.

Учащиеся юноши и девушки совместно занимались в библиотеке колледжа. Эту библиотеку мы выбрали местом наших встреч. Если бы мы вели себя в это время спокойно, никто не мог бы на нас пожаловаться. Но мой молодой друг в таком изобилии обладал хорошим расположением духа, что при малейшем поводе раздражался смехом. Во всех странах девочкам присуще чрезмерное прилежание в занятиях, и я чувствую угрызения совести, когда вспоминаю о множестве гневных голубых глаз, которые — увы! напрасно — осыпали молниеносными упреками наше беззаботное веселье. Но в те дни я не испытывал ни малейшего сочувствия к горестям оскорбленного прилежания. По милости провидения я никогда не знал ни головной боли, ни угрызений совести из-за того, что мешал чужим занятиям.

Несмотря на это почти беспрестанное сопровождение смеха, нам удавалось все же вести и литературные дискуссии, и в них мой юный друг мне нисколько не уступал. Хотя начитанность Локена в бенгальской литературе была менее обширна, чем моя, он возмещал это своей проницательностью и остроумием.

Среди многих других тем мы обсуждали также проблему бенгальского правописания. Заговорили мы об этом вот по какому поводу. Одна из дочерей доктора Скотта хотела, чтобы я учил ее бенгальскому языку. Когда я показывал ей бенгальский алфавит, я выразил мою гордость по поводу добросовестности бенгальской системы правописания, которая не находит удовольствия, как английская, в поминутном уклонении от своих же правил. Я объяснял ей, насколько смешны были бы капризы английского правописания, если бы над нами не тяготела печальная обязанность набивать ими свои головы для экзаменов. Но моему самолюбию нанесен был жестокий

удар, ибо, в конце концов, выяснилось, что бенгальское правописание столь же своевольно, как и английское, и что лишь вследствие привычки я не замечал его непоследовательности.

Тогда я принялся за поиски законов, управляющих его неправильностями. Я делал это в университетской библиотеке и был поистине поражен размерами помощи, которую оказал мне Локен.

Впоследствии Локен поступил на индийскую гражданскую службу; общение, начавшееся в дни наших веселых встреч в университетской библиотеке, потекло широкой рекой. Пылкая любовь Локена к литературе попутным ветром наполняла паруса моих ранних литературных исканий. Когда я в зрелую пору своей юности, во время издания журнала «Шадхона», во весь опор гнал пару прозы и поэзии, моя энергия непрерывно поддерживалась постоянным одобрением и признанием со стороны Локена. Много необычайных выходов в стихах и прозе предпринято было мною во время пребывания в его загородном бунгало. Не раз наши музыкальные и поэтические собрания начинались под знаком вечерней звезды и кончались, подобно лампам, задувавшимся ветерком, после восхода утренней звезды. Среди множества цветов у ног Сарасвати — цветок дружбы должен быть ей милее всех. Не много золотой пылицы нашел я среди ее лотосов, но не могу пожаловаться на недостаток сладкого аромата дружбы.

«РАЗБИТОЕ СЕРДЦЕ»

Еще будучи в Англии, я начал писать другую поэму, которую я продолжал во время путешествия и закончил по возвращении домой. Она была напечатана под названием «Разбитое сердце». В то время я считал ее хорошей. Не было ничего удивительного в том, что так думал автор; но она понравилась и читателям. Я вспоминаю, что после ее опубликования главный министр покойного трипурского раджи Вирачандры Маникьи навестил меня в Калькутте исключительно с целью передать мне послание о том, что раджа очень высокого мнения о поэме и возлагает большие надежды на поэтическое будущее ее автора.

По поводу этой поэмы, написанной мною в восемнадцатилетнем возрасте, я приведу здесь отрывок из письма, которое я писал двенадцать лет спустя:

«Я начал писать «Разбитое сердце» восемнадцати лет — ни ребенком, ни юношей. Этой пограничной полосы не достигают лучи истины; лишь их отражение играет там и сям, остальное же погружено во мрак. И, подобно утренним или вечерним теням, ее вымыслы вытянуты в длину и неопределенны; действительный мир заменяется в них фантастическим. Любопытно, что не только мне было восемнадцать лет, но и все окружающие казались мне также восемнадцатилетними, и все мы порхали в том же самом бесплотном невещественном мире вымысла, в котором даже величайшие радости и печали подобны были ощущениям жителей страны снов. Не было ничего реального, что могло бы служить противовесом этим фантазиям, и потому тривиальность заменяла в них величие».

Этот период моей жизни от пятнадцати — шестнадцати до двадцати двух — двадцати трех был чрезвычайно хаотичен. Когда в ранние эпохи жизни земли суша и вода еще не были вполне отделены друг от друга, громадные, безобразные амфибии блуждали по бесствольным лесам, выраставшим из топкой, болотистой почвы. Так и желания сумеречных годов незрелого духа, столь же безмерные и неуклюжие, бродят по нескончаемым бездорожьям его безымянных тенистых дебрей. Они не знают ни себя, ни цели своих странствий и поэтому всегда склонны к подражательности. Ложь тщится восполнить невоздержностью отсутствие правды. Так и в этом возрасте бессмысленно-кипучей активности, когда мои неразвившиеся силы, чуждые и несоразмерные реальности, в бурном соревновании искали выхода, каждая из них пыталась утвердить свое превосходство посредством самопреувеличения.

Прорезывание молочных зубов часто сопровождается сильным жаром. Претерпеваемые муки находят себе оправдание лишь тогда, когда зубы уже прорезались и начали свою работу. Так и наши юношеские желания терзают нас, подобно болезни, пока они не осознают своей истинной связи с внешним миром.

Поучения, которые я извлек из своего опыта в ту пору жизни, могут быть найдены в любом учебнике морали,

но из этого не следует, что ими можно пренебрегать. Замыкая наши вождедения внутри себя и не давая им свободного выхода во внешний мир, мы отравляем свою жизнь. Себялюбие не допускает свободной игры наших желаний, не дает им достигнуть их истинных целей: вот почему оно всегда узнается по гнойникам лжи и излишеств. Когда же наши желания обретают безграничную свободу в благом начинании, они отрясают свои немощи и возвращаются к своей истинной природе, к истинным своим целям и к истинной радости.

Описанное мною состояние моего незрелого духа поощрялось примером и воззрениями того времени, и возможно, что его влияние сказывается еще и по сию пору. Когда я вспоминаю об этом периоде, меня поражает, что действие английской литературы на нас было скорее возбуждающим, чем питательным. Нашими литературными богами были тогда Шекспир, Мильтон и Байрон; и что больше всего действовало на нас тогда в их поэзии была сила страсти. В семейной и общественной жизни англичан все проявления страсти сдерживаются суровой дисциплиной, но именно поэтому, быть может, страсть господствует в их литературе, для которой характерны изображения необычайно пылких эмоций вплоть до катастрофических роковых вспышек. В конце концов, мы стали считать это неудержное возбуждение страсти за квинтэссенцию английской литературы.

Пылкая декламация английских стихов Оккхоем Чоудхури, который впервые ввел нас в английскую литературу, полна была какого-то дикого опьянения. Безумная любовь Ромео и Джульетты, ярость беспомощных lamentаций Лира, всепожирающий огонь ревности у Отелло — вот что вызывало наш энтузиазм и преклонение.

В тесноту нашей общественной жизни, в узкую сферу нашей деятельности, пропитанную монотонным однообразием, бурные чувства не находили доступа: все было настолько тихо и спокойно, насколько это вообще возможно. Естественно поэтому, что наши сердца жаждали живительного потрясения страсти, которое и принесла с собой английская литература. Нам несвойственно было эстетическое наслаждение литературой как искусством:

точно застоявшиеся воды, приветствовали мы бурную волну, невзирая на тот ил, который она поднимает со дна.

Литература времени Шекспира представляет собою военный танец европейского возрождения, со всею силою его реакции против беспощадного принижения и стеснения человеческого духа. Установление критериев добра и зла, красоты и безобразия не было тогда главной целью; человек был, по-видимому, охвачен стремлением проложить себе путь, через все преграды, к глубочайшему святилищу собственного существа, дабы отыскать в нем конечный образ своей безудержной мощи. Вот почему этой литературе присуща такая острая, такая бурная, такая необузданная выразительность. Этот буйный, вакхический дух Европы нашел себе тогда доступ в наше чинное и замкнутое общество, пробудил нас и влил в нас новую жизненность. Мы были ослеплены блеском свободного, живого сердца, озарившего наши сердца, задыхавшиеся в рутине традиционного быта и лишь ожидавшие внешнего толчка, чтобы раскрыться.

Был еще один такой день в английской литературе, когда медлительное шествие поуповских размеров сменилось буйными размерами Французской революции. Ее поэтом был Байрон. И неистовство его страсти также взволновало наше сердце-невесту в тишине ее уединения.

Так возбуждение, господствующее в английской литературе, овладело молодежью нашего времени: его волны вздымались вокруг меня в моей молодости неустанно со всех сторон. Первое пробуждение — это время для игры сил, а не для их подавления.

И все же наше положение было столь отлично от положения в Европе! Там дух возбуждения и мятежа был литературным преломлением истории. Выражение там соответствовало чувству. Вой бури слышен был потому, что и в самом деле была буря. Но то донесшееся до нас дунение, которое взбудоражило наш маленький мирок, в нашей действительности прозвучало едва ли громче шепота. Поэтому оно и не удовлетворило нас, и наши попытки подражания порывам урагана вели к фальши и преувеличениям, — каковая склонность существует у нас и поныне и может оказаться трудноизлечимой. Причиной этого является тот факт, что английской литературе еще

неведома сдержанность подлинного искусства; в ней доныне господствует склонность к избытку силы и выразительности. Человеческие эмоции — лишь один из элементов литературы, но не ее цель; цель же — в красоте совершенной полноты, заключающейся в простоте и самоограничении. Этого принципа английская литература до настоящего времени безоговорочно еще не признает.

С детства до старости мы воспитываемся только на английской литературе; других европейских литератур — как классических, так и современных, художественная форма которых свидетельствует о богатом развитии, основанном на культуре самообладания, — мы не изучаем; именно поэтому, как мне кажется, мы так и не можем дойти до правильного понимания истинных целей и методов литературы.

Оккхой-бабу, который пробудил в нас страсть к английской литературе, и сам был сторонником эмоциональности. Ему представлялось не столь существенным постижение истины в полноте ее совершенства, сколько ощущение ее в сердце. Он не знал интеллектуального преклонения перед религией, но песни о богине Кали вызвали у него слезы. Его не влекло к исканию абсолютной истины; все, что способно было его взволновать, было для него на время истиной, как бы оно ни было элементарно.

В модной тогда английской прозе господствовал атеизм, — излюбленными авторами были Бентам, Милль и Конт. Они мыслили в терминах, которые были переняты нашей молодежью. Эпоха Милля — естественный эпизод английской истории. Она представляет собою здоровую реакцию общества против скопившегося в его недрах идейного хлама, от которого оно стремится избавиться посредством временного введения в себя разрушительных снадобий. На словах мы признавали атеизм, но никогда не пытались извлечь из него практическую пользу, а употребляли только как средство, стимулирующее к моральному бунту. Атеизм был для нас своего рода опьяняющим напитком. Вследствие этого наши образованные люди разделялись в большинстве на два класса. Одни из всех сил и на каждом шагу приводили всевозможные аргументы для ниспровержения всякой веры в бога. Подобно охотнику, у которого чешутся руки, пока он не высмотрит

какую-либо дичь на вершине или у подножия дерева и не убьет ее, так и они, как только узнавали о какой-либо безобидной форме веры, прячущейся в воображаемой безопасности, чувствовали сильнейшее побуждение немедленно искоренить ее. У нас одно время был учитель, для которого это было излюбленной забавой. Я был тогда еще мальчиком, но и я не мог избежать его нападений. Не то чтобы его успехи были хоть сколько-нибудь ощутительны, не то чтобы его мнения были плодом ревностного искания истины, — они были большею частью перепевами чужого. Но хотя я сопротивлялся ему изо всех сил, при значительном неравенстве в годах я не раз терпел жестокое поражение. Подчас я чувствовал себя настолько уязвленным, что почти готов был заплакать.

Другой класс состоял из людей не веривших, но под видом религиозного культа услаждавших себя, погружаясь в искусно сплетенные сочетания образов, звуков и запахов; культ воплощал для них высшую роскошь и богатство жизни. Ни в одном из этих классов сомнение или отрицание не было плодом внутренней работы или исканий; оно было лишь чисто эмоционального происхождения.

Хотя религиозные заблуждения и причиняли мне боль, не могу сказать, чтобы я вполне избег их влияния. Интеллектуальная заносчивость, свойственная пробуждающейся юности, не могла не привести к объявлению мятежа и в этой области. Я не хотел иметь ничего общего с религиозными службами, которые отправлялись в нашей семье: я не считал их своими. Я раздувал в себе огонь мехами своих эмоций; то было голое почитание огня; подношения ему шли только на раздувание пламени, — без всякой другой цели. Но именно вследствие своей бесцельности мои усилия не имели и меры, всегда переходя за поставленные пределы.

Как в религии, так и в моих эмоциях я не ощущал влечения к какой-либо объективной истине: мое возбуждение было для меня самоцелью. Я вспоминаю отрывок стихотворения одного поэта тех дней.

Моя душа — моя жена.
Живу, лишь для нее дыша.
Измучена, истощена, —
Но все ж она — моя душа,

С объективной точки зрения сердце вовсе не должно мучить себя, ибо в этом нет никакой необходимости. В действительности — боль не желательна, но если извлечь из нее едкую остроту, у нее может оказаться приятный привкус. Этот вкус наши поэты часто ставили выше всего, забывая о боге, которому они служили. От этого ребячества нашей стране и донныне еще не удалось избавиться. Даже теперь, когда мы не в состоянии видеть истину в религии, мы ищем художественное наслаждение в культе. Так и в нашем патриотизме многое есть не служение родине-матери, а лишь — самоуслаждение.

ЕВРОПЕЙСКАЯ МУЗЫКА

Когда я жил в Брайтоне, я как-то пошел послушать одну примадонну, имя которой я забыл: ее звали не то мадам Нильсон, не то мадам Олбани. Никогда до тех пор не встречал я такого изумительного владения голосовыми средствами. У нас даже лучшие певцы, в известных случаях, не умеют скрыть от слушателей своего напряжения; у нас не считается также зазорным по мере сил издавать звуки, расположенные выше или ниже диапазона певца. В нашей стране понимающая часть слушателей не видит ничего худого в том, чтобы силой своего воображения поднять музыкальное исполнение до высшего уровня. По той же самой причине им не по душе сладкопение некоторых певцов; они не считают дефектом случайную хриплость голоса или неуклюжесть в жестикуляции при исполнении прекрасной мелодии; напротив, они иногда, по-видимому, придерживаются мнения, что мелкие недочеты лишь лучше выделяют внутренние достоинства композиции, так в наготе великого Махешвары сияет его божественность.

Такие взгляды, по-видимому, совершенно чужды Европе. Там требуется совершенство внешней отделки во всех деталях; малейший недочет объявляется постыдным и недостойным слуха толпы. В наших музыкальных собраниях считается вполне допустимым, например, потратить полчаса на настройку тамбур или барабанов, больших и малых. В Европе подобные вещи делаются заранее,

за сценой; все, что делается на эстраде, должно быть безупречно. Поэтому не допускаются никакие дефекты в голосе певца. В нашей стране правильное и художественное исполнение мелодии является главной целью, на которой и сосредоточиваются все усилия. В Европе культивируется голос, и голос совершает чудеса. В нашей стране учитель музыки доволен, если слышал песню; в Европе же идут слушать певца. Вот что я понял в тот день в Брайтоне. Для меня концерт равносильен был цирковому представлению. И сколь ни поражало меня искусство певицы, достоинств самой мелодии я оценить не мог. Я с трудом удерживался от смеха, когда услышал в некоторых каденциях подражание пению птиц. Я все время ясно чувствовал, что это — неправильное применение человеческого голоса. Когда выступил после певицы певец, я почувствовал значительное облегчение. Я в особенности предпочитал тенор, в котором больше человеческой плоти и крови и меньше бестелесных жалоб одинокого привидения.

После этого, по мере того как я слушал и узнавал европейскую музыку, я начал постепенно проникать в ее дух; но я и по сию пору убежден в том, что индийская и европейская музыка представляют совершенно независимые друг от друга по ценности явления и что доступ в человеческое сердце они находят совершенно разными путями. Европейская музыка представляется мне тесно сплетенной с реальной жизнью человека; тексты ее песен могут быть столь же разнообразны, как сама эта жизнь. Но если мы попытаемся так же разнообразить применение наших мелодий, они потеряют свое значение и сделаются смешными; ибо наши мелодии переступают пределы повседневной жизни и только в силу этого способны увлекать нас в глубины Сострадания или на Вершины Отрешенности; их назначение — раскрывать картину сокровенных, несказанных глубин мира и сердца, где, быть может, аскет найдет свой скит или даже эпикуреец — обитель нег, но где нет места для шума будней.

Я не берусь утверждать, что глубоко проник в душу европейской музыки. Но то немногое, что мне удалось понять, казалось мне очень привлекательным потому, что

было, на мой взгляд, романтичным. Быть может, нелегко будет объяснить, что я подразумеваю здесь под этим словом. Я указал бы, пожалуй, на присущие европейской музыке разнообразие, изобилие, на играющие в ней волны жизненного моря, на ее вечную смену света и тени в непрерывном движении. Есть в ней и нечто противоположное — широкий простор, немигающая лазурь неба, молчаливый намек на безмерность в отдаленном круге горизонта. Как бы то ни было, я позволю себе повторить, рискуя выразиться не вполне ясно, что каждый раз, когда я бывал под впечатлением европейской музыки, я говорил себе: она романтична, она переводит на язык мелодии мимолетность жизни. Не то чтобы у нас совершенно отсутствовали подобные же тенденции в некоторых видах музыки, но они менее явны, менее успешны. В наших мелодиях обретают голос наши звездные ночи, первые проблески зари. Они, наши мелодии, говорят о пронизывающей небеса скорби, что хмурится темными облаками; о безмолвном, глубоком хмеле лесной весны.

«ГЕНИЙ ВАЛЬМИКИ»

У нас был обильно иллюстрированный том «Ирландских мелодий» Мура, и часто мы внимали восторженному чтению их Оккхоем-бабу. Из песен и иллюстраций выросла в моей голове фантастическая картина старинной Ирландии. Я тогда еще не знал настоящих ирландских мелодий, а пел их себе по-своему под аккомпанемент изображенных на иллюстрациях арф. Мне очень хотелось узнать настоящие мелодии, выучить их и петь Оккхою-бабу. Некоторые из наших стремлений, к несчастью, осуществляются в этой жизни и умирают во время осуществления. Когда я был в Англии, я услышал исполнение некоторых «Ирландских мелодий» и выучил даже несколько из них, но это отбило у меня интерес к ним и к их дальнейшему изучению. Они были просты, печальны и сладкозвучны, но как они были непохожи на молчаливую мелодию арф, наполнявшую чертоги старой Ирландии моих грез!

Когда я вернулся домой, я пропел выученные мною ирландские и другие европейские мелодии моим домашним. «Что это случилось с голосом Раби? — восклицали они. — Как смешно и чуждо он звучит!» Они заметили, что тон моего голоса изменился даже в разговоре.

Из совместного увлечения чужой и своей музыкой возникла музыкальная драма «Гений Вальмики». Мелодии в ней были по большей части индийские, но с них совлечено было облачение классического величия; привыкшие парить в небесах, они здесь обучены были хождению по земле.

Те, кто видел и слышал исполнение, признают, я надеюсь, что приспособление индийских мелодических ладов к драме не было ни унизительно, ни бесплодно. Это своеобразное сочетание — единственная отличительная черта драмы «Гений Вальмики». Я был совершенно поглощен привлекательной задачей: освобождения мелодических форм от их оков и принорования к неведомой ранее разнообразной трактовке.

К некоторым из песен драмы «Гений Вальмики» были подобраны мелодии строго классического лада; к другим — мелодии были сочинены моим братом; некоторые были заимствованы из европейских источников. В индийской музыке лад, называемый телена, особенно легко применим для драматических целей и потому часто встречается в этом произведении. Две английских мелодии взяты были для песен пьяных разбойников, а ирландская мелодия — для жалоб лесных нимф.

Пьеса «Гений Вальмики» написана не для того, чтобы ее читали; вне музыкального и драматического исполнения — она лишена всякой значимости. Это не то, что в Европе называется оперой; это — маленькая драма, переложенная на музыку. Иначе говоря, первоначально — это не музыкальное произведение. Лишь немногие из песен привлекательны сами по себе; все они имеют смысл лишь в качестве музыкального текста пьесы.

Перед моей поездкой в Англию мы иногда устраивали в нашем доме собрания писателей, которые именовали «собраниями мудрецов»; в программу входили музыка, декламация и легкое угощение. После моего возвращения состоялось еще одно такое собрание, которое случайно

оказалось последним. Для развлечения наших гостей и была написана пьеса «Гений Вальмики». Я играл роль Вальмики, а моя племянница Протибха — роль Сарасвати; последнее обстоятельство запечатлено в названии драмы.

Я прочел в каком-то сочинении Герберта Спенсера, что человеческая речь становится мелодической под влиянием эмоции. В самом деле, свою печаль, радость и изумление мы выражаем не только словами, но и тоном. Мне понравилась идея Спенсера о том, что человек создал музыку через развитие эмоциональных изменений голоса. Почему невозможно, говорил я тогда себе, исполнять драму своего рода речитативом, основанным на этой идее? Народные сказители в нашей стране до известной степени поступают подобным образом, ибо они часто переходят от обыкновенного рассказа к пению, которому, однако, недостает полноты мелодической формы. Как белые стихи более эластичны, чем рифмованные, так и этого рода пение, хотя и не вовсе лишенное ритма, будет давать более гибкую эмоциональную интерпретацию тексту, ибо оно не будет связано строгим распорядком, присущим обыкновенной мелодической композиции. Выразительность будет главной целью, а несовершенство формы не будет резать уши слушателям.

Ободренный успехом этого нового направления, принятого мною в «Гении Вальмики», я сочинил еще одну музыкальную пьесу в том же роде. Она называлась «Роковая погоня». Фабула ее была основана на легенде об убийстве сына слепого отшельника царем Дашаратхой. Она была разыграна на эстраде, устроенной на террасе нашей крыши, и зрители были, по-видимому, сильно тронуты ее пафосом. Впоследствии значительная часть текста этой пьесы с легкими изменениями перекочевала в «Гений Вальмики», а «Роковая погоня» уже больше не печаталась в моих сочинениях как отдельное произведение.

Много лет спустя я сочинил третью музыкальную пьесу — «Игра Майи». Пьеса эта была иного типа, чем упомянутые. В ней первую роль играло пение, а не сама пьеса. Там ряд драматических ситуаций нанизан был на нить мелодии; здесь же через гирлянду песен вилась тон-

кая сюжетная ниточка. Ее отличительной чертой была игра чувств, а не драматическое действие. И в самом деле, во время ее сочинения я был как бы напоен песенным духом.

Энтузиазма, с которым я сочинял «Гений Вальмики» и «Роковую погоню», я не испытывал ни разу при писании других произведений. В обеих этих пьесах выразился творческий музыкальный импульс того времени. Мой брат Джоти в то время целые дни сидел за роялем, на все лады переделывая классические мелодии. При каждом ударе по клавишам старинные песни принимали новые формы и выражали новые оттенки чувств. Мелодии эти, до того знавшие только свою старинную, степенную поступь, под его руками шли непривычно оживленным шагом, обнаруживая неожиданную подвижность и силу, и соответственным образом трогали нас. Мы ясно слышали, как эти мелодии говорили с нами, в то время как я и Оккхой-бабу сидели по обе стороны, подбирая слова к ним по мере того, как они рождались под пальцами моего брата. Я не сказал бы, что наше либретто было подлинной поэзией, но оно служило как бы носителем этих мелодий.

В бурной радости этих революционных начинаний сочинены были мною две музыкальные пьесы; и они заплясали весело под свои размеры, правильные и неправильные, родные и чужие. Бенгальские читатели неоднократно бывали задеты моими взглядами или литературными опытами, но любопытно, что мое дерзкое непочтение к установившимся музыкальным канонам не вызвало никакого протеста; напротив, все, кто явился, ушли довольными. В «Гений Вальмики» было включено несколько композиций Оккхой-бабу, а также несколько слегка переработанных песен из сборника «Песнь вдохновения», написанного Чоккроборти.

Я обычно играл главную роль в обеих этих музыкальных драмах. У меня с детства была склонность к сцене, и я твердо верил, что у меня есть актерские способности. Мне, кажется, удалось доказать, что я не ошибался. До того я лишь однажды исполнял роль Олика-бабу в комедии «Больше не буду», написанной моим братом Джоти. В моих музыкальных драмах я, в сущности, впервые

выступил на сцене по-настоящему. Я был тогда очень молод, и ничто, казалось, не могло утомить или ослабить мой голос.

В то время в нашем доме целыми днями лился каскад музыки, и его брызжущие струи отражались в наших душах всеми цветами радуги. Со всею свежестью юности наши младенческие силы, окрыляемые девственной любознательностью, пролагали новые пути во всех направлениях. Нам хотелось испробовать и испытать все; не было ничего, что казалось бы невозможным. Мы сочиняли, пели, играли, словом, пробовали свои силы во всем. Так вступил я в двадцатый год моей жизни.

Возницею сил, стремительно уносивших нас вперед, был Джоти-дада. Он совсем не знал страха. Однажды, когда я был еще только мальчиком, он посадил меня на лошадь, сел сам и погнал обеих лошадей галопом, совершенно не заботясь о своем неопытном спутнике. Как-то раз, приблизительно в те годы, когда мы жили в Шилейде (нашем главном имении), до нас дошла весть о появлении тигра, и мой брат взял меня на охоту. Я не захватил с собой ружья: в моих руках оно было бы опаснее для меня, чем для тигра. Мы оставили нашу обувь на опушке леса и вошли в него босиком. Наконец мы добрались до бамбуковой кущи, шиповидные ветви которой были частью обглоданы, и заползли в нее; брат выполнил свое намерение, в то время как я, съежась, спрятался за его спиной: ведь я не мог бы даже нанести удар каблуком невоспитанному зверю, если бы он осмелился броситься на меня! Так мой брат предоставлял мне полную свободу, внутреннюю и внешнюю, перед лицом всех опасностей. Его не останавливали никакие общепринятые привычки или обычаи; и ему удалось постепенно освободить меня от вечных сомнений и робости.

«ВЕЧЕРНИЕ ПЕСНИ»

В пору моей самопогруженности, о которой я говорил, я написал ряд стихотворений, сгруппированных впоследствии под названием «Джунгли сердца» в собрании моих сочинений, изданном Мохитом-бабу. В стихотворе-

нии «Примирение», впервые напечатанном в сборнике «Утренние песни», встречаются следующие строки:

Есть великие джунгли, чье имя — Сердце;
Куда ни пойдешь — нет ни краю;
В их глубях потерял я дорогу.
Облечены они тенью, и сплетшиеся ветви
Тысячами любящих рук
Лелеют у сердца мрак-дитя.

Они-то и дали название сборнику стихотворений.

Многое из того, что было написано мною, когда моя жизнь текла в стороне от внешнего мира, когда я был погружен в созерцание своего собственного сердца, когда создания моей фантазии в различнейших обликах блуждали среди беспричинных эмоций и бесцельных томлений, не было перепечатано в этом собрании сочинений; лишь немногие из стихов, первоначально входивших в сборник «Вечерние песни», нашли место в «Джунглях сердца».

Однажды мой брат Джоти и его жена уехали в продолжительное путешествие; их комнаты на третьем этаже, выходившие на верхнюю террасу, оставались пустыми. Я принял во владение комнаты и террасу и проводил дни в одиночестве.

Так, оставленный наедине с самим собою, я — не знаю как — свернул с проторенного поэтического пути. Быть может, это произошло потому, что, будучи отрезан от тех, кому я старался нравиться и чей поэтический вкус определял мою форму выражения, я естественным образом освободился от навязанного мне стиля.

Я начал пользоваться грифельной доской для моих поэтических опытов. Это также содействовало моей эмансипации. Тетради, которые я предпочитал до того, требовали, казалось, известной высоты поэтического парения, достижимой только путем соревнования с другими авторами. Доска же была точно предназначена для минутных капризов поэтического вдохновения. «Не бойся, — казалось, говорила она. — Пиши все, что тебе вздумается; один взмах — и все стерто!»

Когда я написал, освобожденный, несколько стихотворений, я ощутил волнение радости. «Наконец-то, — сказала сердце, — то, что я пишу — мое собственное!»

Пусть не примут это за проявление гордости. Скорее, я был горд своими прежними писаниями, в чем и заключалась вся дань, которой я обязан был им. Но нельзя смешивать самовыражение с самодовольством. Родители радуются своему первому ребенку не потому, что гордятся его видом, а потому, что он — их собственный. Если он окажется необычайно одаренным, то они и этому будут рады, но то будет радость другая. Захлестнутый волнами радости, я не обращал особого внимания на метрические формы, и, как река не течет прямо, подобно каналу, а прихотливо извивается, так текли и мои стихи. Раньше я считал бы это за преступление, но тут я не чувствовал никаких угрызений совести. Свобода сперва ломает закон, а затем творит новые законы, которые подчиняют ее своей власти.

Единственным слушателем этих своевольных стихов был Оккхой-бабу. Когда он слышал их в первый раз, он был удивлен, но они ему понравились. Его одобрение расширило мой путь к свободе.

Стихи Бихари Чоккроборти были написаны трехсложным размером. Трехсложный размер имеет закругленный характер — в противоположность прямоугольным, кратным двухсложникам. Он катится легко, он скользит, словно в пляске под позвякивание запястий. Некогда я очень любил этот размер. Он напоминал скорее езду на велосипеде, чем ходьбу. И я привык к его шагу. В «Вечерних песнях» я, сам того не замечая, порвал с этой привычкой. Но я не связывал себя и другими определенными размерами. Я чувствовал себя совершенно свободным и беспечным. Я не ожидал и не опасался выговора с чьей-либо стороны. Та сила, которую я обрел в этой свободе от оков традиции, показала мне, что я напрасно искал вовне то, что было внутри. Лишь недостаток веры в себя мешал мне найти свой путь. Я как бы восстал ото сна неволи, чтобы увидеть себя раскрепощенным. Я делал самые головоломные прыжки лишь для того, чтобы убедиться, что свобода моих движений ничем не стеснена.

Для меня это наиболее достопамятный период моего поэтического развития. Как поэзия мои «Вечерние песни», быть может, и не стоили многого; они еще незрелы. Ни их размеры, ни язык, ни мысли не приняли законченной

формы. У них лишь одно достоинство: в них я впервые выразил то, что действительно думал, так, как мне нравилось. Пусть они сами по себе лишены были ценности — они оправданы принесенной ими радостью обретения себя.

ДОКЛАД О МУЗЫКЕ

Я собирался приступить к изучению юриспруденции, когда отец вызвал меня из Англии домой. Некоторые из моих друзей, озабоченные тем, что мои занятия оборвались так неожиданно, настаивали, чтобы он опять отправил меня в Англию. В результате я вторично поехал в Англию, в сопровождении одного родственника. Но моя судьба настолько твердо решила не допускать меня в правоведы, что на этот раз я даже не добрался до Англии. По некоторой причине нам пришлось сойти с корабля в Мадрасе и вернуться в Калькутту. Причина была гораздо менее серьезна, чем результат; но я не могу себе позволить повеселить читателя, так как повинен был не я. Итак, из обоих начатых мною паломничеств к святилищу Лакшми я возвращался отвергнутым. Но я надеюсь, что, по крайней мере, бог правосудия удостоит меня милости за то, что я не увеличил собою безработного населения судебных архивов.

Мой отец в то время жил в горах Мошури. Я в страхе и трепете ожидал свидания с ним. Но он ничуть не рассердился, увидев меня, — скорее, даже он был доволен. Он, должно быть, видел в моем возвращении милость божественного провидения.

Вечером, накануне моего отъезда в это путешествие, я, по приглашению Общества Бетюна, прочел доклад в зале медицинского колледжа. Это было моим первым публичным выступлением. Председательствовал Кришномохон Бондопаддхай. Тема была — музыка. Оставив без рассмотрения инструментальную музыку, я пытался доказать, что главная цель вокальной музыки — лучше выразить то, что стремится выразить слово. Впрочем, самый текст доклада был весьма краток. Я почти непрерывно исполнял разные песни для иллюстрации темы. Единственным основанием для той лестной похвалы — «приветствую

соловья Вальмики», — которой удостоил меня председатель по окончании доклада, было, вероятно, действие, оказанное на слушателей моим юным голосом, искренностью и разнообразием исполнения. Но я должен признаться теперь, что мнение, которое я с таким энтузиазмом отстаивал в тот вечер, было ложно. Вокальная музыка как искусство имеет свои особые задачи и свойства. И если она положена на слова, то последние не должны под этим предлогом зазнаваться и вытеснять мелодию, которой они служат всего лишь носителями. Песня богата своим собственным достоянием; зачем же ей служить слову? Напротив, она там-то и вступает в свои права, где слова оказываются бессильными. Ее сила — в сфере невыразимого; она говорит нам то, что не могут сказать слова. Чем менее поэтому песня обременена словами, тем лучше. В классическом хиндустанском стиле слова не имеют значения и предоставляют мелодии воздействовать на слушателя совершенно независимо от них. Вокальная музыка тогда достигает совершенства, когда мелодическая форма получает возможность свободно развиваться и уводить за собой наше сознание в свою собственную чудесную обитель. Но в Бенгалии слова настолько преобладают, что наша песня отнюдь не раскрыла всех заложенных в ней музыкальных возможностей, и ей приходится довольствоваться ролью служанки у своей сестры-поэзии. Начиная со старинных вишнуитских песен и кончая песнями Нидху-бабу, ее очарование всегда оставалось где-то на заднем плане. Но как в нашей стране жена обретает власть над мужем путем признания своей от него зависимости, так и наша музыка, будучи внешне лишь сопровождением поэзии, в конце концов проиобретает власть над нею. Я часто ощущал это, когда сочинял свои песни. Когда я, напевая про себя мелодию, написал нижеследующие строки:

Возлюбленная, тайну не храни.
И тихо мне, лишь только мне шепни, —

я почувствовал, что одни слова не в силах были бы достичь тех сфер, куда их уносит мелодия. Мелодия поведала мне, что тайна, которую я нескромно подслушал, сплетена с зеленой думою лесных прогалин, облечена

молчаливой белизною лунных ночей, сквозит под покрывалом безграничной лазури за горизонтом и что она же — единая задушевная тайна Земли, Неба и Вод.

В раннем отрочестве я как-то услышал обрывок песни:

Кто нарядил тебя, подруга, чужестранкой?

Эта строчка вызвала столь волшебные видения, что они и до сих пор живы во мне. Однажды я принялся сочинять песню, находясь всецело под влиянием этой строки. Напевая про себя мелодию, я написал под ее сопровождение:

Тебя я знал, тебя забыть не мог, о чужеземка,
Хотя меж нами океан пролег, о чужеземка...

Если бы во мне не зазвучала песня, я не знаю, какой облик приняла бы остальная часть стихотворения; но волшебство мелодии открыло мне чужестранку в ее чудесном образе. Это та, сказала моя душа, что приходит и уходит, вестница, посланная этому миру с того берега океана тайны. Это та, чей облик мы временами ловим вдали росистыми утрами осени, благоуханными ночами весны, иногда в сокровеннейших глубинах наших сердец, — иногда же мы тянемся к небу, чтобы услышать ее песнь. К двери этой милой миру чужестранки привела меня мелодия, и я сказал:

Немало довелось скитаться мне, и вот я наконец
в твоей стране.
Ступаю тихо я на твой порог, о чужеземка...

Много лет спустя нищий певец шел по улице Болпура и пел:

Перепархивает птица со стены на стену.
Ей кольцо свое на лапку в знак любви надену.

Я понял тогда, что певец говорит о том же самом. Это порхающая птица нашептывает нам весть о беспредельном неведомом. Сердцу любо удержать ее при себе навеки, да не в силах оно. Что, кроме мелодии песни, может поведать нам о безмолвном полете неведомой птицы?

Вот почему я лишь скрепя сердце печатаю слова моих песен отдельно от мелодий: в них неизбежно отсутствует душа.

БЕРЕГ ГАНГИ

Когда я вернулся из неудачного второго путешествия в Англию, мой брат Джоти и невестка жили в усадьбе на берегу Ганги в Чондонногоре, и я поехал к ним. Снова Ганга! Снова несказанные дни и ночи, с их томной радостью, со скорбным томлением, под жалобное журчание струй в прохладной тени лесистых берегов. Полное света бенгальское небо, южный ветерок, движение реки, царственная лень, широко раскинувшаяся от горизонта до горизонта и от зеленой земли до голубого неба, — все это было мне как еда и питье голодному и жаждущему. Здесь я чувствовал себя дома, а во всем окружающем — заботу и ласку материнской руки.

Это было не так давно — и все же время принесло большие перемены. Там, на берегу, где наши гнезда прятались в окружающей зелени, возвышаются ныне, как драконы, свистящие, изрыгающие черный дым трубы фабрик. Трезвый полуденный свет современной жизни даже из души нашей изгнал прохладную тень бенгальских лесных досугов, и тысячеголовое брожение проникло во все области жизни нашей страны. Быть может, это и к лучшему, но я, по крайней мере, никак не могу видеть в этом только хорошее.

Эти очаровательные дни на берегу реки текли один за другим, как плывут заветные лотосы по священной воде Ганги. Не раз в дождливый день проводил я полуденные часы в полном самозабвении, распевая «Осенние дожди» Видьяпати под свою собственную мелодию, аккомпанируя себе на фисгармонии. Иногда, в сумерках уходящего дня, мы садились в лодку; мой брат Джоти аккомпанировал мне на скрипке. Начиная с пуроби, мы изменяли лады наших песен вместе со склоняющимся днем, и, дойдя до бехага, мы видели, как закатное небо закрывает ворота своей разоренной мастерской золотых игрушек и луна на востоке восходит над каймою деревьев. Тогда мы подплывали обратно к пристани нашей усадьбы и садились на коврик на террасе у берега реки. Серебристая тишина царила над землею и водами; не слышно было плеска весел; деревья на берегу одеты были густой тенью, и лунный свет сиял над плавно катящейся рекой.

Усадьба, в которой мы жили, носила название «Вилла Морана-сахеба». Лестница из выстланных камнем ступенек, вела от воды к длинной широкой веранде, составлявшей часть дома. Комнаты были расположены неправильно и на разном уровне; в некоторые из них можно было попасть только по небольшим лесенкам. В просторной зале, выходящей к пристани, окна были из цветного стекла, с мозаикой. На одном из окон изображена была качель, свисающая с ветви, наполовину скрытой в густой листве, и в пестрой светотени под кущей — качающаяся пара влюбленных; на другом была изображена широкая лестница, ведущая во дворец, по которой спускались и поднимались мужчины и женщины в праздничных одеждах. Когда свет падал на окна, картины волшебным образом преображались, как бы наполняли прибрежный воздух праздничной музыкой. Какое-то далекое, давно забытое празднество, казалось, сияло в беззвучных словах из света, а любовный трепет качающейся пары наполнял тоскою своей невнятной повести прибрежные леса. Самая верхняя комната дома помещалась в круглой башне с окнами во все стороны. Там я обычно писал стихи. С башни видно ничего не было, кроме вершин окружающих деревьев да открытого неба. Я сочинял тогда «Вечерние песни», и этой комнате посвящены следующие строки:

Там, где в небе облака
 плывут, тихи,
Я для вас построил дом,
 мои стихи.

В то время я слыл среди литературных критиков поэтом с ломаной каденцией и невнятным голосом. Все вокруг моих произведений казалось туманным и темным. Как ни мало приятно это мне было в то время, обвинение все же не лишено было оснований. Моей поэзии действительно не доставало скелета реальности. Но как мог я, в удивлении моих ранних лет, добыть необходимый материал? В одном я не согласен, однако, с моими обвинителями: за упреком в туманности скрывалось жало еще горшего, но несправедливого обвинения в аффектации с целью произвести впечатление. Счастливый обладатель хорошего зрения склонен иронизировать над юношей в очках, утверждая, что он носит их из франтовства. Можно еще,

пожалуй, в крайнем случае, снисходительно посмеяться над беднягой, — но слишком злостно было бы обвинить его в притворстве.

Туманность не есть нечто внемирное; она лишь известная ступень творения; и совершенное непризнание поэзии, не достигшей зрелости, не приблизило бы нас к истине в вопросах литературы. Любая фаза природы человека заслуживает внимания, если только она нашла истинное свое выражение; пренебречь ею можно лишь в том случае, если ей не удалось выразить себя. В жизни человека есть период, когда им владеет смутное томление, пафос невыразимого. Отвечающая ему поэзия не может считаться надуманной, она в худшем случае может быть малоценной, но и это необязательно. Грех не в том, что в ней выражается, а в недостатке силы выражения. Есть две стихии в человеке. О внутренней личности, таящейся глубоко под внешним потоком мыслей, чувств и событий, мало известно, и о ней мало думают; но все же она — неустранимый фактор в ходе жизни. Если внешняя жизнь не гармонирует с внутренней, личность, живущая внутри нас, страдает; отражение ее мук во внешнем сознании трудно назвать или хотя бы только описать, оно более похоже на нечленораздельный вопль, чем на слова с отчетливым смыслом. Скорбь и страдание, искавшие своего выражения в «Вечерних песнях», коренились в глубинах моей души. Все мое существо стремилось к недостижимой для него цели. Как сознание, скованное сном, борется с кошмаром, стремясь пробудиться, так подводное, внутреннее «я» борется против удерживающих его пут, чтобы выйти на свободу. История войны, свирепствовавшей в этой невидимой стране, нашла свое, хотя и смутное, отражение в «Вечерних песнях». Как повсюду в творении, так и в поэзии имеется противоборство сил. Где расхождение между ними слишком велико, или, наоборот, слишком велика их взаимная близость — там, мне кажется, нет места для поэзии. Там же, где боль разлада стремится достичь своего разрешения и выражения в гармонии, там поэзия изливается в музыку, как дыхание — сквозь тесное отверстие флейты. Когда «Вечерние песни» впервые увидели свет, они не были встречены трубными звуками, но нашли и почитателей. Я в другом месте рас-

сказал уже о том, как на свадьбу старшей дочери Ромеша Дотто пришел Бонким-бабу и хозяин приветствовал его в дверях традиционной гирляндой цветов; как раз в это мгновение у дверей появился и я; Бонким-бабу стремительно схватил гирлянду и, обвив ее вокруг моей шеи, сказал: «Ему венец, Ромеш; читали вы его «Вечерние песни?» А когда Дотто признался, что он их не читал, мнение, высказанное Бонкимом-бабу относительно некоторых из них, я счел вполне достаточной наградой.

П Р И Й О - Б А Б У

«Вечерние песни» завоевали мне поддержку одного друга, одобрение которого, подобно солнечным лучам, оживляло и направляло ростки моих молодых стремлений. То был Прийонатх Шен. Как раз перед этим «Разбитое сердце» заставило его отказаться от всех возлагавшихся им на меня надежд, но «Вечерними песнями» он был побежден. Те, кто с ним знаком, знают его как опытного пловца семи морей литературы, которые, изучив множество индийских и иностранных языков, он избороздил во всех направлениях. Разговор с ним открывал перед собеседником окна, сквозь которые можно было видеть самые удаленные пейзажи в мире идей. Это имело для меня громадное значение. Он в состоянии был высказывать литературные суждения с величайшей уверенностью, ибо ему не приходилось опираться на столь беспомощный критерий, как личный вкус. Его авторитетные критические отзывы принесли мне огромную пользу. Я обычно читал ему все написанное мною, и если бы не благовременные дожди его веских оценок, то трудно сказать, дали бы мои ранние пропашки те же всходы.

«У Т Р Е Н Н И Е П Е С Н И»

На речном берегу я писал также и прозу — не на какую-либо определенную тему или по какому-либо плану, а так, как мальчики ловят бабочек. Когда в душе весна, многоцветные грезы-однодневки рождаются и порхают в

душе, обычно не замечаемые. Быть может, то был лишь каприз тех праздных дней моих — собирать их. Или, быть может, то была лишь другая фаза жизни моего освобожденного «я», которое вздохнуло с облегчением и решило писать все, что ему вздумается; сюжет был не важен, важно было лишь то, что пишу я. Эти прозаические опыты изданы были позднее под названием «На различные темы», но они испустили свой последний вздох с первым же изданием, не дотянув до второго.

Должно быть, в то же время я начал мой первый роман: «Берег Бибхи».

После того как мы прожили некоторое время у реки, мой брат Джоти поселился в отдельном доме в Калькутте, на Шодор-стрит, около музея. Я по-прежнему жил у него. Продолжая писать свой роман и «Вечерние песни», я пережил глубочайший внутренний переворот.

Однажды в позднее пополуденное время я расхаживал по террасе нашего дома в Джорашанко. Солнце зашло, и сияние закатного неба, смешиваясь с бледными сумерками, придавало наступившему вечеру особую, изумительную привлекательность. Даже стены соседнего дома, казалось, сияли новой красотой. «Какая сила совлекла с мира повседневных вещей покров обыденности? — думал я. — Магия вечернего освещения? Нет!» И вдруг я увидел, что то просто была красота вечера, вошедшая в меня; в его тених ступевалось мое «я». В блеске дня «я» господствовало безудержно; все, что я воспринимал, было пронизано, окутано им. Теперь оно отступило в сторону, и я мог созерцать мир в его истинном облике. А в этом облике — обыденности нет и следа: он исполнен красоты и радости. С тех пор я неоднократно повторял опыт сознательного подавления своего «я» и созерцания мира как бы со стороны и неизменно бывал вознаграждаем ощущением своеобразного наслаждения. Я припоминаю также, что однажды я пытался объяснить одному из наших домашних, как можно увидеть мир в его подлинном виде и как при таком видении становится легко на душе — но, кажется, без успеха.

Затем я увидел нечто, что потом не переставал уже видеть всю свою жизнь.

Конец Шодор-стрит и деревья на участке Фри-скул напротив были видны из нашего дома на этой улице. Однажды утром я стоял на веранде и смотрел в ту сторону. Солнце в это время подымалось за покрытыми листвою вершинами деревьев. Я все смотрел — и вдруг как бы пелена упала с моих глаз: весь мир передо мною омыт был чудесным сиянием и со всех сторон вздымались волны радости и красоты. Сияние это мгновенно пронизало складки печали и уныния, собравшиеся на моем сердце, и наводнило его безбрежным светом.

В тот же день стихотворение «Пробуждение потока» излилось бурным каскадом. Оно было уже мною закончено, но зрелище радостного мира, открывшееся мне, не прерывалось падением занавеса. И стало так, что ни один человек и ни одна вещь не казались мне обыденными или уродливыми. Особенно удивителен был случай, произошедший в тот же день или днем позже.

Иногда меня навещал один чужак, который задавал мне разного рода наивные вопросы. Однажды он спросил: «Видели ли вы, господин, бога своими собственными глазами?» Мне пришлось признаться, что нет; он же в ответ заявил, что видел. «Что же вы видели?» — спросил я. «Он кипел и бурлил перед моими глазами!» — был ответ. Легко себе представить, что беседы с подобным посетителем не могли быть всегда притягательны. Кроме того, я в то время был совершенно поглощен писанием стихов. Но все же мне не хотелось оскорблять безобидное существо, и я не отказывал ему в разговоре.

На этот раз, когда он явился, я был обрадован его приходом и сердечно его встретил. Одевание чужачества и придурковатости как бы соскользнуло с него, и тот, кого я радостно приветствовал, оказался несколько не ниже меня, мало того — близким мне. Не найдя в себе ни каких-либо следов досады по поводу его прихода, ни ощущения бесполезной траты времени, я исполнился сильнейшей радости и почувствовал, что избавился от каких-то пут лжи, причинявших мне дотоле ненужные неудобства и страдания.

Когда я стоял на балконе, походка, фигура, лицо каждого из прохожих, кто бы он ни был, казались мне небывало чудесными — игрой катящихся волн мирового.

го моря. С детства я видел одними только глазами, но тогда я стал видеть всем своим сознанием. Я уже не мог видеть в двух улыбающихся юношах, беспечно идущих своей дорогой, обняв друг друга, нечто мгновенное и проходящее; сквозь них прозревал я в бездонной глубине мира неистощимый источник вселенской радости, из которого бесчисленные лучи смеха брызжут во все концы.

До того я никогда не замечал игры линий, всегда сопровождающей малейшее движение человека; теперь я был вдруг зачарован музыкою ежемгновенного движения человеческого тела. Притом я видел каждое из этих движений не как отдельное, а как часть того изумительно прекрасного великого танца, что колеблет в это именно мгновение весь человеческий мир на всей земле, проникая во все жилища, во все многообразные действия и потребности людей. Двое друзей радостно хохочут, мать ласкает своего ребенка, корова трется боком о другую и лижет ее, — во всем этом есть неизмеримость, которая предстанет моему духу потрясением, граничащим с болью. Когда я писал об этом времени,

Открылось утром сердце ненароком
И влился мир в него живым потоком...

то не было поэтическим преувеличением. Пожалуй, вернее будет сказать, что у меня не хватало сил выразить все, что я чувствовал тогда.

Некоторое время я прожил в этом самозабвенном состоянии блаженства. Затем мой брат решил пожить в дарджилингских горах. Тем лучше, подумал я. На гордых вершинах Гималаев я глубже загляну в то, что открылось мне на Шодор-стрит, или, по крайней мере, увижу Гималаи в свете моего нового дара видения.

Но победа осталась за малым нашим домом на Шодор-стрит. Когда, взобравшись на горы, я огляделся вокруг, я заметил, что потерял свою новую силу зрения. Моя ошибка, видно, была в том, что я воображал, будто можно получить что-нибудь существенное непосредственно извне. Как бы высоко ни вздымался к небу царь гор, среди его даров может ничего не найтись для меня, меж тем как Даятель может даровать откровение вечности и в самом грязном переулке и в едином мгновении времени.

Я блуждал среди кедров, я сидел у водопадов и купался в водах, я созерцал величавую вершину Кинчинджунги при безоблачном небе, но того, что надеялся найти в этих прекрасных пейзажах, я не находил. Я пришел, чтобы глубже проникнуть в То, но мне не дано было более его видеть. Пока я с изумлением глядел на алмаз, крышка внезапно закрылась, и я продолжал смотреть на заключавший его ларец. Но как бы ни была привлекательна его отделка, я уже не считал его просто пустым ларцом.

«Утренние песни» были закончены; их последний отголосок замер в том «Эхе», которое я написал в Дарджилинге. Это стихотворение, по-видимому, настолько непонятно, что двое из моих друзей держали пари насчет действительного его смысла. Отчаявшись, один из них тайком пришел ко мне за разгадкой. Я сомневаюсь, чтобы моя помощь могла обеспечить бедняге выигрыш. Единственным моим утешением было то, что никто из них, надо думать, не проиграл этого пари. Увы, те дни, когда я писал на редкость понятные стихи о лотосе или об озере, минули невозвратно.

Но разве поэзия пишется для объяснения чего-либо? Чувство стремится обрести себе внешнюю форму в виде стихотворения. Поэтому, когда кто-нибудь, выслушав стихотворение, говорит, что он не понял, я нахожусь в большом затруднении. Если же кто-нибудь, понюхав цветок, скажет, что он не понимает, ответ ясен: тут нечего понимать, это ведь только запах. Если же он будет настаивать на своем, говоря: «Это-то я знаю, но к чему вдруг запах, что все это значит?», тогда придется либо переменить тему разговора, либо же сделать вопрос еще менее ясным, утверждая, что аромат есть та форма, которую затаенная радость природы принимает в цветке. Вся беда именно в том, что слова имеют смысл. Вот почему поэту приходится изменять естественное течение речи, сдвигать слова, вплетая их в размеры и строки, чтобы несколько ослабить влияние смысла и дать чувству свободу выражения. Это выражение чувства не есть провозглашение какой-либо прописной истины, или научного факта, или душеспасительной моральной заповеди. Подобно слезе или улыбке, стихи суть изображение того, что совершается внутри. Если наука или философия в состоянии из-

влекь для себя что-нибудь из поэзии, пусть приходят и берут, но не в этом цель ее существования. Если, переправляясь через реку на пароме, вам удастся поймать рыбу, это ваша удача, но это не значит, что паром есть рыбацья лодка, и вы не в праве упрекать перевозчика за то, что он не занимается рыбной ловлей.

Стихотворение «Эхо» было написано так давно, что не вызвало к себе большого внимания, и теперь мне уже не приходится объяснять его смысл. Тем не менее, каковы бы ни были другие его достоинства или недостатки, я могу уверить читателей, что моей целью не было ни поставить их в тупик, ни преподать незаметно какое-либо надуманное поучение.

В сердце моем родилось некое стремление, и, не найдя иного имени, я назвал то, что было предметом его, — словом «эхо» и написал:

О эхо-невидимка!
Люблю тебя.
И никого сильнее не люблю.

Когда из первозданных родников, что бьют в глубинах вселенной, изливаются потоки мелодии, их эхо отражает в наших сердцах лица любимых и все, что есть прекрасного в мире вокруг нас. Мы любим, хотел я сказать тогда, именно это эхо, а не самые вещи, от которых оно случайно отражается; ибо то, что мы сегодня не удостоили взглядом, завтра может привлечь к себе весь пыл нашего преклонения.

Я долго созерцал мир одним лишь внешним зрением и не видел его всесущего радостного обличья. Когда же внезапно из сокровенных глубин моего существа прорвался наружу луч света, он осветил мне весь мир, который с тех пор уже не был подобен нагромождению разрозненных вещей и событий, но раскрылся моему взору, как единое целое. Этот душевный опыт, казалось, говорил мне о потоке мелодии, истекающем из самого сердца вселенной и омывающим времена и пространства, отражаясь в них волнами радости, которые стремятся обратно к источнику. Когда певец посылает свою песнь из глубины переполненного сердца, в этом — подлинная радость. Его радость удваивается, если песня возвращается к нему как

слушателю. Когда творение Верховного Поэта возвращается к нему рекою радости, — мы, давая ей протечь через наше сознание, вдруг непосредственно, невыразимым образом, постигаем ту цель, к которой эта река стремится. И наша любовь уносится вместе с этою рекою, и наше «я», еле удерживаясь на своих якорях, тянется к той же бесконечной цели. Вот смысл того беспокойства, которое охватывает нас при лицезрении красоты. Поток, текущий от бесконечного к конечному — есть истина, есть добро; он подвластен закону и форме. Его эхо, возвращающееся к бесконечному, есть красота и радость, неопределимые, неуловимые и потому уводящие в беспредельное. Вот что я пытался притчею и песнею сказать в своем «Эхе». Не удивительно, что стихотворение было непонятно — ведь оно тогда не было ясно и его автору.

Я приведу здесь отрывок об «Утренних песнях» из письма, написанного гораздо позднее:

«Нет никого на свете, все в моем сердце» — такое настроение свойственно определенному возрасту. Когда сердце впервые пробуждается, оно стремится обнять весь мир широко простертыми руками, так ребенку, у которого прорезываются зубы, кажется, что все предназначено для его рта. Лишь постепенно сердце научается понимать, что ему действительно нужно. Тогда его неяркие излучения падают обратно, нагреваются и греют сами. Желать всего — значит не получить ничего. Лишь когда желание сосредоточено со всею силой на каком-либо одном предмете, становятся видимыми врата бесконечного. «Утренние песни» были первым проявлением моего внутреннего «я», и в них поэтому отсутствуют всякие признаки подобного сосредоточения.

Эта всепроницающая радость первого самораскрытия имеет, однако, своим следствием знакомство с действительностью. Озеро ищет избавления от своего избытка и дает начало реке. В этом смысле позднейшая постоянная любовь уже, чем первая любовь. Она более определена в своем направлении, стремится к осуществлению целого в каждой его части, и тем самым и к бесконечному. То, чего она действительно достигает, есть уже не преж-

нее неограниченное распространение внутренней радости на весь мир, но погружение в бесконечную реальность вовне, а тем самым и постижение полной истины своих стремлений.

В издании Мохита-бабу эти «Утренние песни» были помещены в группе стихотворений, названных «Выход», ибо они были вестью о моем выходе из «Джунглей сердца» в открытый мир. А затем мое сердце-паломник, шаг за шагом, область за областью знакомилось с миром, в разных условиях и на разные лады. А в конце, оставив за собою многочисленные пристани вечно изменчивого преходящего, оно достигнет бесконечного: не туманности неопределенных возможностей, но конечной, совершенной полноты истины.

С самых ранних лет я находился в непосредственном и тесном общении с природой. Каждое из кокосовых деревьев в нашем саду обладало для меня особой индивидуальностью. Когда я однажды, по возвращении домой из Нормальной школы после четырех часов дня, увидел нагроможденные за крышей нашего дома серо-голубые, наполненные влагой облака, меня мгновенно охватил прилив непомерной радости, которую я могу воскресить в себе еще и сейчас. Каждое утро, когда я открывал глаза, блаженно просыпающийся мир манил к себе, как товарищ по играм; раскаленное дневное небо во время долгих часов полуденной сиесты увлекало меня из мира будней в свои пустынные скиты; а тьма ночи распахивала врата своих призрачных путей и уносила меня через все семь морей и тринадцать рек, через все пределы мыслимого и немислимого, прямо в страну чудес.

Затем однажды, на заре юности, мое голодное сердце возжаждало пищи, и между внутренним и внешним миром воздвиглась стена. Все мое существо кружилось вокруг смятенного сердца, создавая водоворот, в круги которого замкнуто было сознание. Эта утрата гармонии между внутренним и внешним, вызванная чрезмерными притязаниями алчущего сердца, и последовавшее за нею ограничение моей привилегии вольного общения с природой были оплаканы мною в «Вечерних песнях». В «Утренних песнях» я отпраздновал внезапное открытие бреши в сте-

не, вызванное не знаю каким сотрясением; через эту брешь я вновь обрел утраченное, не только в том же виде, что и раньше, но — благодаря временной разлуке — глубже и полнее.

Так первая книга моей жизни закончилась главами единения, разлуки и воссоединения. Впрочем, она еще не кончилась: ведь та же тема должна быть проведена через более совершенные разрешения более сложных задач и доведена до конца. Каждый приходит сюда, чтобы написать лишь одну книгу жизни, которая, по мере поступательного движения отдельных частей, растет спиралеобразно, со все бóльшим и бóльшим увеличением радиуса. И хотя каждый отрезок ее может на первый взгляд показаться отличным от другого, все они на деле восходят к тому же самому центру.

Прозаические произведения периода «Вечерних песен» были изданы, как я уже говорил, под названием «На различные темы». Те, что по времени написания совпадают с «Утренними песнями», вышли под заглавием «Размышления». Различие в характере этих двух сборников также свидетельствует о перемене, которая в промежутке произошла со мною.

РАДЖЕНДРОЛАЛ МИТТРО

Приблизительно в это же время мой брат Джоти задумал основать Литературную академию, которая должна была объединить всех известных писателей. Ее целью была выработка авторитетной бенгальской терминологии и всяческое иное содействие развитию нашего языка и литературы, — в этом отношении она мало отличалась в своих принципах от современной Литературной академии.

Доктор Раджендролал Миттро, с восторгом принявший эту мысль, стал президентом академии в течение краткого времени ее существования. Когда я передал приглашение пандиту Биддашагору, он выслушал мое изложение целей академии и список предполагаемых членов и затем сказал: «Мой совет вам: не приглашайте важных особ: вы никогда не добьетесь взаимного согласия между ни-

ми», — и с этими словами он отказался от вступления. Бонким-бабу вступил в академию, но я не могу сказать, чтобы он проявлял большой интерес к ее работе.

Если сказать откровенно, то во время существования академии вся работа в ней выполнялась единолично Раджендролалом Миттро. Начал он с географических терминов. Черновой список был изготовлен им самим, напечатан и роздан членам для замечаний. У нас был, между прочим, и проект бенгальской транслитерации названий всех стран соответственно произношению, принятому в каждой из них.

Пророчество пандита Биддашагора исполнилось. Оказалось невозможным побудить важных особ сделать хоть что-нибудь. Академия завяла, едва успев распуститься.

Раджендролал Миттро был экспертом по всем вопросам: он сам по себе был академией. Мои труды по организации академии были с лихвой оплачены знакомством с ним.

Я встречался со многими бенгальскими писателями, но ни один не производил на меня столь блестящего впечатления, как он. Я обычно навещал его в здании суда в Маниктоле. Я ходил к нему по утрам и всегда находил его погруженным в работу; с юношеской беспечностью я прерывал ее. Но я ни разу не видел никаких признаков недовольства с его стороны. Завидев меня, он тотчас же откладывал в сторону работу и начинал беседу со мной. Известно, что он был глуховат, и мне обычно не удавалось предлагать ему вопросы. Он брал всегда какую-нибудь обширную тему и начинал ее развивать; как раз эти его речи и привлекали меня к нему. Я не знаю никого, чьи беседы столь способны были бы возбуждать мысль по самым разнообразным вопросам. Я слушал его с упоением. Если я не ошибаюсь, он был руководящим членом комиссии по учебникам; каждую книгу, которую он получал для отзыва, он прочитывал от начала до конца, делая карандашом пометки на полях. Иногда он выбирал одну из этих книг за основу для беседы о строении бенгальского языка в частности или по филологии вообще; эти беседы были для меня в особенности полезны. Было очень мало вопросов, которые не были бы им изучены; и все, что он изучал, он умел чрезвычайно ясно

излагать. Если бы мы не надеялись на других членов академии, которую пытались основать, а возложили всю работу на доктора Раджендролала, нынешняя Литературная академия застала бы вопросы, которые она изучает, в гораздо более разработанном виде.

Доктор Раджендролал Миттро был не только глубоко-ученым человеком; он обладал чрезвычайно привлекательным характером, светившимся в его лице. Полный огня в общественной своей деятельности, он в частной жизни преображался и мог говорить с таким юнцом, как я, на серьезные темы без всяких признаков покровительственного тона. Я даже воспользовался его снисходительностью, чтобы получить у него одну вещицу, под названием «Пес Ямы», для журнала «Бхароти». Со многими другими его современниками я никогда не позволил бы себе подобных вольностей, я уверен, что они совершенно иначе отнеслись бы к ним.

Когда же ему приходилось защищать против других свои взгляды, его оппоненты по муниципальной корпорации или по университетскому совету смертельно боялись его. Кришнодаш Пал слыл в те дни осторожным дипломатом, а Раджендролал Миттро — храбрым воином. Он никогда не уклонялся от единоборства с сильнейшим противником и никогда не знал поражения.

Для подготовки к печати изданий Азиатского общества, а также для археологических и исторических изысканий он пользовался услугами ряда пандитов-санскритологов, выполнявших техническую работу. Помнится, некоторые завистливые и тупоумные клеветники пытались воспользоваться этим, утверждая, что все делается пандитами, а он обманным образом пользуется их трудом. Еще и поныне мы нередко видим, как орудия претендуют на львиную долю успеха, воображая, что их владелец — лишь своего рода декоративная виньетка. Если бы перо обладало душой, оно, наверное, также оплакивало бы как несправедливость, что по его лицу текут лишь чернила, весь же блеск славы приходится на долю писателя!

Поразительно, что этот исключительный человек не был признан своими соотечественниками даже после смерти. Быть может, это отчасти объясняется тем, что

национальная скорбь по случаю смерти Биддашагора, умершего вскоре после Раджендролала, не оставила места для оценки этой утраты. Возможно, тут сказалось и то обстоятельство, что главные его успехи были достигнуты не на ниве бенгальской литературы, и потому, естественно, он не смог завоевать сердце своего народа.

КАРВАР

Наша компания затем переехала с Шодор-стрит в Карвар на западном берегу моря. Карвар — главный город округа Карнатик в южной части бомбейской провинции. Это — страна гор, где растут кардамон и сандаловое дерево. Мой второй брат был назначен туда судьей.

Небольшая гавань, окруженная холмами, настолько уединена и изолирована, что нисколько не напоминает порт. Серповидный берег раскрывает объятия безбрежной синеве моря, словно воплощая в себе страстное стремление к бесконечному. Край широкого песчаного берега окаймлен лесом казуарий, прорезаемым с одной стороны рекою Каланади, которая здесь впадает в море, пройдя через устье, окаймленное рядами холмов.

Я вспоминаю, как однажды лунным вечером мы плыли в лодке по этой реке. Мы остановились у холма, где раньше находилась крепость Шиваджи.

Ночь царила над недвижными холмами и лесами и над молчаливо струящимися водами нашей речки, осеняя все чарами лунного света. Мы зашли в чисто подметенный дворик крестьянской хижины, затененной косою тенью от ограды; выбрав освещенное местечко против двери, мы уселись и поужинали тем, что имели с собой. На обратном пути мы предоставили лодке плыть по течению.

Прошло немало времени, пока мы достигли устья реки, вылезли из лодки и пошли берегом. Была уже глубокая ночь, море было гладко, как зеркало, даже вечный беспокойный ропот казуарий умолк. Тень, отбрасывавшаяся лесом на широкий берег, лежала недвижная вдоль его края, а серо-голубые холмы вокруг горизонта безмя-

тежно спали под небом. Сквозь глубокое молчание этой безграничной белизны мы, несколько человеческих существ, брели, влача наши тени, не говоря ни слова. Когда мы пришли домой, мой сон растворился в чем-то еще более глубоком. Стихи, которые я тогда написал, неразрывно связаны с той ночью на далеком морском берегу. Не знаю, как их воспринял бы читатель отдельно от воспоминаний, с которыми они слетены. В виду этих сомнений они были пропущены в издании Мохита-бабу. Я полагаю, что здесь для них вполне подходящее место.

Тону в неведомом и погружаюсь в бездну,
Сознания сбросив груз...
Синеет ночь, в которой я исчезну,
Растаю, растворюсь.
А ты, земля, связать меня хотела, —
Не надо, не держи.
Исчезли времени пределы
И рубежи.
О если б, звезды, вы, пьянея, устремили
Ко мне безумный взор!
О вечный горизонт, хочу, чтоб крылья
Ты надо мной простер.
Ни слов, ни чувств, ни песни многострунной,
Ни сна, ни яви нет.
Оцепенела плоть. Я превратился в лунный
Прозрачный свет.
Мир потонул в сияющей пустыне,
В бездонности глубин.
Как сладко умирать! Ночь без конца и края...
Я точкой становлюсь, —
Сейчас исчезну, в бездне утопая,
И с вечностью сольюсь.
Исчезло все, и в ночи синей
Лишь я один.
Пой, мир, чтобы пловцов напевы прозвучали.
Я вспомнить бы хотел:
С паломниками ты уплыл в какие дали,
В какой предел? ¹

Здесь уместно отметить, что если что-нибудь пишется от избытка чувств, то это еще несколько не гарантирует качества написанного. Так бывает, когда поэтическая речь слишком проникнута эмоцией. Как неуместно, чтобы пишущий был совершенно отчужден от выражаемого

¹ Перевод Н. Стефановича.

им чувства, так же и чрезмерная близость к чувству враждебна подлинной поэзии. Память есть та кисть, которая лучше всякой иной способна наводить поэтический колорит. Близость действует чересчур сковывающе, и воображение недостаточно свободно, пока не избавится от ее влияния. Не только в поэзии, но и во всяком другом искусстве дух художника должен достичь известной меры отрешенности — и лишь творцу в человеке должна быть предоставлена полная свобода. Если же в творении художника преобладает изображаемый предмет, то результатом является лишь нечто вроде фотографии события, а не преломление его в душе художника.

«ВОЗМЕЗДИЕ ПРИРОДЫ»

В Карваре я написал драму «Возмездие природы». Героем ее является отшельник, стремившийся победить естество, отсечь все нити желаний и привязанностей, чтобы достичь истинной бесконечности, которая для него как бы вне мира. Но маленькая девочка возвратила его из созерцания бесконечности к оковам человеческой любви. Вернувшись, отшельник понял, что великое обретает себя в малом, бесконечное — в гранях формы, а вечная свобода души — в любви. Лишь в свете любви все предельное сливается с беспредельным.

Морской берег в Карваре — несомненно, весьма подходящее место для того, чтобы понять, что красота природы не есть мираж воображения, но отражает радость бесконечного и поэтому влечет нас раствориться в нем. Там, где вселенная находит выражение в сети непреодолимых законов необходимости, — мы, естественно, теряем из виду ее бесконечность; но там, где, в свете красоты и любви, сердце непосредственно соприкасается с безмерностью в самых незначительных вещах, всякая нужда в аргументации исчезает. Стезю сердца природа привела отшельника во дворец бесконечного через царские врата конечного. В «Возмездии природы» показаны, с одной стороны, странники и деревенские жители, довольные своей доморощенной ограниченностью и не знающие ни о чем вне своего круга; с другой — отшельник, отрекающийся от

всего и от себя самого ради воображаемой бесконечности его вымысла. Когда любовь перекинула мост через отделявшую обе стороны пропасть и отшельник и домохозяин встретились, кажущаяся ограниченность конечного и кажущаяся пустота бесконечного исчезли бесследно и одновременно. То было лишь новым выражением истории моего собственного опыта, истории о прекрасном луче света, пробившемся в пещеру, где я жил вдали от мира, и вновь и полнее объединившем меня с природой.

«Возмездие природы» можно рассматривать как введение ко всей моей последующей литературной деятельности; или, вернее, это была тема, к которой тяготели все мои писания: радость обретения бесконечного в конечном. Эту же мысль я выразил позже в следующей стихотворной строчке:

Я не ищу избавленья в бесстрастье аскета...

Тогда же я написал небольшой прозаический этюд под названием «Размышление», в котором, в сущности, пытался разъяснить все ту же основную идею «Возмездия природы», — что конечное не предельно, что оно во всяком атоме обнаруживает скрытую в нем бездонную глубину. Не знаю, ни какова философская ценность этого комментария, ни какова поэтическая ценность «Возмездия природы», но в настоящее время уже вполне выяснилось, что именно эта единственная идея, неумышленно, в разных облачениях, доныне управляла всей моей литературной деятельностью.

На обратном пути домой из Карвара я написал несколько песен для «Возмездия природы» на борту корабля. Первая из них наполнила меня большой радостью, когда я пел и писал ее, сидя на палубе:

Отпусти с нами Кришну,
Это мы, пастушкí, у дверей.
Пусть пойдет с нами Кришна, —
С ним на луг убежим поскорей.

Солнце взошло, почки раскрылись, пастушкí идут в поле; им хочется, чтобы они не были одиноки в своих играх на лужайках среди цветов, под ярким светом солнца. Они жаждут видеть с собой Кришну. Они стремятся видеть бесконечное во всей красоте его воплощения; они

вышли так рано потому, что хотят встретиться с ним в радостной игре, посреди лесов, полей, холмов и долин, а не созерцать его лишь издали, в величии его мощи. Их одежды просты. Все, что им нужно, это — грубое желтое одеяние и гирлянды полевых цветов. Ибо там, где безраздельно царит радость, ревностно гнаться за нею или одевать ее в излишнюю пышность — значит терять ее.

Вскоре после моего возвращения из Карвара, 24-го числа месяца огрохайон 1883 года, я женился. Мне тогда было двадцать два года.

«КАРТИНЫ И ПЕСНИ»

«Картины и песни» — таково было название сборника стихов, большая часть которых была написана в это время.

Мы жили тогда в доме с садом на Лоуэр Серкулер-роуд. С юга к ней прилегала широкая басти. Я часто сидел у окна и наблюдал зрелище этого густонаселенного квартала. Я любил смотреть, как работают его обитатели, как они играют и как отдыхают, как снуют взад и вперед. Все это было для меня как живая книга.

В то время мне присуще было какое-то особое богатство зрительной фантазии. Каждую отдельную картину я окружал светом моего воображения и радостью моего сердца; сверх того каждая из них была еще окрашена и своим особым пафосом. Наслаждение, испытывавшееся мною от такого выделения каждого зрительного образа, подобно было наслаждению живописца, ибо и то и другое рождено желанием созерцать духом то, что видит глаз, и глазом то, что создает дух. Будь я живописцем с кистью в руках, я, несомненно, пытался бы запечатлеть и увековечить видения и создания этого периода, когда дух мой был так чуток и отзывчив. Но я не мог пользоваться кистью; в моем распоряжении были только слова и размеры, к тому же я еще не научился делать уверенных мазков, и краска часто разливалась за намеченные ей пределы. Но, подобно детям, получившим первую коробку красок, я проводил целые дни, зарисовывая многоцветные образы моей новорожденной юности. Если рассматривать эти картинки в свете того времени и возраста, то все же кое-что

можно разобрать, несмотря на неуклюжие контуры и смазанные цвета.

Я сказал, что первая книга моей литературной жизни закончилась «Утренними песнями». Вторая книга начинается сборником «Картины и песни». Многие страницы в начале этой книги лишены ценности, в этом я уверен. Во всяком начинании неизбежны излишние действия. Если бы то были листья деревьев, они вовремя опали бы. На беду, книжные листы так легко не опадают, даже когда они уже отцвели. Характерной чертой этих стихов было пристальное внимание к мелочам. Стихи сборника «Картины и песни» выставляют их при всяком случае на первый план, расцвечивая неподдельностью сердечного чувства. Или, вернее, дело было не в том. Только когда струна духа настроена в унисон со вселенной, песнь мира в каждой точке своей способна вызвать ее сочувственное дрожание. Слыша эту песнь внутри себя, я ничего не находил тривиальным-вовне. Все, на что падал мой взор, вызывало мой отклик. Как дети, которые могут играть чем угодно: и песком, и камешками, и ракушками (ибо они проникнуты самым духом игры), так и мы, будучи исполнены духа юности, замечаем, что повсюду протянуты различно настроенные струны мировой вины и что ближайшая из них может аккомпанировать нам не хуже всякой другой, — и незачем искать чего-то вдалеке.

«БАЛОК»

В период времени между стихотворными сборниками «Картины и песни» и «Диезы и бемоли» началось и закончилось, как однолетнее растение, издание детского журнала «Балок» («Мальчик»).

Моя младшая невестка прониклась мыслью о необходимости издания иллюстрированного детского журнала. Она предполагала, что сотрудничать будет молодежь нашей семьи, но так как она чувствовала, что этого будет мало, она взяла на себя редакторские обязанности, а меня просила о сотрудничестве. После того, как вышло номера два журнала, я как-то отправился в Деогар навестить Раджнарайона-бабу. На обратном пути поезд был битком

набит, и так как единственная незатемненная лампа была как раз над моей головой, я не мог спать. Я решил воспользоваться случаем и сочинить рассказ для «Балока». Но, несмотря на мои усилия, сюжет все ускользал от меня; под конец я заснул. Я увидел во сне каменные стены храма, забрызганные кровью заколотых жертв; маленькая девочка стояла подле них с отцом и жалобным голосом спрашивала его: «Папа, что это? Откуда кровь?» А отец, внутренне тронутый, с напускной суровостью пытался отделаться от ее вопросов. Когда я проснулся, рассказ был готов. И так не раз во сне мне являлись мотивы рассказов и других произведений. Описанный же эпизод моего сна я разработал при помощи материала, заимствованного из анналов трипурского раджи Гобиндо Маникко, и получилась небольшая повесть под названием «Раджа-мудрец», напечатанная в ряде выпусков «Балока».

То были дни полной беспечности. Не было ничего определенного, что стремилось бы найти себе выражение в моей жизни или писаниях. Я еще не присоединился к толпе странников на дороге жизни, а оставался зрителем у придорожного окна. Много людей проходило мимо меня, спеша по своим делам, а время от времени то весна, то осень, то дожди, непрошенные, входили и оставались у меня до поры до времени. Но я имел дело не только с временами года. Многие люди, весьма разнообразные и странные, сновали вокруг, словно лодки, оторвавшиеся от причалов; иногда они случайно входили в мою комнату. Было среди них несколько неудачников, которые неустанно предлагали мне, пользуясь моей малоопытностью, необычайные планы. Обхитрить меня не стоило большого труда. Я тогда был еще малоискушен, непритязателен и не всегда умел отличать искренность от притворства. Я часто воображал, что оказываю поддержку учащимся, которым моя помощь была так же мало нужна, как и никогда не читанные книги. Однажды длиноволосый юноша принес мне письмо якобы от его сестры, в котором она просила взять под свое покровительство брата, страдавшего от тирании мачехи, столь же мнимой, как и она сама. Брат был, впрочем, не мнимый — это было достаточно ясно. Но письмо было столь же излишне, как не нужен искусный стрелок, чтобы подстрелить птицу, которая не может летать.

Другой юноша явился и рассказал мне, что готовится к экзамену на бакалавра искусств, но не может закончить подготовку из-за болезни мозга. Я не остался равнодушен к его горю, но, не будучи знатоком медицины или какой-нибудь другой науки, не знал, чем помочь ему. Но он, оказалось, видел во сне, что моя жена, в одно из предыдущих рождений, была его матерью и что он сразу выздоровеет, если только выпьет воды, к которой прикасалась ее нога. «Вы, быть может, не верите в подобные вещи», — закончил он с улыбкой. Я сказал, что дело не во мне и что, если он думает, что сможет выздороветь, я не прочь ему помочь, с этими словами я принес ему кубок с водой, которой якобы коснулась нога моей жены. По его словам, он сразу почувствовал себя неизмеримо лучше. В ходе естественной эволюции он от воды перешел к твердой пище. Затем он поселился в углу моей комнаты и часами курил вместе со своими знакомыми, пока мне не приходилось спасаться бегством из клубов табачного дыма. Затем уже окончательно выяснилось, что, какие бы у него ни были другие болезни, мозг его в полном порядке. После этого случая меня уже не так легко было заставить верить «детям из прежнего рождения». Моя репутация, очевидно, распространилась, ибо вскоре я получил письмо от «дочери», просившей меня о помощи в лечении. В этом случае я, однако, ответил твердым отказом: достаточно уже неприятностей имел я от своих «сыновей».

В течение всего этого времени росла и зрела моя дружба с Шришчондро Моджумдаром. Каждый вечер он и Прийо-бабу приходили в мою комнатку, и мы до поздней ночи говорили о литературе и музыке, пели и играли. Иногда и целый день проходил в таком занятии. Тогда мое «я» еще не отлилось в твердую и определенную личность, и жизнь моя плыла легко и беззаботно, как осеннее облако.

Б О Н К И М Ч О Н Д Р О

В это время началось мое знакомство с Бонкимом-бабу. Впервые я его видел еще гораздо раньше. Как-то бывшие студенты Калькуттского университета учредили годовичные празднества, вдохновителем которых был Чонд-

ронатх Бошу. Быть может, он лелеял надежду, что когда-нибудь и я окажусь в их числе; как бы то ни было, он попросил меня по этому случаю прочесть стихи. Чондронатх-бабу тогда был еще совсем молодым человеком. Я припоминаю, что он перевел какие-то воинственные немецкие стихи на английский язык и собирался в тот день их декламировать; он пришел к нам и прочел их с большим энтузиазмом. Из того, что ода поэта-воина к его любимому мечу могла тогда прийти по сердцу Чондронатху-бабу, читатель может убедиться, что и Чондронатх-бабу некогда был молод и, мало того, что времена были тогда необычайные.

Блуждая по комнатам в шуме празднества, я вдруг увидел фигуру, которая поразила меня своим отличием от всех других участников вечера и не могла бы остаться незамеченной ни в какой толпе. Черты этого высокого, красивого человека сияли таким поразительным светом, что я не мог сдержать своего любопытства, — он был единственным из гостей, чье имя мне захотелось узнать. Когда я услышал, что это Бонким-бабу, я был еще более изумлен — настолько чудесным показалось мне совпадение его исключительной внешности с исключительным писательским дарованием. Его острый орлиный нос, плотно сжатые губы и проницательный взгляд — все говорило о громадной внутренней силе. Скрестив руки на груди, он, казалось, отделил себя от окружающих, словно недостижимый для всех, — вот что более всего поразило меня. Он казался не только гигантом духа — на лбу его как бы лежала печать царского рода.

В моей памяти неизгладимо запечатлелся случай, происшедший на этом собрании. В одной из комнат некий пандит декламировал сочиненные им патриотические санскритские стихи и по-бенгальски объяснял их своим слушателям. Бонким-бабу вошел в комнату и встал недалеко от дверей. Один из намеков пандита был не то чтобы прямо непристойен, но несколько вульгарен. Когда он только собирался приступить к его объяснению, Бонким-бабу, закрыв лицо руками, стремительно вышел из комнаты. Я стоял около двери и доныне вижу перед собою, как он, съежась, почти пробежал мимо меня.

После этого мне часто хотелось повидать его, но не представлялось удобного случая. Наконец однажды я отважился навестить его, — он в то время был выборным членом магистрата в Ховре. Он принял меня, и я пустил в ход все, что мог, для ведения беседы. Возвращаясь домой, я чувствовал себя крайне пристыженным тем, что бесцеремонно и грубо вторгся к нему, не будучи им приглашен, ни даже знаком с ним.

Несколько лет спустя я стал известен в качестве самого молодого писателя того времени, но что до оценки моей деятельности, то она тогда отнюдь не была еще установлена. Завоеванная мною известность смешана была с множеством сомнений и даже с немалой долей снисходительности. В то время в Бенгалии принято было приклеивать каждому писателю имя какого-либо западного писателя, которому он был якобы конгениален. Так один слыл бенгальским Байроном, другой Эмерсоном и т. д. Меня некоторые стали называть бенгальским Шелли. Это было унижительно для имени Шелли и могло только вызывать смех по моему адресу. Моей признанной литературной кличкой было «Лепечущий порт». Мастерства у меня было мало, мое знание жизни — скудно, и как в моей поэзии, так и в прозе чувствительность была несоразмерна действительному содержанию. Не было никаких серьезных оснований в моей деятельности для оценки ее в положительном смысле. Моя одежда и мое поведение так же, мягко говоря, были необычны. Я носил длинные волосы, и манеры мои отличались, вероятно, сверхпоэтической утонченностью. Словом, я был эксцентричен и не умел войти в колею повседневной жизни, как обычные люди.

В это время Оккхой Шоркар стал издавать ежемесячник «Нободжибон» («Новая Жизнь»), в котором я иногда печатался.

Бонкимчондро в это время как раз перестал редактировать «Бонгодоршон» («Зерцало Бенгалии») и стал писать на религиозные темы, для чего им основан был ежемесячник «Прочар» («Проповедник»). В нем я также поместил несколько песен и многословное похвальное рассуждение о вишнунитской лирике.

С тех пор я стал регулярно встречаться с Бонкимом-бабу. Он тогда жил на улице Бхобаничорона Дотто. Я его

часто навещал; но нельзя сказать, чтоб мы много говорили. В моем возрасте впору было слушать, а не говорить. Мне страстно хотелось, чтобы у нас как-нибудь вышла серьезная беседа, но моя робость всегда брала верх. Иногда я заставлял у него Шонджиба-бабу, сидевшего, опираясь на подушку. Я всегда рад был его видеть: он был чрезвычайно общительный человек. Он очень любил говорить, и приятно было его послушать. Те, кто читал его прозу, знают, как весело и воздушно она течет, подобно самой оживленной беседе. Мало людей обладают таким даром вести беседу, и уж совсем немногие умеют пользоваться им для литературных целей.

В это время в Калькутте получил известность пандит Шошодхор Торко Чурамони. О нем я впервые услышал от Бонкима-бабу. Если я не ошибаюсь, не кто иной, как сам Бонким-бабу положил начало его известности. Курьезные попытки индийской ортодоксии оживить свой престиж с помощью западной науки вскоре стали находить отзвук по всей стране. Теософия за некоторое время до того уже подготовила почву для подобного движения.

Бонким-бабу, впрочем, никогда не примыкал к нему вполне. В его изложении индуизма в журнале «Прочар» нельзя найти никаких следов направления, возглавлявшегося Шошодхором, — это было бы невысказано.

Я тогда впервые начал выходить из своего уединенного уголка, свидетельство чему — мое участие в тогдашней литературной полемике по этим вопросам. Я публиковал сатирические стихи, комедии, письма в журнале «Шонджибони». Так я, с высот моего замкнутого мира эмоций, спустился на арену и вступил в борьбу уже не на шутку.

В горячке дискуссии я неожиданно столкнулся с Бонкимом-бабу. История этого столкновения запечатлена на страницах «Бхароти» и «Прочара»; не стоит пересказывать ее здесь. В заключение наших споров Бонким-бабу написал мне письмо, которое я, к сожалению, потерял. Если бы я мог привести его здесь, читатель увидел бы, с каким неподражаемым благородством Бонким-бабу извлек из этого эпизода его ядовитое жало.

О С Т О В П А Р О Х О Д А

Привлеченный газетным объявлением, мой брат Джоти однажды в полдень отправился на аукцион и по возвращении уведомил нас, что купил стальной остов судна за семь тысяч рупий. Остается только поставить машину и перегородки — и пароход будет в полной исправности.

Мой брат, должно быть, считал большим позором для соотечественников, что у них в полном ходу языки и перья, но нет ни одной пароходной линии. Я уже рассказывал о том, как он пытался изготовлять отечественные спички, не зажигавшиеся, впрочем, сколько бы ими ни чиркали. Он пытался далее пустить в ход ткацкий станок, но после всех его усилий на станке было изготовлено лишь одно небольшое деревенское полотенце, и на том работа его остановилась. Теперь ему хотелось видеть, как взрезают воду индийские пароходы, и он купил пустой старый остов судна, который через некоторое время наполнился машинами и перегородками. Поступок этот чреват был опасностью полного разорения.

Однако мы не должны забывать, что все утраты и огорчения, связанные с его опытами, ложились на него одного, тогда как польза от этого эксперимента была для всей страны. Именно такие нерасчетливые, бескорыстные пионеры часто затопляют страну приливом своей бесплодной активности. И хотя прилив так же быстро спадает, как и приходит, он оставляет после себя плодоносный ил, обогащающий почву. Когда приходит время сбора урожая, никто уже не вспоминает об этих пионерах; но те, кто при жизни с радостной готовностью поставил на карту и потерял все, что имел, без труда вынесут после смерти еще и эту последнюю неудачу.

На одной стороне была европейская судоходная компания; на другой — мой брат Джоти; до какого ожесточения дошла борьба между двумя торговыми флотилиями, должно быть, еще не забыли обитатели Кхульны и Барисала. В азарте соревнования один пароход появлялся за другим, убыток следовал за убытком, а доходы все таяли, пока их уже не стало хватать для печатания биле-

тов. То был настоящий золотой век для пароходного сообщения между Кхульной и Барисалом. Пассажиры не только перевозились безвозмездно, но им еще подавалось легкое угощение — тоже бесплатно! Затем в Барисале сформирована была дружина добровольцев, которые с флагами и патриотическими песнями в торжественной процессии эскортировали пассажиров к индийским пароходам. Наплыв пассажиров не иссякал, но зато все другое иссякало с возрастающей быстротой.

Арифметика не поддавалась влиянию патриотических восторгов; и меж тем как под напевы патриотических песен все выше взвивалось пламя энтузиазма, в расчетных книгах, в графе убытков, трижды три каждый раз неизменно давало девять.

Одна из бед, вечно сопутствующих подобным неделовым людям, состоит в том, что они понятны для других, как раскрытая книга, сами же никак не могут научиться понимать чужой характер. А так как для осознания подобного недостатка они должны затратить всю свою жизнь и все свои средства, им так и не удастся извлечь пользу из жизненного опыта. Пассажиры пользовались бесплатным угощением, пароходная команда также не обнаруживала признаков голодания; главный же выигрыш, в виде полного разорения, пришелся на долю моего брата, встретившего его с мужественным спокойствием.

Ежедневные военные репортажи, поступавшие с поля сражения, держали нас в вечном возбуждении. Затем однажды пришло известие, что пароход брата «Свадеш» застрял на ховрский мост и затонул. Средства моего брата были окончательно исчерпаны, и ему ничего не оставалось, как ликвидировать свое предприятие.

У Т Р А Т Ы

Тем временем семью нашу иногда навещала смерть. Но я до тех пор никогда не встречался со смертью лицом к лицу. Когда умерла моя мать, я был еще совсем ребенком. Она хворала очень долго, и мы даже не заметили, как ее болезнь приняла роковой оборот. Она обыкновенно спала на отдельной кровати в той же комнате, что и

мы. Затем, во время ее болезни, она раз совершила прогулку по Ганге, а по возвращении ей отвели комнату на третьем этаже. В ту ночь, когда она умерла, мы крепко спали в нашей комнате внизу. Не знаю, в котором часу, наша старая няня прибежала, плача и крича: «Ах, мои малышки, вы потеряли свое сокровище!» Моя невестка сделала ей выговор и увела ее из комнаты, чтобы избавить нас от такого потрясения ночью. Я на мгновение проснулся при тусклом свете ночника и почувствовал, как у меня упало сердце, но не мог понять, что случилось. Когда нам утром рассказали об ее смерти, я никак не мог уяснить себе всего того, что это для меня значило. Выйдя на веранду, мы увидали, что мать, красиво одетая, лежит на кровати, выставленной во двор. В ее наружности не было ничего, что говорило бы об ужасе смерти. В свете утреннего солнца смерть в тот день была прекрасна, как тихий, мирный сон, и пропасть между жизнью и ее отсутствием не открывалась нашему сознанию. Лишь когда ее тело вынесено было через главные ворота и мы процессией последовали за ним к месту сожжения, меня вдруг охватила жгучая скорбь при мысли о том, что мать уже никогда не вернется через эти ворота и не займет вновь своего обычного места в укладе домашней жизни. После совершения кремации, уже на склоне дня, мы вернулись домой. Когда мы подошли к нашему жилищу, я взглянул вверх, на третий этаж, где жил отец. Он все еще сидел на передней веранде, погруженный в молитву.

Самая молодая из невесток нашего дома взяла на себя попечение об осиротевших детях. Она самолично заботилась о нашей пище, одежде и всех других надобностях и непрерывно была с нами, чтобы мы не столь сильно чувствовали потерю. Одно из основных свойств жизни — это способность исцелять непоправимое, забывать незаменимое. В детстве эта способность сильнее всего, и никакой удар не проникает слишком глубоко, никакая рана не остается надолго открытой. Так первая тень смерти, упавшая на нас, не оставила мрака за собою; однажды она беззвучно исчезла: то была ведь лишь тень.

Когда спустя годы я, как безумец, при первом появлении весны блуждал по лесам и лугам, с пригоршней

полурасцветших цветков жасмина, перевязанных краем муслинового чадора, и проводил их нежными шелковистыми почками по лбу, я вновь каждый раз ощущал как бы прикосновение пальцев матери и ясно чувствовал, что нежность, обитавшая на кончиках ее милых пальцев, была совершенно такою же, как та, что расцветает ежедневно в этих свежих почках жасмина, и что, знаем ли мы о том или нет, эта нежность неистощимым избытком разлита по земле.

Знакомство мое со смертью в возрасте двадцати четырех лет стало уже достаточно близким. Ее удары приносили мне все новые и новые утраты, и с каждым разом слезы лились все обильнее и обильнее. Детская беспечность может с легкостью преодолеть любое несчастье, но с годами это становится труднее; мне пришлось в тот день принять удар всею грудью.

До тех пор я совершенно не подозревал о том, что имеются разрывы в плотно сплетенной ткани радостей и печалей жизни. Поэтому я не видел ничего вне жизни, и жизнь исчерпывала для меня все. Когда же вдруг пришла смерть и мгновенно прорвала зияющее отверстие в ее обманчиво-непрерывной ткани, я почувствовал себя совершенно растерянным. Всё вокруг: деревья, вода, земля, солнце, луна, звезды — оставалось столь же непоколебимо-истинным, как и раньше, а человеческая личность, так же подлинно существовавшая, как и они, но бывшая для меня, в силу бесчисленных соприкосновений с моей жизнью, сердцем и умом, еще бесконечно реальнее их, исчезла во мгновение ока, как сон. Как все это мне казалось невыносимо противоречивым, когда я оглядывался вокруг! Как мог я примирить то, что оставалось, с тем, что исчезло?

Бездонный мрак, глянувший мне тогда в очи из этого зияющего отверстия, продолжал притягивать меня к себе днем и ночью, по мере того как шло время. Я опять и опять возвращался и вглядывался в него, стараясь понять, что же осталось вместо того, что исчезло. Человек не может заставить себя поверить в пустоту: то, чего нет, ложно; а что ложно, того и нет. Так мы вечно силимся найти что-либо там, где не видим ничего. Как юное расте-

ние, окутанное мглой, тянется, точно стоя на цыпочках, чтобы найти путь к свету, так, когда смерть внезапно окутывает душу мраком «нет», она неустанно тянется к свету «да». Какая иная тоска сравнима с этой, когда мрак не дает найти выход из мрака?

И все же посреди невыносимого страдания вспышки радости все вновь и вновь внезапно озаряли мою душу, поражая меня своею неожиданностью. Сама горестная весть о том, что жизнь не есть нечто навеки устойчивое и постоянное, облегчала состояние моего духа. Мысль о том, что мы не навсегда заключены в каменные ограды жизни, бессознательно вызывала во мне наплыв безотчетной радости. Я вынужден был отдать то, что было моим: вот в чем заключается смысл терзавшей меня утраты; но когда я размышлял о свободе, постигнутой мною через это событие, глубокий мир нисходил на меня.

Всепроницающее давление земной жизни только потому не сплющивает нас, что оно удерживается в равновесии смертью, противостоящею жизни. Человеку не приходится выносить самодержавной тирании жизни, — эта истина озарила меня внезапным откровением.

После того как мир несколько утратил свою привлекательность в моих глазах, красота природы приняла для меня более глубокий смысл. Я чувствовал каждое колебание ветвей и легкое дуновение свежести под сводом ослепительно голубого неба, ласкавшего мои глаза, омытые слезами. Смерть открыла мне правильную перспективу, в которой надлежит созерцать мир во всей полноте его красоты, и когда я увидел образ вселенной на фоне смерти — он показался мне ослепительно прекрасным.

В это время я был снова одержим какой-то особой эксцентричностью в образе мыслей и поведении. Мне казалось смешным, когда от меня требовали подчинения обычаям и моде дня, как если бы они были чем-то бесспорно и подлинно реальным. Я не мог принимать их всерьез. Я совершенно избавился от тягостных раздумий о том, что скажут обо мне другие. Я посещал фешенебельные книжные магазины в грубом чадоре, в дхоти и в паре сандалий на босу ногу. Питался я тоже крайне неприязнательно. В жару, в холод и в сырость я спал неизменно снаружи, на веранде третьего этажа. Там я мог

обмениваться приветствием со звездами и встречать первый луч зари.

Все это отнюдь не имело характера аскетических упражнений. Я был скорее в праздничном состоянии, — ведь я открыл, что наставник Жизнь с его дубинкой на самом деле не существует, и чувствовал себя свободным от педантических правил его школы. Если бы мы, проснувшись однажды утром, заметили, что сила тяжести уменьшилась в несколько раз, — неужели мы по-прежнему чинно шествовали бы по улицам? Разве не предпочли бы мы для разнообразия, например, перескочить через многоэтажный дом на Гаррисон-роуд или, наткнувшись при прогулке по Майдану на памятник, перелететь через него единым прыжком, вместо того чтобы обходить его кругом? Вот почему, когда тяжесть земной жизни более не сковывала моих движений, я не мог уже двигаться по путям условностей.

Один на террасе, во мраке ночи, бродил я вокруг ощупью, пытаюсь отыскать надпись или знак на чернокаменных воротах смерти. Будил меня утренний свет, падавший на мое ничем не заслоненное ложе; открыв глаза, я замечал, что мгла вокруг меня рассеялась; и как из-под редящего тумана вновь выступают в прежнем сиянии холмы, реки и леса, так омытая росой картина распростертого передо мною мира казалась освеженной и по-новому прекрасной.

ДОЖДЛИВЫЙ СЕЗОН И ОСЕНЬ

Согласно индийскому календарю, каждый год управляется особой планетой. Я узнал об этом из диалога Шивы и Дурги. Я заметил, что в каждый период жизни приобретает особое значение какое-либо одно из времен года. Когда я думаю о своем детстве, в памяти всплывает прежде всего дождливый сезон. Подхлестываемый ветром дождь затопил пол веранды. Все двери, ведущие с веранды в комнаты, плотно закрыты. Старая Пери возвращается с рынка, неся корзину, полную овощей и плодов, с трудом пробираясь через лужи, вся вымокшая от дождя. Я же бегаю вприпрыжку взад и вперед по веранде,

охваченный беспричинной радостью. И еще я вспоминаю: я в школе; занятия происходят на веранде, где завешаны циновками промежутки между столбами. После полудня стали одна за другою собираться тучи, теперь они густо заволокли все небо; и вдруг мы видим, что дождь полился частыми толстыми струями; время от времени громко и подолгу гремит гром; кажется, будто какая-то безумная женщина ногтями молний раздирает небо от края до края; наша стена из циновок трепещет, как паруса, вздуваемые ветром; мрак почти не позволяет читать, пандит приостанавливает занятия. Тогда мы болтаем ногами, а буря шумит и бушует за нас. Дух же мой уносится далеко и блуждает по бесконечной топи, которую пересекает принц в сказке. Припоминаю я и глухую полночь в срабоне. Шум дождя, просачиваясь сквозь расщелины дремы, рождает в душе отрадный покой, что глубже самого крепкого сна. Просыпаясь изредка на мгновение, я молюсь о том, чтобы дождь продолжался и завтра, чтобы наша улица по-прежнему была покрыта водой и спуск к пруду оставался затопленным до самой верхней ступеньки.

Но в том возрасте, о котором я только что говорил, неоспоримо царствует осень. Она видится мне сквозь сень ясного, прозрачного досуга ашшина. И в расплавленном золоте осеннего солнца, нежно отражаемого свежей росистой зеленью, раскинувшейся вокруг, я хожу взад и вперед по веранде и сочиняю песни в ладе джогия:

В этом утреннем свете осеннего дня
Улетают желания прочь от меня.

Осенний день движется своим чередом; домашний гонг бьет двенадцать часов, музыка вытесняет из моей души призыв к работе и долгу, и я пою:

Ты поведай, о сердце, мне, правду открой —
Долго ль будешь ты тешиться праздной игрой?

Во вторую половину дня я лежу на коврике, расстеленном на полу в моей комнатке, и держу в руках альбом для рисования: не приступаю к трудному подвигу живописания, а лишь играю со своим желанием рисовать. Са-

мое важное — то, что остается ненарисованным. А между тем чистое сияние осеннего дня проникает в эту калькутскую комнатку, наполняя ее, как бокал, золотым опьянением.

Не знаю почему, но все мои дни в этот период жизни я вижу как бы сквозь то осеннее небо, тот осенний свет — свет осени, когда созрели, подобно зернам на поле, мои песни; осени, наполнившей сиянием житницы моего досуга; осени, пронизавшей мой дух радостью поэтического творчества.

Великое различие между дождями моего детства и осенью моей юности вижу я в том, что на заре жизни я был тесно объят внешней природой, которая приковывала мое внимание множеством своих лицедеев, разнообразием своих постановок, многоголосицею своей музыки, тогда как торжество, которое справляется в сияющем свете осени, творится в самом человеке. Игра облаков и солнечного света отступает на задний план, и ропот горя и радости заполняет душу. Ведь наш взор есть то, что придает лазури осеннего неба ее задумчивость, и в ее вздохах звучит человеческая тоска.

Мои песни добрили ныне до обители людей. Здесь уже нельзя входить, не спросившись. Одна дверь за другою, одна комната после другой. Как часто приходится нам возвращаться, поймав лишь отблеск света в окне, лишь отзвук флейт дворца, тоскливо звенящий в ушах! Дух сговорится с духом, воля с волей, но обмен дарами станет возможным лишь по преодолении многочисленных мучительных препятствий. Родник жизни, разбиваясь об эти преграды, брызжет и пенится смехом и слезами и пляшет и кружится в водоворотах — кто проследит его бег!

«Диезы и бемоли» — это серенада, исполняемая на улице перед жилищем человека, просьба о впуске и о месте в этой обители тайн.

В этом солнечном мире я не хочу умирать.
Вечно жить бы хотел в этом цветущем лесу...

Такова молитва, обращаемая индивидуальной жизнью к жизни универсальной.

АШУТОШ ЧОУДХУРИ

В начале моего второго путешествия в Англию я познакомился на пароходе с Ашутошем Чоудхури. Он тогда только что получил степень магистра искусств Калькуттского университета и направлялся в Англию, чтобы заняться юриспруденцией в Кэмбридже. Мы провели вместе лишь несколько дней — по пути от Калькутты до Мадраса, — но убедились, что прочность дружбы не зависит от продолжительности знакомства. За короткое время он так привлек меня своей простосердечностью, что весь предыдущий пробел в нашем знакомстве словно оказался заполненным нашим общением за эти дни.

Когда Ашу вернулся из Англии, он породнился с нами, женившись на моей племяннице. Ему к тому времени еще не удалось преодолеть все препятствия, преграждающие доступ к избранной им профессии, и потому он не был всецело поглощен ею. Съездившиеся кошельки его клиентов тогда еще не распустились золотыми цветами, и Ашу оставался ревностным собирателем меда в садах поэзии. Наполнявший его тогда поэтический дух ничуть не напоминал о пыльных сафьяновых переплетах архивов, а благоухал ароматом неведомой заморской экзотики. Мы не раз, по его приглашению, устраивали веселые пикники в этих удаленных полесьях.

Он питал особое пристрастие к аромату французской литературы. Я тогда писал стихи, изданные потом под заглавием «Диезы и бемоли». Ашу находил сходство между многими из моих стихов и старыми французскими стихотворениями, которые он знал. По его мнению, общим свойством всех этих стихотворений было то, что поэта влечет к себе пестрая игра человеческой жизни вокруг него; во всех них основной мотив — невыполненное желание войти в этот широкий мир.

«Я размещу твои стихи в надлежащем порядке и издам их для тебя», — сказал Ашу, — и дело поручено было ему. Сонет, начинавшийся словами «В этом солнечном мире я не хочу умирать», он считал ключом ко всему сборнику и потому поместил на первом месте.

Очень возможно, что Ашу был прав. Когда в детстве мои движения ограничены были пределами дома, я отдавал мое сердце внешней природе во всем ее многообразии и с тоскою наблюдал за нею сквозь отверстия в ограждении нашей верхней террасы. В молодости меня с тою же силой привлекал к себе человеческий мир. На него я тоже смотрел тогда извне, с обочины дороги. Стоя на берегу и тоскливо протягивая руки, дух мой как бы взывал к лодочнику, с поднятым парусом пересекавшему реку. Ибо жизнь моя жаждала найти свой путь.

«ДИЕЗЫ И БЕМОЛИ»

Причина, мешавшая мне погрузиться в пучины жизни, заключалась отнюдь не в моем изолированном общественном положении. Я не вижу, чтобы те из моих соотечественников, которые все время проводили в гуще общестственности, действительно вступили с жизнью в более живое и тесное соприкосновение, чем я. Жизнь нашей страны имеет свои высокие берега, свои лестницы; на ее темные воды падает прохладная густая тень древних деревьев, а из лиственной кущи над головой кукушка шлет, как и встарь, свои волшебные песни. Но при всем том — это стоячая вода. Где ее течение, где ее волны, где шум морского прибоя? Доносился ли ко мне тогда из соседних домов по ту сторону нашей улицы отголосок победного гимна, с которым река, падая и вздымаясь, волна за волною, пробивает себе через каменные преграды дорогу к морю? Нет, ни звука! Жизнь моя, в своем уединении, изнывала, тщетно ожидая приглашения туда, где свершается празднество мировой жизни.

Глубокое уныние одолевает дух, дремлющий в сладострастной праздности уединения, ибо он лишен полного общения с жизнью. От этого состояния я всегда мечтал освободиться. Мой дух отказывался поддаться охватившему высшие круги общества дешевому опьянению политических движений тех дней, с их клубами и газетами, движений, лишенных силы национального самосознания, совершенно не знавших своей родины и равнодушных к ее подлинным нуждам. Меня терзало яростное нетерпение,

невыносимая неудовлетворенность самим собою и всем, что вокруг меня. «Лучше родиться бы мне скитальцем степным — бедуином», — говорила моя душа.

Богиня Дурга — гостя наша.
Наполнилась весельем чаша.
Но посреди великолепья
Я вижу нищего отрепья.

В других частях света совершается пышное и вольное торжество жизни, там звучат флейты и нет конца шуму и движению. А мы, как нищие, стоим во дворе и с вожделением глядим в ту сторону. Нам не во что облачиться, как подобает случаю, и мы не смеем войти. Только в стране, где господствует дух разъединенности и бесчисленные мелкие преграды разделяют людей, этому мучительному стремлению воплотить в своей жизни широту жизни мировой суждено остаться неудовлетворенным. Я стремился в своей молодости к великому миру человеческого сердца так же страстно, как в детстве тянулся к вольным играм природы, стараясь вырваться из мелового круга, обведенного вокруг меня слугами. Каким драгоценным, каким недостижимым, каким далеким казался этот мир! И все же, если мы не в силах вступить в соприкосновение с ним, если прегражден путь его дыханию, его струям, если путники не снуют свободно туда и обратно, — тогда мертвые вещи, что скопляются вокруг нас, становятся навеки неустрашимыми, нагромождаются все более и душат всякую жизнь.

Во время дождливого сезона нет ничего в природе, кроме темных туч и ливней. Осенью в небе также играют свет и тени, но они не закрывают неба — и в полях зреет урожай. Так и в мире моей поэзии: когда было время дождей, клубились только пары моей фантазии, изливавшиеся в грозах и ливнях; мой способ выражения был туманен, мои стихи дики. Но в «Диезах и бемолях» моей осени не только играют свет и тени, но виднеются и поднимающиеся из земли всходы. В общении с миром реальности как язык, так и ритм моих стихов приобрели определенность и разнообразие.

Так кончается вторая книга. Настают для меня дни единения внутреннего и внешнего, своего и чужого. Путь

моей жизни должен пройти через обители людей. И добро и зло, радость и горе, которые предстоят, уже не будут созерцаться ею, как картины, издали. Сколько впереди неудач, побед и поражений, столкновений и слияний.

Я не в силах передать высокое искусство, с которым Вождь моей жизни радостно ведет меня через все преграды, противоречия и извивы на ее пути — к раскрытию ее сокровенного смысла. И если я не могу разъяснить тайну этого замысла, то все иное, что я могу попытаться сказать, будет лишь сбивать с дороги. Всякое стремление растолковать картину покажет ее тленность, но не приблизит нас к радости художника.

Так, проводив тебя до дверей внутреннего святилища, здесь прощаюсь с тобою, читатель!



БЕНГАЛИЯ

1913



Перевод с английского
А. Саховалера



*Бандора, у моря,
октябрь 1885 г.*

Бесприютное море вздымает ввысь белые, пенящиеся волны. Оно — словно чудовище, силящееся разорвать свои путы. Перед его разверстой пастью, на берегу, мы строим дома и наблюдаем, как чудовище в бешенстве хлещет хвостом. Какая в нем исполинская сила! Волны вздуваются, будто мышцы великана!

С самого дня творения вода враждовала с сушей: земля медленно и молчаливо округляла свои владения, разбрасывая все более широкие просторы для детей своих, а океан отступал шаг за шагом, вздымая волны, рыдая и в отчаянии бия себя в грудь. Ведь некогда океан был самодержавным властелином, с неограниченной свободой действий. Суша возникла в его лоне, захватила его трон, и с тех пор разгневанный старец с гривой белой пены непрерывно стонет и рыдает, подобно королю Лиру, на которого обрушилась ярость стихий.

Июль 1887 г.

Мне пошел двадцать седьмой год. Это событие завладело моими мыслями, будто ничего больше не произошло за последнее время.

Разве это такой уж пустяк — достичь двадцатилетнего возраста? Пройти зенит третьего десятка на пути к четвертому? Тридцать лет — это зрелость, тот возраст, когда от человека ждут уже не молодых побегов, а плодов. Но, увы, плодов нет и в помине! Голова моя полна

до краев сладостным легкомыслием, в ней нет и следа философских раздумий.

Уже слышится ропот: «В надежде на плоды мы восхищались нежной зеленью побегов. Где же они, эти долгожданные плоды? Неужели нам суждено примириться с вечной незрелостью? Настало время испытать твои способности; узнать, сколько масла может из тебя выжать своим прессом неллицеприятный критик».

Нельзя больше обманывать людей, поддерживая в них тщетную надежду. Пока я не достиг зрелости, они верили мне; жаль, что придется их разочаровать на пороге тридцатилетия. Но что поделаешь? Мудрость не снисходит на меня! Я совершенно не способен создавать вещи, полезные для людей. Жалкие обрывки песен, пустая болтовня, шуточки — это все, на что я способен. Естественно, что обманутые в своих надеждах люди вправе обрушить на меня свой гнев. Но разве кто-нибудь давал им надежду?

Все эти мысли не покидают меня с того самого прекрасного утра в месяце бойшакх, когда легкое дуновение ветерка, яркий солнечный свет, шелест новой листвы и аромат цветов разбудили меня, чтобы сообщить, что я уже вступил в двадцать седьмой год своей жизни.

Шилейда, 1888.

Наш плавучий дом причалил к песчаной отмели на том берегу реки. Вокруг — бескрайнее море песка. По нему бегут сверкающие дорожки; думаешь, вода, но оказывается, это все тот же песок.

Ни селения, ни человеческого существа, ни дерева, ни травинки; единственно, что разнообразит эту монотонную белизну, — зияющие трещины, обнажающие слой влажной черной глины.

На востоке, куда ни глянешь — бесконечные просторы: вверху — голубые, внизу — белые. В небе — пусто, и на земле — пусто. Пустота под ногами твердая и бесплодная, пустота над головой изогнута невесомым сводом, — вряд ли где-либо еще можно ощутить такую ужасающую заброшенность.

На западе видна река, неподвижная, окаймленная высоким берегом, к которому тянутся деревенские рощи с проглядывающими меж деревьев домиками, — эта картина, окутанная вечерней дымкой, кажется волшебным сном. Я говорю «вечерней», потому что по вечерам мы выходим на берег и то, что я видел, произвело на меня неизгладимое впечатление.

Шазадпур, 1890.

Судья сидел возле своего шатра и вершил правосудие; в тени большого дерева толпились люди, ожидая, пока настанет их черед. Мой паланкин опустили на землю перед самым его носом. Молодой англичанин принял меня весьма любезно. Светлые пряди волос перемежались у него кое-где с более темными, усы только еще начинали пробиваться. И если бы не очень юное лицо, судью можно было бы принять за седовласого старика. Я пригласил его на обед, но он отказался, сославшись на то, что его ждут в другом месте, где будет устроена охота на кабана.

Не успел я вернуться домой, как надвинулись черные тучи и разразилась страшная гроза. Не хотелось ни читать, ни писать. В каком-то странном состоянии духа я бесприютно бродил из комнаты в комнату.

Стемнело. Раскаты грома и вспышки молний не прекращались. Ветер то и дело налетал на высокое дерево личи и раскачивал его косматую верхушку. Небольшая ложбина перед домом вскоре наполнилась водой, и вдруг я подумал о том, что надо бы предложить судье убежище в моем доме.

Но когда я уже послал за ним, то обнаружил, что единственная свободная комната в доме загромождена досками, подвешенными к потолку, завалена старыми грязными одеялами и подушками. По полу разбросаны пожитки прислуги: замызганная циновка, хукки, табак, трут, кроме того, здесь стояли два деревянных сундука и ящики со всяким хламом, как, например, ржавая крышка от котла, железная печка без дна, облезлый никелированный чайник, тарелка с патокой, почерневшей от пыли. В углу — лохань для мытья посуды, на гвоздях,

вбитых в стены, — мокрые тряпки, фартук и колпак повара. Мебели не было никакой, если не считать шаткий туалетный столик со множеством черных, коричневых и белых подтеков от воды, масла, молока и еще неизвестно чего. Зеркало со столика было снято и стояло у другой стены, а в его ящики затолкали всякую всячину, начиная с грязных салфеток и кончая проволокой для бутылок.

На какой-то миг меня охватило отчаяние. Но я тут же взялся за дело: велел послать за управляющим и кладовщиком, созвать всю прислугу, кого только можно, принести воды, поставить стремянки, отвязать веревки, спустить вниз доски, унести постели, собрать битое стекло, вытащить гвозди из стен. Упал и разбился канделябр. И снова возня — надо собирать осколки. Я собственноручно сорвал грязную циновку с пола и выбросил ее в окно, лишив крова целую орду тараканов, моих сотрапезников, которые пожирали мой хлеб, патоку и даже ваксу на моих ботинках.

Пришли с ответом от судьи: его шатер в отчаянном состоянии и он не заставит себя ждать. Скорей! Скорей! И вот уже раздается крик: «Сахиб прибыл». В полном смятении смахиваю я пыль с волос, с бороды, отряхиваю костюм и по дороге в гостиную стараюсь принять respectable вид, как будто я весь день только и делал, что отдыхал.

Пока я жму руку судье и спокойно с ним разговариваю, меня не покидают опасения относительно предоставленной ему комнаты. Когда же наконец я отвел в нее своего гостя, то нашел ее подходящей; если бездомные тараканы не будут щекотать ему пятки, он, пожалуй, спокойно проведет ночь.

Калиграм, 1891.

Я полон безразличия, спокойствия и восхитительной безответственности.

Такое настроение царит здесь повсюду. Даже река неподвижна. Уютно устроившись под покрывалом водорослей, она как будто думает: «Стоит ли стремиться куда-то, если можно и так просуществовать?» И камыш на ее бе-

регах никто не тревожит, пока не придут рыбаки со своими сетями.

Несколько баркасов причалили к берегу и встали рядышком. В одном из них, на верхней палубе, кто-то спит, укутавшись в полотнище. На другом, пригревшись на солнце, лодочник лениво плетет веревку. На третьей, опираясь на весло, стоит полуголый, старообразного вида человек и смотрит на нашу лодку.

Какие-то люди празднично бродят по берегу или сидят, скрестив ноги, обхватив руками колени, устремив вдаль невидящий взор. Смотришь на них и думаешь: зачем они там?

Только утки не знают ни минуты покоя. Громко крикая, они то и дело суют голову в воду, видимо, желая проникнуть в тайны глубин, а затем энергично отряхиваются, как бы сообщая: «Ничего там нет! Ничего нет!»

Сутки здесь дремлют все двадцать четыре часа: двенадцать часов нежась на солнце, остальные двенадцать, укутавшись в покрывало тьмы.

Одно-единственное желание овладевает вами в таком месте — это смотреть и смотреть вокруг, уносясь вдаль в своем воображении, то напевая вполголоса, то сонно кивая головой. Так мать, греясь на солнце в холодá, баюкает свое дитя песенкой.

Калиграм, 1891.

Вчера, когда я беседовал со своими арендаторами, вдруг появилось несколько мальчишек. Они выстроились передо мной в ряд, и не успел я слова вымолвить, как один из них выступил вперед и заговорил весьма изысканно и высокопарно: «Отец наш! По милости всемогущего, на счастье ваших погрязших во мраке невежества детей ваша светлость вновь благополучно прибыли в эти края». Он говорил так целых полчаса. Иногда запинаясь, видимо, не очень хорошо выучил свой урок, закатывал глаза, но затем поправлялся и продолжал. Из его речи я уловил, что в школе у них не хватает скамей и стульев. «Из-за недостатка этих изготовленных из дерева сидений нам негде сидеть, мы не знаем, куда усадить наших

почитаемых учителей и даже высокочтимого инспектора, когда он нас посещает».

Я едва сдержал улыбку при этом потоке красноречия, изливавшемся из уст малыша. Особенно странно было слушать его здесь, где земледельцы выражают свои самые насущные нужды простым и ясным местным говором, в котором необычные слова приобретают печально искаженную форму. На служащих и крестьян, однако, эта речь произвела, казалось, впечатление, они даже несколько позавидовали мальчику, сожалея о том, что родители не удосужились наделить их столь великолепным даром общения с заминдаром.

Я прервал юного оратора, пообещав послать скамьи и стулья. Нисколько не смутившись, он разрешил мне высказаться, а затем снова заговорил, с того самого места, на котором его прервали. Закончив, он низко мне поклонился и увел свою маленькую делегацию. Откажи я в его просьбе, он, пожалуй, ничуть бы не огорчился, но не дать ему закончить речь, стоившую таких трудов, было бы жестоко. Вот почему я выслушал его до конца, несмотря на свою занятость в тот день.

*Вблизи Шазадпура,
январь 1891 г.*

Мы оставили позади речушку Калиграм с ее медленным, словно кровообращение умирающего, течением, и поплыли вниз по быстрому потоку, туда, где суша и вода словно слились воедино, надели одинаковый наряд и уже не отличишь берег от суши, словно брата и сестру в младенчестве.

Река освободилась от ила, разбросала множество рукавов и, наконец, потекла среди трясины, где трава перемежается с полосками прозрачной воды. Невольно на память мне пришла юность нашей планеты, когда суша только еще робко поднимала голову среди беспредельных водных просторов.

Вокруг нас из воды торчали бамбуковые шесты рыбаков. Высоко парили коршуны, готовые выхватить рыбу из сетей. У самого берега в торжественном раздумье стояли

бакланы. Здесь много водяных птиц. Куда ни посмотришь, из влажной глинистой земли проглядывают ростки риса. Невозделанные, неухоженные, они растут сами по себе: так плодородна здешняя почва, удобренная илом. Над неподвижной водой повисли тучи москитов...

На рассвете мы снова отправились в путь и миновали Качикату, где воды болота вливаются в извилистый канал шириной всего в шесть-семь ярдов. Провести по этому каналу наш плавучий дом — дело рискованное. Течение в канале бурное, а управлять нашим судном нелегко. И чтобы не врезаться в берег, матросы пользуются веслами как шестами. Но вот, наконец, мы снова на речном просторе.

Небо заволокло тяжелыми тучами, дует влажный ветер, временами разражается ливень. Матросы, озябнув, дрожат. Такие сырые, сумрачные дни очень неприятны, и с самого утра у меня прескверное настроение. Но в два часа дня выглянуло солнце, и все изменилось: и река с ее высокими берегами, и рощи, и полные прелести уединенные хижины.

Мало кто знает об этой речушке, не очень быстрой и не очень ленивой, которая течет в самых глухих местах Бенгалии. Щедро лаская оба берега, река журчит о простых радостях и печалях деревенских девушек, которые приходят по воду и, сидя на берегу, усердно, до блеска, растирают свои тела влажными полотенцами.

Вечером наше суденышко причалило к берегу пустынной излучины. Других лодок на реке не видно. В ясном небе возшла полная луна, и свет ее играет с рябью воды. Расположенная вдалеке деревня спит, забравшись в гнездо густых деревьев. И лишь непрерывно трещат цикады.

*Шазадпур,
февраль 1891 г.*

Прямо перед моими окнами на противоположном берегу реки разбили свой лагерь кочевники. Вогнанные в землю бамбуковые шесты покрыты бамбуковыми циновками и кусками ткани. Подобных сооружений там всего три. Они настолько низки, что выпрямиться в них нельзя. Всю жизнь кочевники проводят под открытым небом и

только по ночам забираются в свои убежища, где спят, сбившись в кучу.

Так кочевники и живут: ни кола, ни двора, ни помещика, которому надо платить аренду. С места на место бродят они со своими детьми, свиньями и собаками. Правда, с них не спускает своего бдительного ока полиция.

Я часто наблюдаю за семьей, расположившейся ближе других к моему дому. Кожа у этих людей темная, но лица приятные, тела гибкие и крепкие, они похожи на крестьян с северо-запада. Женщины у них красивые, стройные и высокие. Своей непринужденностью, свободой и легкостью движений они напоминают мне англичанок, только смуглых.

Вот кочевник подвесил котел над костром и теперь расщепляет бамбук, чтобы плести корзину. Женщина подносит к лицу зеркальце, а затем долго и старательно протирает его тряпкой; с особым щегольством оправляя складки на сари, она идет к мужу, садится рядом и время от времени помогает ему.

Кочевники — настоящие дети земли, где-то на дороге они родились, дорога их взрастила, на дороге они и умрут. Днем и ночью под открытым небом, на свежем воздухе, на голой земле, они ведут удивительную, неповторимую жизнь; и в этой жизни есть все: труд, любовь, дети, домашние обязанности.

Они всегда чем-то заняты и ни на мгновение не остаются без дела. Покончив с собственными делами, женщины причесывают друга друга. Из-за дальности расстояния я не слышу, о чем они беседуют и не могу с уверенностью сказать, что о домашних делах, хотя сильно подозреваю это.

Сегодня утром мирное поселение было охвачено беспокойством. Это случилось примерно в половине девятого или в девять. Кочевники расстилали на циновках, покрывающих их шатры, рваные стеганые одеяла и всякие тряпки, служащие им постелью, чтобы высушить и проветрить их. Свиньи и поросята лежали в лощине, наслаждаясь теплом после холодной ночи; издали они казались большой кучей грязи. Два пса напали на них и заставили отправиться в поисках завтрака; свиньи пронзительно

визжали, выражая протест. Я как раз писал письмо и рассеянно поглядывал в окно, когда началась суматоха.

Подойдя к окну, я увидел, что кочевье окружено толпой людей. Посреди них стоял надменный полицейский: он размахивал палкой и отводил душу в отборных ругательствах. Предводитель кочевников, испуганный и взволнованный, пытался что-то объяснить. Тут я сообразил, что некоторые подозрительные события в окрестностях вызвали появление полицейского.

Женщина как ни в чем не бывало продолжала деловито очищать расщепленный бамбук, да так спокойно, будто никакого скандала и не было. Вдруг она вскочила, подбежала к полицейскому и, бурно жестикулируя, выложила ему все, что она о нем думала. Полицейский мигом сник, попробовал что-то мягко возразить, но это ему не удалось, и, подавленный, он удалился.

Отойдя на безопасное расстояние, он обернулся и крикнул: «Все равно вам придется убраться отсюда!»

Я думал, что мои соседи за рекой начнут немедленно свертывать шатры и уйдут прочь со своими узлами, свиньями и детьми. Но ничего подобного не случилось. Они продолжали спокойно расщеплять бамбук, варить пищу и приводить себя в порядок.

*Шазадпур,
февраль 1891 г.*

Почта расположена прямо в нашей усадьбе—это очень удобно, так как мы получаем письма сразу, как только они приходят. Иногда вечером почтмейстер поднимается ко мне поболтать. Я наслаждаюсь его небылицами. Он сообщает о самых невероятных вещах с самым невозмутимым видом.

Вчера, например, он рассказал мне, как высоко местные жители почитают священную реку Гангу. Если умирает кто-нибудь из родных и они не могут отвезти его пепел к Ганге, они растирают в порошок кость покойника, вынутую из погребального костра и хранят ее до тех пор, пока не встречают человека, который когда-либо пил воду из Ганги. Его-то они и угощают этим порошком, скрытым в обычном угощении — бетеле. Лишь тогда они

успокаиваются, вообразив, будто останки покойного родича получили очищение, соприкоснувшись со священной водой.

Я с улыбкой заметил: «Конечно, это выдумка».

Он долго думал, прежде чем сознался: «Да, пожалуй».

*В дороге,
февраль 1891 г.*

Мы проплыли по большим рекам и свернули в малую.

В воде стоят женщины. Одни совершают омовение или стирают одежду; другие, прикрыв лицо краем мокрого сари, возвращаются с реки, придерживая наполненные водой кувшины и размахивая свободной правой рукой. Измазанные с ног до головы глиной, дети шумно играют, обливая друг друга водой, один из них горланит песню, безжалостно коверкая мотив.

За высоким берегом видны крыши домов и бамбуковые рощицы. Выглянуло солнце. Обрывки туч зацепились за горизонт, точно клочки ваты. Ветер потеплел.

На этой речушке лодок немного — всего несколько яликов. Груженные хворостом, они лениво движутся под монотонный аккомпанемент весел. На бамбуковых шестах сушатся рыбачьи сети. Труд нынешнего дня завершен.

*Чухали,
июнь 1891 г.*

Я пробыл на палубе более четверти часа, когда вдруг на западе за клубились тяжелые тучи. Они все приближались, черные, разлохмаченные, с отблесками мертвенного света. Маленькие лодки заспешили в узкий рукав реки и надежно закрепились якорями у берега. Жнецы, взвалив снопы на голову, заторопились домой, за ними последовали коровы, помахивая хвостами, резво поскакали телята.

Раздался гневный грохот. Ключья туч мчались к нам, словно злые вестники. И наконец, гром, молния, дождь и ветер сплелись в какой-то безумной пляске дервиша. Бамбуковые рощи, казалось, взвыли, когда неистовствующий

ветер стал подметать ими землю, наклоня то к западу, то к востоку.

Надо всем этим гудела буря, как гигантская дудка заклинателя змей, и тысячи увенчанных гребнями волн, словно тысячи кобр, извивались, околдованные ее ритмом. Гром не переставал; казалось, там, за тучами, раскачивается вселенная.

Опершись подбородком о край открытого с подветренной стороны окна, я отдал свои мысли на волю разбушевавшейся стихии; они вырвались на свободу, как гурьба школьников, неожиданно отпущенных с урока. Когда же меня основательно промочил косой дождь, пришлось прикрыть окно, расстаться с моими поэтическими размышлениями и тихо удалиться в темноту судна, уподобляясь запертой в клетку птице.

*Шазадпур,
июнь 1891 г.*

С поросшего травой берега, к которому привязано наше судно, доносится какой-то особенный аромат, и я как будто ощущаю всем телом жаркое дыхание земли. Я чувствую, как, теплая и живая, она касается меня этим дыханием, и мне кажется, что мое дыхание она тоже должна ощущать.

Свежий ветерок колышет молодые побеги риса, то одна, то другая утка окунает голову в воду и чистит перышки. Тишину нарушает лишь слабое печальное поскрипыванье сходен, раскачиваемых течением.

Неподалеку, под смоковницей, пестрая толпа ожидает парома. И как только он причаливает к берегу, крестьяне торопятся взобраться на него. Я могу часами наблюдать за всем этим. В деревне на другом берегу — базарный день: поэтому у паромщика так много работы. Кто тащит с собой охапки сена, кто корзины, а кто мешки. Одни отправляются на базар, другие уже возвращаются. Так в тихий полдень людской поток пересекает реку на своем пути из одной деревни в другую.

Я сидел в раздумье: почему на полях, речных берегах, на солнечном небе нашей родины лежит глубокая тень меланхолии? Наверное, потому, что в нашей жизни

природа — это главное. Небо безоблачно, поля беспредельны; и солнце сливает их в одно сверкающее целое. Среди всего этого человек кажется ничтожным. Он — как паром, плывущий от одного берега к другому, разговоры его — это журчанье реки, песни — прерывистое эхо; на всех базарах мира он преследует свои мелочные цели, но как ничтожно и непостоянно, как трагически бессмысленно все это перед лицом бесстрастной вселенной.

Глядя на подернутую дымкой далекую голубую кайму деревьев, тянущуюся вдоль полей на том берегу реки, я думаю, какая огромная разница между прекрасным, свободным, ничем не омраченным миром природы, таким спокойным, тихим и непостижимым, и нашей повседневной суетой, с ее ничтожными скорбными тревогами и спорами, и это выводит меня из состояния равновесия.

Там, где природа скрыта покрывалом из тумана и туч, снега и мрака, там человек чувствует себя господином. Он считает вечными свои желания и свои труды; он хочет сохранить их навсегда, он заботится о своем бессмертии, воздвигает памятники, пишет биографии, сооружает надгробья. У него даже нет времени поразмыслить над тем, сколь хрупки многие памятники и как часто забываются имена людей!

*Шазадпур,
июнь 1891 г.*

На берегу реки лежит большая мачта, и деревенские сорванцы, которые бегают в чем мать родила, посоветовавшись, решили, что, если катать ее взад и вперед с громкими криками, получится новая, очень интересная игра. Сказано — сделано. «Эй, братцы, наляжем! Раз, два — взяли!» И когда мачта покатилась, раздался дружный взрыв смеха.

Среди мальчишек была одна девочка, и вела она себя совершенно иначе. Сразу было видно, что она не одобряет их шумную и такую трудную игру. И не уходит только потому, что у нее нет другой компании. Наконец, она подошла к мачте и, не говоря ни слова, преспокойно усе-лась на нее.

Необычная игра оборвалась — и так неожиданно! Некоторые мальчишки, по-видимому, примирились с таким

исходом и, чуть отступя назад, мрачно смотрели на девочку, которая сохраняла полнейшее спокойствие. Один сделал вид, будто хочет столкнуть ее с мачты, но даже это не заставило девочку изменить позу. Тогда самый старший мальчик подошел к ней и предложил занять другое, столь же подходящее для отдыха место, на что девочка энергично замотала головой и, сложив руки на коленях, еще более прочно утвердилась на своем месте. Тогда мальчишки решили прибегнуть к силе и одержали полную победу.

И вновь радостные крики неслись к небу и мачта величественно катилась по берегу. Веселье было так заразительно, что даже девочка, отбросив в сторону свою гордость и чувство превосходства, захотела принять участие в общей радости. Однако она была уверена, и это каждый мог заметить, что мальчишки не умеют играть по-настоящему и ведут себя как дети! Если бы только у нее была в руках настоящая желтая глиняная кукла с большим черным пучком, разве снизошла бы она до участия в такой глупой игре с этими дурными мальчишками?

И вдруг мальчикам пришла в голову мысль о другом, не менее интересном развлечении. Двое из них взяли третьего за руки и ноги и стали его раскачивать. Остальные мальчишки радостно подбадривали их. Но этого девочка уж не могла стерпеть; с презрением покинув место игр, она направилась домой.

И тут вышло неладное. Мальчика, которого раскачивали, нарочно уронили на землю. Он обиделся, ушел от товарищей и улегся на траву, подложив руки под голову, как будто желая сказать, что никогда больше он не будет иметь дела с этим дурным, жестоким миром, а будет вечно лежать в одиночестве, считая звезды и наблюдая за игрой облаков.

Старший мальчик не мог, очевидно, примириться со столь ранним отречением от этого суетного мира, подбежал к неутешному, положил его голову к себе на колени и стал уговаривать: «Вставай, брат! Пойдем! Разве мы сделали тебе больно?» И вскоре я увидел, что они играют вдвоем, совсем как щенята, хватая и ловя друг друга за руки! Не прошло и двух минут, как малыша снова стали раскачивать.

Мне приснился удивительный сон: будто вся Калькутта окутана страшной тайной и дома едва виднеются сквозь густой, почти черный туман, под покровом которого совершаются странные дела.

Я ехал по Парк-стрит в наемном экипаже и, когда мы миновали колледж св. Ксавье, обнаружил, что его здание начало быстро расти и вскоре достигло необычайной высоты. И тут мне вдруг пришло в голову, что в Калькутту прибыла шайка колдунов, которые за мзду готовы сотворить множество подобных чудес.

Подъехав к нашему дому в Джорашанко, я и здесь увидал волшебников. Они были безобразны, с широкими скулами, с жидкими усами, на подбородке у них торчало несколько длинных волосков. Кудесники могли заставить людей расти. Некоторые девушки изъявили желание испытать их чары на себе, волшебники посыпали их головы каким-то порошком, и они тотчас же вытянулись ввысь. Каждому, с кем я встречался, я говорил: «Это необычайно, совсем как во сне!»

Вдруг кто-то пожелал, чтобы и наш дом стал выше. Чародеи согласились и снесли часть дома. После этого они потребовали денег. Кассир возражал как мог. Разве полагается производить выплату до окончания работы? Это привело магов в бешенство, и они скрутили здание так, что люди перемешались с кирпичной кладкой, тела оказались внутри стен, а снаружи остались только головы и плечи.

Поистине это было не что иное, как дьявольское наваждение, и я сказал своему старшему брату: «Видишь, что происходит? Не лучше ли обратиться к божьей помощи?» Но сколько ни старался я предать волшебников анафеме во имя бога, я чувствовал, что сердце мое рывается и я не в силах выжать из себя ни слова. Тут я проснулся.

Странный сон, не правда ли? Калькутта в руках сатаны, и она быстро растет, окутанная бесовским туманом!

*Шазадпур,
июнь 1891 г.*

Вчера меня посетили местные учителя.

Они долго сидели, но разговор не клеился: должно быть, я не мог найти ни одного подходящего слова. Через каждые пять минут я вымучивал из себя какой-нибудь вопрос и получал на него краткий ответ. А затем снова сидел с отсутствующим видом, вертел в руках перо, почесывая в затылке.

Наконец я наудачу задал вопрос о видах на урожай, но поскольку мои гости были школьными учителями, они ничего об этом не знали.

Об их учениках я спросил уже все, что только смог, так что мне пришлось начать сначала: сколько мальчиков учится у них в школе? Один сказал, восемьдесят, другой — сто семьдесят пять. Я надеялся, что они заспорят по этому поводу, но нет, им было все равно.

Почему часа через полтора они вдруг ушли, не знаю. Они могли это сделать с тем же успехом и на час раньше и на двенадцать часов позднее. К этому решению они пришли явно эмпирическим путем, без всякого научного метода.

*Шазадпур,
июль 1891 г.*

У пристани, кроме нашего, стоит еще одно судно, а перед ним на берегу толпа деревенских женщин. Некоторые из них, по-видимому, собираются уезжать, остальные их провожают. В толпе мелькают дети, покрывала, седые головы.

Одна девочка особенно заинтересовала меня. Ей, должно быть, лет одиннадцать или двенадцать. Однако полнота и крепкое сложение позволяют ей сойти за четырнадцати-пятнадцатилетнюю. У нее привлекательное лицо, смуглое, но красивое. Волосы стрижены под мальчика, что очень идет ее простому, открытому и живому лицу. На руках у нее младенец, она смотрит на меня с нескрываемым любопытством, и в ее взгляде нет недостатка в откровенности или уме. Ее полумальчишечьи, полудевичьи повадки обладают какой-то своеобразной прелестью — это нечто среднее между мужской беспечностью и

женским обаянием. Я и не подозревал, что среди бенгальских крестьянок можно встретить такую девочку.

Никто из членов ее семьи, надо думать, не страдает излишней застенчивостью. Одна из них распустила волосы и расчесывает их пальцами, громко переговариваясь с другой женщиной на борту судна. Я уже знаю, что у нее нет других детей, кроме девочки, глупого создания, которое не умеет ни вести себя, ни говорить, ни даже отличать родных от чужих. Я узнал также, что зять Гопала оказался бездельником и его дочь не хочет идти к мужу.

Когда же, наконец, настало время отплытия, коротко остриженная девочка с полными, приятной формы руками в золотых браслетах и сияющим простодушным лицом взошла на судно. Я подумал, что она, верно, возвращается от отца к мужу. Все они стояли на берегу, провожая взглядом судно, когда оно отчалило; несколько женщин вытирали глаза краем сари. Маленькая девочка, с волосами, туго стянутыми в узел, бросилась на шею уже немолодой женщине и тихо плакала у нее на плече. Быть может, она расставалась с дорогой сестрой, игравшей с ней в куклы и шлепавшей ее, когда она капризничала...

Спокойное отплытие судна как бы усиливает скорбь расставания — это так напоминает смерть; покинувший нас, исчез из виду, оставшиеся, утирая слезы, возвращаются к своей повседневной жизни. Правда, боль скоро утихает, и те, кто уехал, и те, кто остался, скоро утешаются, потому что боль преходяща, а забвение вечно. И все же истина — это боль, а не забвение. И время от времени, провожая в путь живых или мертвых, мы ощущаем, как страшна эта истина.

*Борт парохода, направляющегося
по каналу в Каттак,
август 1891 г.*

Я забыл свой чемодан, и одежда моя с каждым днем приобретает все более плачевный вид. Поэтому мне становится трудно сохранять чувство собственного достоинства. Пока при мне был чемодан, я мог ходить с высоко

поднятой головой и со спокойной совестью глядеть в глаза людям; без чемодана я вынужден прятаться по углам, скрываясь от толпы. Мне даже не во что переодеться на ночь. А пароход, как назло, весь покрыт сажей. К тому же из-за нестерпимой жары целый день обливаешься потом.

Однако, если не считать всего этого, время на борту парохода я провожу неплохо. Среди пассажиров — неистощимое разнообразие. Есть, например, некий Огхор-бабу, который обижен на весь мир, и эта обида сквозит во всем, о чем бы он ни говорил. Имеется и любитель музыки; он пытается исполнять вариации мелодии бхайрави глубокой ночью, убеждая меня не только в несовременности, но и в несвоевременности этого исполнения.

Пароход сел на мель в узком месте канала еще вчера вечером, а сейчас уже половина десятого утра. Ночь я провел в углу переполненной палубы, скорее мертвый, чем живой. Попросил стюарда поджарить мне на обед лúчи. Он принес несколько неопишуемых кусков поджаренного теста без всякого овощного гарнира. В ответ на мое скорбное удивление — он весь превратился в раскаяние и предложил тотчас приготовить какое-нибудь другое блюдо. Но поскольку наступила ночь, я отказался, с трудом проглотил несколько кусков теста и улегся спать на ярко освещенной палубе, переполненной пассажирами.

Надо мной реяла туча москитов, подо мной бродили тараканы. Какой-то пассажир вытянулся у моих ног, и я то и дело упирался в него пятками. Несколько человек уже храпели. Измученные москитами, бодрствующие бедняги утешались хукками; и надо всем этим витали звуки мелодии бхайрави! В половине четвертого какие-то беспокойные пассажиры начали громко просить друг друга встать. В отчаянии я тоже покинул свою постель и рухнул в кресло, ожидая рассвета. Так прошел пестрый кошмар этой ночи.

Один из матросов сказал мне, что пароход засел основательно и, чтобы сдвинуть его с места, пожалуй, понадобится целый день. Я спросил другого матросеа, не пройдет ли мимо какой-нибудь пароход, направляющийся в Калькутту, и в ответ получил радостное известие, что наш пароход — единственный на всей линии и я смогу вер-

нуться на нем в Калькутту после того, как он придет в Каттак! Однако нам посчастливилось, и после долгого дергания и толканья, примерно к десяти часам, пароход сняли с мели.

*Тиран,
7 сентября 1891 г.*

Пристань в Балиа очень живописна, по обе стороны канала высокие деревья. Все это напоминает мне маленькую речушку вблизи Пуны. Поразмыслив, я решил, что канал понравился бы мне гораздо больше, будь он действительно речкой.

Кокосовые пальмы, манговые и другие деревья обрамляют его пологие берега, одетые прекрасным покровом зеленой травы. По берегам рассыпаны цветущие мимозы. Здесь много пандановых рощиц, сквозь просветы между деревьями видны уходящие вдаль бескрайние поля, посева, такие нежные и бархатистые после прошедших дождей, что глаза, кажется, тонут в их глубине. А еще дальше раскинулись небольшие деревеньки, осененные кокосовыми и финиковыми пальмами, гнездящиеся под влажной прохладной тенью низко нависших облаков.

Как бы дополняя эту великолепную картину, грациозно извиваясь, медленно несет свои воды канал с его травянистыми берегами, с водяными лилиями и камышом. И все же становится как-то не по себе при мысли, что это только искусственный канал.

Воды его не журчат со времен сотворения мира. Им ничего не ведомо о тайнах дальних, недоступных горных пещер. Они не текли извечно, украшенные старинным женским именем, не дарили деревням молока из своей материнской груди. Даже старые искусственные пруды наделены бóльшим достоинством.

Но если через сто лет деревья на его берегах разрастутся, камни, обозначающие расстояние, обветшают и покроются мягким мхом, а 1871 год, высеченный на шлюзах, останется далеко позади и я, возродившись в виде моего собственного правнука, вновь появлюсь здесь на пути в каттакскую усадьбу, быть может, мое отношение к этому каналу будет иным.

Шилейда,
октябрь 1891 г.

Судно за судном причаливает к пристани. После целого года разлуки возвращаются домой на праздник Пуджи изгнанники с дальних полей. Их сундуки, корзины и узлы нагружены подарками. Один из них, когда судно приблизилось к берегу, быстро надел тонкое муслиновое дхоти, а поверх хлопчатобумажной куртки накинул куртку из китайского шелка, поправил чадор на шее и, высоко подняв раскрытый зонт, зашагал к деревне.

Шуршащие волны пробегают по рисовым полям. Манговые деревья и кокосовые пальмы тянутся к небу, за ними на горизонте белеют пушистые облака. Пальмовые листья дрожат от легкого дуновения ветерка. Вот-вот расцветет тростник на песчаном берегу. Смотришь, — и так радостно становится на душе.

Чувства человека, только что вернувшегося домой, нетерпеливое желание увидеть родных, ожидающих его, осеннее небо и нежный утренний ветерок, отзывчивая дрожь кустарника, легкая рябь на реке и весь этот мир точно сговорились наполнить невыразимой радостью и печалью сердце одинокого юноши, глядящего из своего окна.

Путевые впечатления во время плавания порождают новые желания, вернее, облекают старые желания в новую форму. Еще позавчера, когда я сидел у окна, мимо проплыл небольшой рыбачий ялик, лодочник пел песню — не очень мелодичную, но она напомнила мне одно событие из тех времен, когда я был еще ребенком. Мы плыли по реке Падме. Однажды, около двух часов ночи, я проснулся, открыл окно и высунул голову наружу. Я увидел воду необыкновенно гладкую, сверкавшую в лунном свете, а юноша в утлой лодчонке совершенно один плыл по реке и пел. О, как сладко он пел, такой восхитительной мелодии я никогда раньше не слышал.

И мне страстно захотелось вернуть тот день, когда я услышал эту песню; пусть разрешат мне начать жизнь сначала, и она не будет такой пустой и бессмысленной, с песней на устах я буду плыть по волнам и покорять сердца; я увижу, что в этом мире есть хорошего, познаю людей, и люди познают меня. Я буду мчаться сквозь

жизнь и юность, словно буйный ветер, и затем, созрев, вернуться домой, чтобы закончить жизнь, как подобает поэту.

Не очень высокий идеал, не правда ли? Принести благо миру куда возвышеннее, без сомнения; но такому человеку, как я, подобные мысли даже не приходят в голову. Я не в силах пожертвовать драгоценным даром жизни, обречь себя на голод, разочаровать мир и сердца людей постами, созерцанием и постоянными спорами. Я хочу жить и умереть как человек, который любит жизнь и доверяет миру, и не смотрю на мир, как на ошибку творца или козни дьявола. Я не стремлюсь унести в даль в бестелесности ангела.

*Шилейда,
октябрь 1891 г.*

Стоит мне приехать в деревню, и я начинаю ощущать, сколь неотделим человек от всего остального мира. Как река течет через множество стран, так и людской поток журчит, извиваясь среди лесов, деревень и городов. В мысли — люди приходят и люди уходят, но я остаюсь навсегда — нет противопоставления. Человечество, со всеми своими притоками, большими и малыми, течет так же, как и река, от своего истока в рождении до самого моря смерти; две темные тайны на каждом конце, а между ними различные игры, труды и немолкнущая болтовня.

На берегу в полях поют пахари. По реке плывут рыбачьи лодки. День тянется медленно, все невыносимей жара. Какие-то люди совершают в реке омовение, другие уже возвращаются домой с полными кувшинами.

Полдневную тишину нарушает голос юного пастуха, который громко зовет своего товарища; лодки, покачиваясь, плывут к берегу, волны плещут о пустой кувшин, которым крестьянки черпают воду. К этим звукам примешиваются и другие, менее отчетливые: чириканье птиц, жужжание пчел, жалобное поскрипывание плавучего дома, мягко покачивающегося на волнах, — все эти звуки сливаются в нежную колыбельную, подобную той, которую напевает мать, пытаясь утешить больное дитя. «Успокойся, — поет она, глядя его горячий лоб и стараясь облегчить боль, — успокойся, не плачь, не ворочайся в своей постельке, поспи хоть немного».

*Шилейда,
октябрь 1891 г.*

Было полнолуние Коджагар, и я медленно прохаживался по берегу реки, беседуя сам с собой. Впрочем, беседой это трудно было назвать, так как говорил я один, а мой воображаемый собеседник только слушал. Бедняге так и не пришлось высказать собственное мнение. Разве не в моей власти было превратить его в беспомощного глупца?

Что это была за ночь! Именно такую ночь я не раз пытался описать, но тщетно. Вода удивительно спокойна; издалека, от берега главного рукава, который виден из-за песчаной отмели, прямо к моему берегу тянется широкая лунная дорожка. Вокруг ни души. И на недавно поднявшемся из волн песчаном острове тоже ни деревца, ни травинки.

Кажется, будто унылая луна встает над опустевшей землей; а река, заблудившись, бродит в этом мертвом одиночестве; затянувшаяся сказка подходит к концу, раджи и рани, их министры и друзья исчезли вместе со своими золотыми замками, и на покинутой земле осталось только семь морей да тринадцать рек. Бесконечное болото, по которому странствуют в поисках приключений царевичи, тускло поблескивает в бледном свете луны. Я хожу взад и вперед, отсчитывая шаги, точно последние удары пульса этого умирающего мира. Все остальное — на другом берегу, берегу повседневности, где властвует британское правительство, девятнадцатый век, чай и сигареты.

*Шилейда,
9 января 1892 г.*

Вот уже несколько дней погода колеблется между зимой и весной. По утрам, быть может, земля и вода еще дрожат от прикосновений северного ветра; зато вечер трепещет от теплого дуновения южного ветра, который слетает на землю вместе с лунным светом. Во всем чувствуется близость весны. После долгого перерыва вновь слышатся призывные песни папийя в роще на том берегу. Пробудились и сердца людей. Вечером в деревне подолгу

не смолкают песни, никто не торопится запереть двери и окна и уютно укрыться на ночь.

Полная, круглолицая луна заглядывает ко мне в окно, как будто хочет узнать, не пишу ли я чего-либо плохого о ней; может быть, она подозревает, что нас, смертных, ее пятна интересуют больше, чем лучи?

С берега доносится унылый крик какой-то птицы. Река застыла в неподвижности. Ни одна лодка не тревожит ее покоя. Неподвижны и рощи на берегу, их тень на воде не шелохнется. Скрытая дымкой луна кажется полуприкрытым во сне глазом.

Отныне вечера́ будут становиться все темнее и темнее, и, когда завтра я буду возвращаться из конторы, луна, моя любимая спутница в изгнании, уже несколько отдалится от меня, словно усомнившись в том, было ли разумно с ее стороны прошлым вечером открыть мне свое сердце.

Настоящее, истинно глубокое слияние с природой возможно лишь в местах необычных и уединенных. И как-то не по себе становится при мысли, что, после полнолуния мне с каждым вечером все больше будет не хватать лунного света; все острее буду я ощущать свое одиночество, если красота и покой речного берега исчезнут и я должен буду возвращаться домой в темноте.

Во всяком случае, надо записать, что сегодня полнолуние — первое полнолуние этой весны. Пройдут годы, и я, быть может, вспомню об этой ночи, о крике какой-то птицы на берегу, отблеске света на далекой лодке, сверкающем ночном просторе, о неясных очертаниях тени, отброшенной на воду деревьями, и белом небе, слабо светящемся над головой в своей равнодушной отчужденности.

*Шилейда,
апрель 1892 г.*

Вода в реке спадает, и в ближнем рукаве вряд ли есть место, где глубже, чем по пояс. Не удивительно поэтому, что наш плавучий дом должен бросить якорь в средней протоке. Справа на берегу крестьяне пахут землю, время от времени к реке гонят коров на водопой. Слева манговые и кокосовые деревья старого сада Шилейды, а на пес-

чаной отмели женщины стирают, наполняют водой кувшины, купаются, смеются и сплетничают на своем местном наречии.

Молоденькие девушки никак не наиграются в воде. Просто наслаждение — слушать их беззаботный веселый смех. Мужчины с серьезным видом окунаются положенное число раз и уходят, но у девушек с водой более близкие отношения. У них много общего. Так же просто и естественно, как река, девушки могут болтать, волноваться, искриться, могут чахнуть и изнывать под палящим зноем, у них хватит сил выдержать любой удар. Жестокий мир, который опустел бы, если бы женщин не стало, не может постичь тайны нежного объятия их рук.

Теннисон сказал, что женщина для мужчины все равно, что вода для вина. Мне кажется, лучше было бы сказать — все равно что вода для земли.

Женщина быстрее осваивается с водой, омываясь ею, играя с нею, женщины привыкли собираться у воды; женщине не подобает носить тяжести, но она словно создана для того, чтобы ходить по воду к ручью, источнику, реке или пруду.

*Боллур,
2 мая 1892 г.*

В мире много парадоксов, и один из них заключается в том, что необъятному простору, необозримому небу, темным тучам, непостижимым чувствам, то есть всему, в чем выражается бесконечность, под стать только одинокий человек; люди во множестве кажутся суетными и мелкими в сравнении с бесконечностью.

Одинокий человек и бесконечность достойны взирать друг на друга, каждый со своего собственного трона. Но стоит собраться множеству людей, и какими малыми покажутся и человечество и бесконечность; как трудно им приноровиться друг к другу. Человек нуждается в огромном пространстве, а в толпе ему приходится довольствоваться узкими просветами: было бы куда голову просунуть.

В толпе мы не можем вытянуть сложенные ладони, чтобы наполнить их бесконечным, неизмеримым пространством.

*Болпур,
8 джойштво (май) 1892 г.*

Женщины, которые претендуют на остроумие, но не идут дальше грубости, невыносимы. Что же касается попыток смешить, то для женщин они просто постыдны, независимо от того, удастся им это или нет. Комическое всегда связано с преувеличением, поэтому все непомерно большое производит комический эффект. Слон смешон, верблюд и жираф смешны, все переростки смешны.

Красоте скорее родственна дерзость, подобно тому как цветам родственны шипы. Поэтому нельзя сказать, что сарказм не к лицу женщине, и все же если он исходит от нее, то причиняет боль. Комизм преувеличения пусть женщины оставят сильному полу. Фальстаф-мужчина заставляет нас надрываться от хохота, но женщина-Фальстаф вызвала бы у нас только раздражение.

*Болпур,
12 джойштво (май) 1892 г.*

Вечерами я обычно прохаживаюсь по верхней террасе один. Но вчера я счел своим долгом показать местные красоты гостям, поэтому вышел с ними на прогулку, прихватив в качестве проводника Отхора.

Вдали, у самого горизонта, над голубой полоской деревьев, обозначилась синяя черточка тучи, и это было особенно красиво. Я попытался настроиться на поэтический лад и сказал, что эта черточка напоминает сурьму на ресницах, осеняющих прекрасные глаза. Один из гостей не слышал моих слов, другой не понял их, а третий отделался кратким: «Да, очень мило». Это сразу подрезало мне крылья!

Не пройдя и полмили, мы очутились у плотины. Вдоль берега пруда выстроились пальмиры, под которыми бил источник. Мы остановились полюбоваться им и вдруг заметили, что тонкая полоска, которую мы видели на севере, набухла, потемнела и приближается к нам. Время от времени сверкали вспышки молний.

Все в один голос решили, что любоваться красотами природы из какого-нибудь надежного убежища куда лучше, но не успели мы повернуть домой, как гроза, совер-

шая гигантские прыжки по открытой болотистой местности, с сердитым ревом обрушилась на нас. Я и не подозревал, когда любовался сурьмою на ресницах прелестной дамы Природы, что она может разъяриться, как простая смертная, и даже — надавать шлепков.

От взметнувшейся пыли стало темно, и на расстоянии нескольких шагов ничего не было видно. А буря неистовствовала все сильнее и сильнее, швыряя в нас мелкими острыми камешками, ветер подгонял нас в спину, хлеща струями дождя, словно плетью.

Бежать! Бежать! Но почва оказалась неровной, ее избороздили арыки, через которые и так нелегко перебраться, а тем более в бурю. Меня угораздило запутаться в колючем кустарнике, и ветер едва не сбил меня с ног, пока я пытался высвободиться.

У дома мы увидели целую толпу слуг, которые, крича и жестикулируя, набросились на нас так же неистово, как буря: они хватали нас за руки, оплакивали нашу судьбу, куда-то тащили, висли на нас, словно боялись, как бы ураган навсегда не унес их хозяина и его гостей. Насилу отбившись от слуг, мы, наконец, попали в дом, запыхавшиеся, грязные, взлохмаченные, в мокрой одежде.

И я понял, что никогда больше не напишу ни строчки о том, будто герой, запечатлев в сердце образ любимой, способен спокойно идти сквозь дождь и ветер. Вряд ли можно думать о каком-нибудь личике, сколь бы милым оно ни было, в такую бурю, — и без того достаточно хлопот, только и успеваешь очищать глаза от песка.

Порты-вишнуиты воспели Радху, в бурную ночь спешившую на свидание с Кришной. Но, мне кажется, они не удосужились подумать о том, в каком виде она предстала перед возлюбленным. Легко вообразить, как спутались ее волосы и в каком состоянии оказалась одежда. Хороша она была, прибыв в свою беседку, когда пыль, смешавшись с влагой, превратилась в грязную корку на ее теле.

Но когда читаешь стихи этих портов, подобные вещи не приходят в голову. На мысленно созданном нами полотне вырисовывается образ прекрасной женщины, пробирающейся под сенью цветущих деревьев кадамбы во мраке бурной ночи срабона к берегам Джамуны, куда ее властно влечет любовь. Она, словно во сне, не замечает ни ветра,

ни дождя. Запаясь на ногах она подвязала, чтобы не звенели; чтобы никто ее не заметил, надела темно-синее одеяние. Она не прячется под зонтом, несмотря на дождь; фонарем не освещает себе путь в непроглядной тьме.

Что за несчастная судьба у полезных вещей — в обыденной жизни они необходимы, но поэзия ими пренебрегает. Тщетно пытается поэзия освободить нас от уз, которыми мы связаны с ними; нас даже уверяют, что с развитием цивилизации поэзия погибнет, зато на усовершенствование обуви и зонтов по-прежнему будут выдавать патент за патентом.

*Болпур,
16 джойштво (май) 1892 г.*

Здесь нет ни колоколен с часами, ни поселений; по вечерам, как только смолкают птицы, воцаряется полная тишина. Трудно порой отличить поздний вечер от полуночи. Бессонная ночь в Калькутте течет, как огромная медленная река мрака; лежа на спине, можно слушать ее журчание и плеск. Но здесь ночь подобна широкому, тихому озеру, покоящемуся безмятежно, без всяких признаков движения. И когда прошлой ночью я ворочался с боку на бок, то чувствовал, как меня обволакивает глубокий покой.

Сегодня я встал несколько позднее обычного и, спустившись в свою комнату, откинулся спиной на подушку, закинув ногу на ногу. Взяв грифельную доску, я начал писать стихи под аккомпанемент утреннего ветерка и пенье птиц. Все шло превосходно, — улыбка играла на моих губах, глаза были полуприкрыты, голова покачивалась в такт ритму стиха, слова, которые я вначале мурлыкал себе под нос, принимали все более определенную форму, когда вдруг прибыла почта.

Пришло письмо, последний номер журнала «Шадхона», номер «Мониста» и несколько листов корректуры. Я прочел письмо, пробежал глазами неразрезанные страницы журнала и вновь стал качать головой и мурлыкать себе под нос. Я ни за что не мог приняться, пока не закончил стихотворения.

Не могу понять, почему писание многих страниц прозы не приносит той огромной радости, которую испытываешь,

завершив одно-единственное стихотворение. Поэзия в своей форме настолько совершенна, что проникает в самую душу, кажется, будто стихотворение можно поднять одними кончиками пальцев. Проза же напоминает грудку рыхлого материала, который невозможно поднять.

Если бы мне удавалось писать по стихотворению в день, вся жизнь проходила бы в радостях; вот уже много лет я обхаживаю поэзию, но мне никак не удается приручить ее, она вовсе не принадлежит к той породе крылатых коней, которых можно оседлать, когда этого хочется! Радость искусства — в свободном полете фантазии, и тогда, даже возвратясь в мир-темницу, ты все еще слышишь волшебную музыку и чувствуешь восторг.

Короткие стихотворения по-прежнему являются ко мне без спросу, и я никак не могу поразмыслить над двумя-тремя пьесами, которые стучатся ко мне в дверь. Боюсь, что работу над ними придется отложить до холодов. Все мои пьесы, кроме «Читры», написаны в холодное время года, когда лирический жар словно замерзает, и я получаю возможность заняться драмой.

*Боллур,
31 мая 1892 г.*

Еще нет и пяти, но уже рассвело, дует восхитительный ветерок, птицы проснулись и завели свои песни. Что с кукушкой, почему она непрестанно поет? Ведь не за тем же, чтобы развлечь нас или утешить тоскующих любовников? У нее, видимо, есть какая-то своя цель. Но как это ни печально, она никак не может достичь ее. Это не обескураживает кукушку, и ее пение продолжает носиться в воздухе; по временам трели становятся чрезвычайно пылкими. Что бы это могло значить?

Вот вдали зазвучала песня другой птицы, в ее голосе нет ни силы, ни воодушевления, она словно лишилась всякой надежды; но ее тихая жалоба по-прежнему доносится из какого-то тенистого уголка: чок, чок, чок.

Как мало в действительности мы знаем о жизни и заботах этих невинных крылатых созданий, с нежными грудками и разноцветными перышками! Почему они поют так настойчиво и неустанно?

*Шилейда,
31 джойшхо (июнь) 1892 г.*

Терпеть не могу правил хорошего тона и повторяю строку «Лучше родиться бы мне скитальцем степным — бедуином!» Прекрасно здоровое и свободное варварство!

Чувствую, как хочется остановить непрерывное старение души и тела, покончить с непрестанными изощренными спорами по поводу погибших древностей и ощутить радость свободной, полной энергии жизни; пусть мысли мои и стремления, все равно, добрые или дурные, будут широкими, неукротимыми, ничем не скованными, пусть не знают они борьбы между обычаем и разумом, разумом и желанием, желанием и действием.

Если бы только мне посчастливилось обрести свободу в этой несвободной жизни, я бы мчался как вихрь, поднимая бурные волны, я бы бешено скакал, подобно дикому коню, лишь для того, чтобы испытать радость стремительного бега. Но я бенгалец, а не бедуин! И я по-прежнему сижу в своем углу, хандрю, волнуюсь, спорю. Я задумываюсь то над одной стороной жизни, то над другой — так переворачивают рыбу на сковородке, — и кажется, будто кипящее масло обжигает меня.

Но довольно об этом. Поскольку я не могу стать совершенно диким, попробую быть предельно вежливым. Стоит ли разжигать ссору между тем и другим желанием?

*Шилейда,
16 июня 1892 г.*

Чем больше времени проводишь в одиночестве на лоне природы, тем явственнее ощущаешь, что нет ничего более прекрасного или великого и в то же время простого и естественного, чем исполнение будничных обязанностей жизни. От травы в поле до звезд в небе все только и делают, что исполняют свои обязанности; потому в природе и царят столь глубокий мир и непреходящая красота, что ни один из ее элементов не стремится насильственно пересечь положенные ему пределы.

Нельзя сказать, что деятельность каждой составной части природы не имеет большого значения. Но трава тратит всю свою энергию, чтобы получить питание от самых кончиков своих корней лишь для того, чтобы быть травой. Она вовсе не стремится быть баньяном. Но благодаря ей земля покрывается зеленым ковром. И, действительно, не великие дела и красивые речи порождают ту малую толику красоты и покоя, которую можно найти в обществе людей, а исполнение будничных обязанностей.

Вероятно, потому, что в каждый момент своей жизни мы не способны охватить всю ее взглядом, нас может увлечь какая-нибудь призрачная надежда или яркая картина будущего, не отягощенного ежедневными заботами; но все это только иллюзии.

*Шилейда,
2 ашарха 1892 г.*

Вчера наступил первый день ашарха, и восшествие на трон сезона дождей было отпраздновано с надлежащей помпой и церемониями. С утра стояла невыносимая жара, но после полудня накатились громадными массами густые облака.

Я решил, что в этот торжественный день лучше промокнуть, чем остаться заточенным в своей комнате-темнице. Прошедший год не вернется, сколько же еще мне осталось таких первых дней ашарха. Жизнь моя была бы достаточно долгой, если бы я мог насчитать еще тридцать таких дней, которые творец «Облака-Вестника», по крайней мере, с моей точки зрения, выделил особо.

Иногда я думаю, как сильно мне повезло, ведь каждый день моей жизни либо окрашен солнцем восходящим и заходящим, либо освежающе прохладен из-за низких темных туч, либо цветет, подобно белому цветку, в лунном свете. Какое несметное богатство!

Тысячу лет назад Калидаса приветствовал первый день ашарха, и теперь в моей жизни каждый год рассветает во всем своем сиянии первый день ашарха — тот самый день порта из древнего города Удджайни, который научил бесчисленное множество мужчин и женщин понимать радость единения и печаль разлуки.

Каждый год один такой великий, освященный веками день исчезает из моей жизни; и придет время, когда этот день Калидасы, этот день «Облака-Вестника», этот вечный первый день дождей в Северной Индии уже не настанет для меня. При мысли об этом я чувствую непреодолимое желание насладиться природой, каждый день приветствовать восход и прощаться с заходящим солнцем, как с близким другом.

Какое великое торжество, какое радостное зрелище на подмостках вселенной! Но мы не в состоянии в полной мере ощутить все это великолепие — так далеко мы живем от мира. Свет звезд путешествует миллионы миль, чтобы достичь земли, но он не может проникнуть в наши сердца — на столько миллионов миль мы дальше!

Мир, в который я попал, населен странными существами. Они постоянно стараются оградить себя от всего окружающего стенами и правилами. А с каким тщанием занавешивают они свои окна, чтобы, упаси бог, ничего не увидели! Удивляюсь, почему они до сих пор не изготовили темно-серых чехлов для цветущих растений и не воздвигли навеса, чтобы отгородиться от луны. Если в следующем рождении учтут наши нынешние желания, то я вновь появлюсь на свет не на окутанной мраком земле, а где-нибудь в открытом и свободном царстве радости.

Лишь тот, кто не способен всем своим существом ощутить прекрасное, презирает его за то, что оно относится к области чувств. Тот же, кто вкусил от его невыразимости, знает, сколь недоступно оно власти самого острого зрения или слуха; даже сердце не способно постичь всю глубину его томления.

Р. С. Я совсем забыл о том, с чего собственно начал. Не бойтесь, это не займет еще четырех страниц. Хочу только сказать, что вечером в первый день ашарха пошел сильный дождь и струи воды, точно копья, вонзались в землю. Вот и все.

*По пути в Гоалунду,
21 июня 1892 г.*

Бесконечно разнообразные картины песчаных отмелей, полей, на которых взошли посевы, и деревень скользят с обеих сторон — в небе плывут облака, радужно расцве-

тающие, когда день встречается с ночью. Подкрадываются лодки, рыбаки ловят рыбу. День-деньской ласково журчит вода; только в вечерней тиши ее широкий простор находит успокоение, подобно убаюканному ребенку, которого оберегают звезды в бесконечном небе. И вот я сижу бессонными ночами; по обе стороны дремлют берега; лишь изредка в безмолвие врывается вой шакала в лесу вблизи деревни или грохот глыб, подмываемых быстрым течением Падмы и рушащихся с высокого обрывистого берега в воду.

Я смотрю на убегающий желтоватый песчаный берег без единой травинки или деревца, на пустую лодку, привязанную к берегу, на воду такого же оттенка, как дымчатая синева неба, и не могу выразить, как все это меня волнует, хотя нельзя сказать, чтобы открывающиеся передо мной виды были особенно хороши. Подозреваю, что полузабытые желания детства, прошедшего под властью слуг, — когда я в одиночном заключении своей комнаты, углубившись в «Сказки тысячи и одной ночи», делил с Синдбадом-мореходом его приключения во множестве дальних стран, — все еще не погибли во мне и сразу же оживают при виде пустой лодки, привязанной к берегу.

Если бы в детстве я не слушал волшебных сказок, не читал «Тысячи и одной ночи» и «Робинзона Крузо», широкие просторы полей на том берегу не волновали бы меня так — весь мир, я уверен, выглядел бы для меня совсем по-иному.

Как причудливо переплетаются в голове фантазия и действительность. Они образуют настоящие узлы из больших и малых прядей — рассказов, событий, картин.

*Шилейда,
22 июня 1892 г.*

Сегодня рано утром, когда я еще лежал в постели, слышались радостные крики женщин, купающихся в реке: «Улу! Улу!» Трудно объяснить почему, но эти возгласы взволновали меня.

Быть может, они напоминали мне о бурном потоке радостных деяний мира; к сожалению, мы мало причастны к этим деяниям. В нашем огромном мире великое мно-

жество народу, но с каким ничтожным числом людей связан хоть чем-нибудь каждый человек. Словно далекие отголоски жизни, приходят к человеку вести из незнакомых домов, возвещающие, что подавляющая часть человечества не знает его, да и не может знать; тогда человек чувствует себя заброшенным, ощущает всю ненадежность своей связи с миром, им овладевает смутная печаль.

Так, когда я слышу возгласы: «Улу! Улу!» — жизнь моя, прошлая и будущая, кажется мне долгой, долгой дорогой, и звуки эти точно доносятся с самых ее концов. Вот какое чувство окрашивает начало моего дня.

Но как только появляется управляющий со своими помощниками или крестьяне, добивающиеся приема, слабое видение Прошлого и Будущего сразу же исчезает, уступив место крепко сбитому Настоящему, которое приветствует меня.

*Шазадпур,
25 июня 1892 г.*

В сегодняшних письмах было что-то сказано об О., чье пение заставляло сильнее биться мое сердце. Малые радости жизни, столь незаметные в городской суматохе, напоминают о себе твоему сердцу, когда ты вдали от дома. Я люблю музыку, и в Калькутте никогда не было недостатка в певцах и оркестрах, однако я оставался глух к ним, совершенно не подозревая, что жажда музыки в моем сердце так и осталась неутоленной.

И вот, когда я читал сегодняшние письма, меня охватило страстное желание услышать чарующий голос О., и я подумал, что мало есть у нас подлинных желаний, но, пожалуй, одно из самых сильных — стремление снова обрести некогда отвергнутые радости. Стремясь к несбыточному, мы обедняем свою жизнь...

Пустота, оставшаяся от этих простых радостей, которые я не захотел или не успел вкусить, разрастается в моей душе. И настанет день, когда я почувствую, что я бы не стремился к недостижимому, если бы мог вернуть прошлое и испил бы до дна эти малые, непрощенные ежедневные радости, которые предлагает жизнь.

*Шазадпур,
27 июня 1892 г.*

Вчера днем надвинулись грозные тучи и я ощутил ужас. Я не помню таких сердитых туч.

Разбухшие массы темного индиго громоздились одна на другую, как распушенные усы неистовствующего демона.

Под рваными нижними краями туч сиял кроваво-красный свет, его как будто излучали глаза чудовищного буйвола, заполнившего собой все небо; казалось, вот-вот, низко опустив рога, он в бешенстве кинется на земной мир.

Ростки на полях и листья на деревьях трепетали от страха перед неотвратимой бедой; по воде пробегали судороги; отчаянно каркая, кружились испуганные вороны.

*Шазадпур,
29 июня 1892 г.*

Еще вчера я написал, что на сегодняшний вечер у меня назначено свидание с поэтом Калидасой. Но когда я зажег свечу, пододвинул стул к столу и приготовился к встрече, в комнату вместо Калидасы вошел почтмейстер. У живого почтмейстера было явное преимущество перед мертвым поэтом; я не мог предложить ему уйти и освободить место для Калидасы, он бы меня просто не понял! Поэтому я предложил почтмейстеру стул и мысленно распрощался со стариком Калидасой.

Существует какая-то незримая связь между этим почтмейстером и мною. Прежде почта находилась в самом поместье и я встречался с ним каждый день. Свой рассказ «Почтмейстер» я написал однажды днем в этой самой комнате. И когда рассказ напечатали в «Хитабади», почтмейстер зашел ко мне и как бы нехотя заговорил об этом, застенчивая улыбка не сходила с его лица. Во всяком случае, этот человек мне нравится. У него целый кладезь историй, которые я люблю слушать. И он не лишен чувства юмора.

Было уже поздно, когда почтмейстер ушел, но я сразу же принялся за «Рагхуваншу» и прочел всю сцену состязания между женихами Индумати.

Прекрасные, роскошно наряженные цари сидят в зале на тронах. Вдруг раздаются звуки труб и раковин, и вводят Индумати в свадебном наряде, поддерживаемую Сунандой. Она останавливается в проходе между тронами. На такой картине приятно остановить свой взор.

Затем, когда Сунанда представляет ей по очереди женихов, Индумати низко склоняется в поклоне и проходит мимо. Как прекрасна ее скромная учтивость! Все они принадлежат к царскому роду. А она простая девушка. И если бы она не искупала непочтительность своего отказа смирением, эта сцена утратила бы свою прелесть.

Шилейда,

20 августа 1892 г.

Когда видишь хорошо написанный красивый пейзаж, в голову часто приходит мысль: «О, если бы я мог поселиться здесь».

Такое желание можно удовлетворить в этих местах. Все кругом — словно ожившая, сияющая красками картина, оторванная от грубой реальности. Когда я был ребенком, рисунки в «Поле и Виржинии» или «Робинзоне Крузо», изображающие леса и море, способны были унести меня далеко от будничной жизни; те же ощущения вызывает здесь во мне солнечный свет.

Во мне возникает какое-то томительное чувство. Я словно ощущаю пульсацию потока, бегущего по артерии, которая соединяет меня со вселенной. Воскресают смутные, расплывчатые воспоминания о той поре, когда я составлял нераздельное целое со всей землей, когда надо мной росла зеленая трава и на меня падал ясный свет осени, когда теплое дыхание осени веяло от моего необъятного, мягкого, зеленого тела при ласковом прикосновении солнечных лучей; и изо всей громады моего существа, безмолвно раскинувшегося с его различными странами, морями и горами под ярким голубым небом,

робко зарождалась и бурно извергалась в сладкой радости жизнь.

Мои чувства, очевидно, те же, что были у нашей древней земли, восторженно отзывающейся на лобзания солнца. Мне кажется, будто моя душа струится по каждому стебельку травы, по каждому корню, для того чтобы вместе с соком подняться по древесным стволам и с радостным трепетом вырваться на волю, воплотившись в колышущиеся колосья, в шуршащие пальмовые листья.

Я чувствую необходимость выразить кровные узы, связывающие меня с землей, мою родственную любовь к ней, но боюсь, что не буду понят.

*Боалия,
18 ноября 1892 г.*

Я думаю о том, где сейчас ваш поезд. В это время солнце встает над всхолмленной, безлесной и скалистой местностью вблизи станции Навадих. Вокруг все просветлело от первых солнечных лучей, и уже вырисовываются слабые очертания далеких голубых холмов.

Возделанных полей почти не видно, если не считать участков, вспаханных с помощью буйволов полудикими племенами: по обе стороны железной дороги громоздятся черные скалы, следы пересохших потоков отмечены галькой. словно укрощенная прикосновением мягкой, светлой, божественной руки, покоится под солнцем дикая природа, вся в рубцах и шрамах.

Знаете, что мне это напоминает? В «Шакунтале» Калидасы есть сцена, в которой Бхарат, маленький сын царя Душианты, играет со львенком. Ребенок нежно проводит своими розовыми пальчиками по грубой гриве зверя, который лежит, доверчиво вытянувшись и бросая ласковые взгляды на своего маленького друга-человека.

Может быть, сказать вам, что напоминают мне эти сухие, усеянные галькой, русла? В английской сказке брат и сестра оставляли свои отметки, бросая камешки в неизвестном лесу, куда их завела мачеха. Эти ручейки похожи на потерявшихся детей, заброшенных судьбой в большой мир. Чтобы не заблудиться, они и оставляют камешки. Увы! Обратного пути для них нет!

*Натор,
2 декабря 1892 г.*

Бенгальские закаты исполнены глубоким чувством и бесконечным покоем; солнце опускается за деревья, окаймляющие бескрайние пустынные поля, расстилающиеся до самого горизонта.

Вдалеке наше вечернее небо любовно, и в то же время печально, склоняется над землей, окутав ее своим мрачным светом. Этот свет вселяет в нас печаль Вечной Разлуки, и тишина, которая затем воцаряется над землей, небом и водами, так красноречива!

Я смотрю на все это, застыв в безмолвном восторге, и в голову мне приходят самые удивительные мысли. Быть может, когда-нибудь этот миг найдет свое выражение, которое он ищет с самого начала времен, прорвется сквозь тишину, и тогда от земли к звездам вознесется торжественная, проникающая в тайники души музыка.

Стоит лишь слегка напрячь усилия, и мы сможем перевести на доступный нам язык великую гармонию света и цвета, которая, пронизывая вселенную, превращает ее в музыку. Нужно только закрыть глаза и мысленно ощутить трепет этой вечно движущейся панорамы.

Как бы часто я ни писал о восходах и заходах, всякий раз я чувствую их обновившуюся свежесть. Как же мне в моих писаниях добиться такой же свежести?

*Шилейда,
9 декабря 1892 г.*

Я чувствую сильную слабость и вялость после моей мучительной болезни, и в этом состоянии помощь природы воистину благотворна. Мне кажется, будто я, как и все остальное в мире, лениво блаженствую в солнечных лучах, и я продолжаю писать письмо совершенно машинально.

Мир для меня всегда нов, при всем том, он — как старый друг, которого я любил в этом и прошлом рожденьях, мы знакомы с давних времен.

Я живо себе представляю, что в очень далекие века, когда юная земля восстала из морских пучин и восторженным гимном приветствовала солнце, я наверняка был

одним из деревьев, возникших на ее только что образовавшейся почве, и простирал к ней листву во всей свежести своего первого порыва.

Великое море, как нежная мать, не скупясь на ласки, баюкало и лелеяло своего первенца — землю, а в это время все мое существо впитывало в себя солнечный свет, дрожало под голубым небом в бессмысленном восторге младенца, крепко держась за Мать-Землю, дарующую жизненные соки. В слепой радости мои листья раскрылись и расцвели мои цветы, а когда собрались темные тучи, их благодатная тень успокоила меня нежным прикосновением.

И затем из века в век я возрождался на этой земле в различных обликах. И когда мы с землей теперь сидим лицом к лицу, одни, ко мне одно за другим возвращаются древние воспоминания.

Моя Мать-Земля сидит сегодня среди рисовых полей, на берегу реки, в золотом уборе из солнечных лучей; а я играю на ее коленях. Мать многочисленных детей, она внемлет их непрерывным возгласам с огромным терпением, но и с некоторым равнодушием. Она сидит здесь, устремив свой отсутствующий взор на предвечернее небо, а я продолжаю неустанно болтать.

*Балия,
вторник, февраль 1893 г.*

Мне надоело бродить. Я тоскую по укромному уголку, где можно отдохнуть вдали от толпы.

Индия сочетает в себе домоседа со странствующим аскетом. Первого из них не оторвешь от дома, у второго вообще нет жилища. По натуре своей я и домосед, и странник. Я хочу путешествовать и повидать весь свет, а также мечтаю об укромном уголке; я — как птица, у которой для жилья есть крошечное гнездышко, а для полета — просторы неба.

В собственном уголке я обретаю покой. Моя душа жаждет дела, но каждый раз наталкивается на равнодушные толпы и в бешенстве наносит удары по клетке, в которой она заключена, то есть по мне. Если только ей удастся побыть немного в одиночестве, оглядеться

и поразмыслить вволю, она сможет, к великому своему удовольствию, выразить владеющие ею чувства.

Свобода одиночества — вот чего недостает моей душе. Получив ее, она осталась бы наедине с игрой моей фантазии, как творец, который вынашивает свое собственное творение.

*Каттак,
февраль 1893 г.*

Пока мы ничего не достигли, лучше нам жить в неизвестности, — говорю я. До тех пор, покуда на нас смотрят свысока и мы недостойны лучшей участи, как можем мы требовать к себе уважения? Когда мы утвердимся в этом мире, когда внесем свою лепту в ход жизни, тогда только сможем мы смело глядеть другим в глаза. А до этого нам лучше держаться в стороне и заниматься собственными делами.

Но наши соотечественники как будто придерживаются другого мнения. Они не стараются, держась в тени, удовлетворять наши скромные повседневные нужды, нет, главное для них порисоваться, выставить себя напоказ.

Наша страна воистину позабыта богом. Нам безмерно трудно поддерживать в себе волю к действию. Мы ни от кого не получаем сколько-нибудь существенной помощи. На целые мили вокруг не найдешь человека, который мог бы вселить в нас энергию. Кажется, что никто вокруг не мыслит, не чувствует, не трудится. Никому не ведомо, что такое высокие стремления или настоящая жизнь. Все едят, пьют, ходят в контору, курят, спят, болтают бессмыслицу. В проявлениях чувств все сентиментальны, в размышлениях — наивны, как дети. Мы тоскуем по крепкой, полнокровной, одаренной личности, а вокруг — скользящие тени.

*Каттак,
10 февраля 1893 г.*

Он был ярко выраженным Джоном Буллем в самом худшем смысле: с огромным клювом вместо носа, хитрыми глазами и подбородком длиной с ярд. Правительство в настоящее время рассматривает вопрос о лишении нас

права на суд присяжных. Этот тип притянул данную тему за уши и требовал, чтобы хозяин дома, бедняга Б., обсуждал ее с ним. Он заявил, что моральный уровень нашего народа весьма низок, что у нас нет подлинной веры в святость жизни, поэтому нас нельзя привлекать в качестве присяжных.

Крайнее презрение, с которым относятся к нам подобного рода люди, стало мне понятно, когда я увидел, что этот господин пользуется гостеприимством бенгальца и без тени смущения, сидя за его столом, говорит такие вещи.

Когда, после обеда, я отдыхал в углу гостиной, все расплылось перед моими глазами. Мне казалось, будто моя великая, оскорбленная Родина лежит передо мной в пыли, неутешная, лишенная своей славы. Трудно выразить, сколь глубокое отчаяние овладело моим сердцем.

Какими неуместными кажутся здесь англичанки в своих вечерних туалетах, гул английской речи, журчащий смех! Как глубоко истинна для нас наша древняя Индия, как дешевы и фальшивы правила этикета английского званого обеда!

*Каттак,
март 1893 г.*

Если мы станем придавать слишком большое значение похвалам англичан, то лишимся многих наших добрых качеств, переняв взамен дурные.

Мы будем стыдиться ходить без носков, но перестанем смущаться, глядя на их бальные платья. Мы без зазрения совести станем выбрасывать за борт наши древние обычаи и соревноваться с англичанами в неучтивости. Мы перестанем носить наши ачканы, потому что они нуждаются в улучшении, но не колеблясь нахлобучим шляпы, хотя трудно придумать более безобразный головной убор.

Короче говоря, вольно или невольно, мы будем плясать под дудку их одобрения или неодобрения.

Поэтому я взываю к самому себе: «О глиняный горшок! Бога ради, держись подальше от чугунного горшка! Приходит ли он к тебе во гневе или для того, чтобы покровительственно похлопать тебя по плечу, ты обречен, ты разобьешься в любом случае. Поэтому прислушайся

к мудрому совету старика Эзопа, молю тебя, — и сторонись чугунного горшка. Пусть чугунный горшок украшает богатые дома, ты делай свое дело в домах бедняков. Если же тебя разобьют, тебе ни в тех, ни в других домах не будет места, ты просто обратишься в прах; или в лучшем случае тебя поставят где-нибудь среди безделушек в роскошном кабинете; пусть уж лучше тобой черпает воду последняя из крестьянок».

*Шилейда,
8 мая 1893 г.*

Поэзия — моя старая возлюбленная; я, должно быть, обручился с ней, когда мне еще было пять лет, как сейчас моему сыну Рати. Много лет назад укромные уголки под старым баньяном у нашего пруда, сады, недоступные покои нижнего этажа дома, весь необъятный мир, детские песенки и сказки, рассказываемые служанками, создали в моем воображении чудесную волшебную страну. Трудно объяснить все смутные и таинственные события того времени, но одно несомненно: моя помолвка с поэтической фантазией была отпразднована надлежащим образом.

Должен, однако, признать, что моя невеста отнюдь не из тех, что приносят счастье в дом. Своему избраннику она дарует, правда, некоторые радости, но зато лишает душевного покоя. Когда она милостива к нему, он может вкусить досыта блаженство, но кровь его сердца будет выжата до последней капли в ее безжалостных объятиях. Несчастному никогда не стать степенным и солидным человеком, одним из тех, кто занимает определенное положение в обществе.

Возможно, вольно или невольно, я совершал много ошибок, но ни одна фальшивая нота не прозвучала в моей поэзии — это святилище, в котором находят приют самые глубокие истины моей жизни.

*Шилейда,
10 мая 1893 г.*

Надвигаются темные набухшие массы туч. Точно гигантские листы промокательной бумаги, впитывают они жидкое золото солнечных лучей. Влажный, словно рыдающий, ветер предвещает близкий дождь.

Наверху, на пронзающих небо вершинах Симлы, вряд ли можно понять, как важен для этой местности приход туч, сколько людей радостно приветствуют их появление.

Я испытываю сильную нежность к нашим крестьянам — этим большим, беспомощным детям судьбы, которых надо собственноручно кормить, чтобы они не погибли. Когда груди матери-земли иссыхают, крестьяне растерянно плачут. Однако, насытившись, они сразу же забывают о прошедших страданиях.

Не знаю, осуществим ли социалистический идеал более равномерного распределения земных благ; если неосуществим, то воля провидения поистине жестока и человек по-настоящему несчастное создание. Пусть, если это неизбежно, в мире существует нищета, но ведь должна же остаться маленькая лазейка или хотя бы проблеск надежды, которая воодушевляла бы всех благородных людей на неустанную борьбу за облегчение народной доли.

Те, кто считает утопией такое распределение земных благ в мире, при котором каждому будет обеспечен минимум пищи и немного одежды, просто безжалостны. Все эти социальные проблемы трудноразрешимы. Уж очень жалким покрывалом наделила судьба человечество: если одна часть мира натянет его на себя, то другая останется голой. Устраняя нашу бедность, мы вместе с тем теряем наше богатство, а потеряв богатство, лишаемся целого мира милосердия, красоты и могущества.

Вот снова проглянуло солнце, хотя западный край неба все еще затянут тучами.

*Шилейда,
11 мая 1893 г.*

Есть у меня и другие радости. Иногда ко мне заходит кто-нибудь из наших старых крестьян. Уважение этих простых, преданных людей так чистосердечно! Насколько выше они в простоте и искренности своей почтительности, чем я. Пусть даже я недостоин их поклонения — чувства их все равно прекрасны.

К этим взрослым детям я отношусь с той же любовью, что и к маленьким. Только малые дети со временем повзрастают, а взрослые — никогда.

В их усталых и сморщенных лицах лучезарно сияет кроткая и простая душа. Малые дети тоже бесхитростны, но им несвойственно бездумное поклонение взрослых детей. Если бы души людей могли общаться с помощью скрытых токов, мои искренние благословения достигли бы их и, может быть, чем-то помогли.

Шилейда,
16 мая 1893 г.

Уже около часа брожу я по берегу реки, свежий и чистый после вечернего омовения. Потом я взбираюсь в новую лодку, бросаю якорь посреди реки, ложусь на койку, подвешенную на корме, и молча лежу на спине в темноте вечера. Маленький С. сидит рядом со мной и что-то щебечет. Небо все гуще и гуще усеивают звезды.

Каждый вечер все та же мысль возвращается ко мне: появлюсь ли я вновь на свет под этим усыпанным блестящими-звездами небом? Буду ли вновь ощущать мирный восторг этих чудесных ночей, на этой тихой бенгальской реке, в столь уединенном уголке мира?

Возможно, и нет. Я буду рожден совершенно другим, и далеко отсюда, и тогда грядущие вечера не захотят так доверчиво, так любяще, с таким самозабвением прильнуть к моей груди.

Как ни странно, больше всего я боюсь в следующем своем рождении оказаться в Европе! Ведь там уже нельзя будет лежать, как я лежу сегодня — лицом к лицу с бесконечностью мира. Праздности там не терпят. Родись я в Европе, я бы трудился до изнеможения где-нибудь на фабрике или в банке или же выступал в парламенте. Европейцы напоминают свои закованные в камень дороги: им приходится выдерживать большое бремя, они так же прямолинейны и очищены от грязи и так же требуют регулирования.

Я не могу объяснить точно, почему так люблю это ленивое, мечтательное, самоуглубленное и как бы парящее состояние души. Я чувствую себя ничуть не ниже самого занятого человека в мире, когда лежу здесь, в моей лодке. Напротив, углубись я в работу, я бы казался слабым по сравнению с этими могучими, словно наши предки, людьми.

Шилейда,
3 июля 1893 г.

Всю прошлую ночь ветер выл, как бездомный пес, а дождь лил не переставая. Вода с полей сбегает в реку бесчисленными бурлящими ручьями. Промокшие насквозь крестьяне едут на пароме, у некоторых на головах соломенные или бамбуковые шляпы, у других — листья батата. Мимо скользят большие баржи, у руля сидят мокрые кормчие, матросы идут по берегу и тянут канат. Птицы приютились во мраке своих гнезд, но человеческие сыновья — под открытым небом. Несмотря на ливень, они должны работать. Двое пастухов пасут стадо прямо перед моим плавучим домом. Коровы жадно жуют жвачку, головы их погружены в сочную траву, хвосты непрерывно отгоняют мух. Дождевые капли и палки пастухов падают на их спины с одинаково бессмысленной настойчивостью, а коровы с одинаково слепой покорностью терпят все это, продолжая жевать. Хрум, хрум, хрум. Глаза у коров такие нежные, любящие, печальные! Не понимаю, почему судьба взвалила все бремя людской работы на покорные спины этих больших ласковых животных.

Вода в реке поднимается все выше. То, что вчера я наблюдал с верхней палубы, сегодня уже можно увидеть из моей каюты. Мой кругозор расширяется с каждым утром. Еще совсем недавно около дальних деревень видны были только верхушки деревьев, похожие на темно-зеленые тучи. Сегодня виден уже весь лес.

Земля и вода постепенно приближаются друг к другу, как робкие влюбленные. Они уже почти преодолели свою застенчивость и скоро сольются в объятьях. С каким наслаждением я буду путешествовать по этой полной до краев реке в самом разгаре дождей. Мне уже не терпится дать приказ отчаливать.

Шилейда,
4 июля 1893 г.

Сегодня утром ненадолго показалось солнце. Вчера дождь перестал, но на краю неба сгрудилось столько туч, что нет никакой надежды на длительный перерыв.

Кажется, будто тяжелый ковер туч закатали с одной стороны, и в любой момент порывистый ветер может снова его раскатать, прикрыв синее небо и золотистый солнечный свет.

Какие запасы воды, должно быть, скопились на небе в этом году! Река уже залила поля, расположенные на отмелях, она грозит подняться выше ростков. Несчастные крестьяне в отчаянии срезают и увозят в лодках незрелый рис. Когда они проезжают мимо, я слышу, как они плачутся на свою судьбу. Невыносимо тяжело срезать рис перед самым его созревaniem. Единственная надежда, что часть зерен уже затвердела.

Судьба, очевидно, не лишена жалости, иначе мы вряд ли получили бы даже малую долю ее милостей. Правда, трудно понять, в чем проявляется эта жалость. Все глухи к воплям и стенаниям сотен тысяч этих кротких людей. Дождь продолжает лить, река поднимается, но никто не откликнется на прошение: помощи ждать неоткуда. Единственное утешение — повторять, что все происходящее выше понимания человека. И все-таки человеку необходимо знать, что на свете есть еще такие вещи, как жалость и справедливость.

Но не будем смотреть на все с мрачной стороны. Разум подсказывает нам, что мир, это творение бога, не может быть до конца счастлив. Пока он не завершен, он должен мириться с несовершенством и скорбью. Совершенства он достигнет в слиянии с богом. Но смеем ли мы в наших молитвах заходить столь далеко? Чем больше мы думаем об этом, тем чаще возвращаемся к исходному пункту. Для чего существует мир? До тех пор, пока мы не восстаем против него самого, бесполезно жаловаться на его спутника — горе.

*Шазадпур,
7 июля 1893 г.*

Деревенская жизнь течет не слишком быстро, но и не стоит на месте. Труд и отдых сопутствуют друг другу, шагая рука об руку. Паром снует от берега к берегу, по тропе идут путники с поднятыми зонтами; женщины моют рис на подносах из бамбука, которые они погружают в

воду. С узлами джута на головах на базар направляются крестьяне. Через равные промежутки слышатся звенящие удары: это двое мужчин раскалывают бревно. Под большим деревом плотник чинит опрокинутый ялик. По берегу канала бесцельно бродит дворняга. Коровы жуют свою жвачку после обильной трапезы; они лениво поводят ушами, отгоняют хвостами мух, и время от времени, когда осмелевшие вороны садятся им на спину, неторопливо мотают головой.

Монотонные удары топора дровосека или киянки плотника, всплески воды под веслами, веселые голоса играющих голых ребятишек, заунывная песня крестьянина и поскрипывание маслобойки — все эти звуки не являются диссонансом среди шелеста листьев и пенья птиц; они сливаются в единую мелодию, как бы исполняемую фантастическим оркестром с огромным и в то же время сдержанным пафосом.

*Шазадпур,
10 июля 1893 г.*

Единственное, что я могу сказать по поводу дискуссии о так называемых «молчаливых поэтах», это то, что она не имеет ничего общего с поэзией: и молчаливые и немолчаливые поэты могут обладать равной силой чувства. Но поэзия не относится к области чувств, главное в ней — созидание формы. Идеи обретают зримую форму благодаря какой-то скрытой, тонкой работе, идущей внутри поэта. Эта творческая сила и есть источник поэзии. Восприятия, чувства или язык — это только сырье. Один человек может быть наделен чувством, другой даром речи, а третий и тем и другим; но поэт лишь тот, кто обладает еще и творческим гением.

*Патисар,
13 августа 1893 г.*

На пути через били к Калиграму у меня окончательно сформировалась одна мысль. Нельзя сказать, что мысль эта новая, но иногда и старые идеи поражают с новой силой.

Вода теряет свою красоту, когда выходит из берегов и расплывается в однообразной шире. В языке есть свои берега — это ритм, он придает языку красоту и своеобразие. Так же, как берега придают своеобразие каждой реке, так и ритм превращает каждый стих в индивидуальное творение; а проза подобна расплывчатому, безликому билью. Кроме того, воды реки движутся вперед; вода в билье лишь растекается по сторонам. Только тесные оковы ритма смогут придать языку силу, иначе он будет расползаться в стороны и ни на шаг не продвинется вперед.

Деревенские жители называют эти били «немой водою»: у них нет языка, им незнакомо самовыражение. Как непрерывно журчит река, так должно петь в стихотворении каждое слово; «немые слова» не нужны. Таким образом, узы необходимы не только для красоты формы, движения и музыки, но и для силы звучания.

Поэзия добровольно отдается во власть ритма, но не в угоду слепой привычке, а потому, что находит радость в движении. Глупцы, которые считают ритм чем-то вроде словесной гимнастики или жонглирования, с помощью которых можно завоевать восхищение толпы, глубоко заблуждаются. Ритм так же естествен, как все прекрасное во вселенной. Как берега придают энергию течению, так и определенный ритм придает силу звучанию стиха. Расплывчатая проза не может воздействовать на умы людей так, как стихи.

Эта мысль стала для меня предельно ясной, когда я плыл на лодке то из реки в биль, то обратно в реку.

*Патисар,
26 августа 1893 г.*

Недавно я понял, что мужчина — творение полузаконченное, а женщина — совершенное.

Есть какая-то цельность и последовательность в манерах, обычаях, речи и украшениях женщины. И это естественно. В течение веков природа предназначала ей все ту же определенную роль и приспособлявала ее для этой роли. Никакие катаклизмы, никакие революции, никакие изменения общественных идеалов не смогли отвлечь жен-

щину от выполнения ее особых обязанностей. Она любила, ухаживала, ласкала и не делала ничего другого; и совершенство, которого она достигла в этом, пронизывает все ее существо. Ее стремления и поступки неотделимы друг от друга, как аромат от цветка. Вот почему женщине не присущи ни сомнения, ни колебания.

Зато в характере мужчины много неровностей. На него наложили отпечаток многие обстоятельства и силы. Поэтому один мужчина наделен огромным лбом, другой — выдающимся в обоих смыслах этого слова носом, а третий — слишком массивным подбородком. Если бы мужчина обладал хотя бы одним преимуществом: упорством в достижении цели, природа одарила бы его четко оформленным характером; он действовал бы просто и естественно, без таких судорожных усилий. Его поведение не отличалось бы тайной сложностью; и он не был бы так восприимчив к воздействию внешних влияний.

Женщина была создана для материнства. У мужчины нет такого четкого предназначения, поэтому он не может достичь такой же совершенной красоты.

*Патисар,
19 февраля 1894 г.*

У нас есть два слона, которые пасутся на берегу. Я с интересом наблюдаю за тем, как, несколько раз топнув ногой по земле и хоботом захватив траву, они выдергивают огромный кусок дерна, корней, почвы и размахивают им до тех пор, пока не осыплется земля; затем они отправляют все это в рот и съедают. Иногда они вдруг втягивают пыль в свой хобот и затем с фырканием посыпают себя с головы до ног, совершая свой слоновий туалет.

Я с удовольствием смотрю на этих животных-переростков, на их огромные тела, нескладные формы, любуюсь их необычайной силой и безобидностью. Сами их размеры и неуклюжесть вызывают во мне нечто вроде нежности — в их громоздких телах есть какая-то инфантильность. Помимо того, у них большие сердца. В ярости они страшны, зато, когда успокаиваются, они — сама кротость.

Неуклюжесть в сочетании с громадностью скорее привлекает, чем отталкивает.

*Патисар,
27 февраля 1894 г.*

Небо то хмурится, то вновь проясняется. От легких порывов ветра судно лениво поскрипывает и стонет. День тянется медленно.

Сейчас половина второго. Наслаждаясь этим деревенским полднем, кряканьем уток, любуясь быстро бегущими лодками, прислушиваясь к плеску белья, которое стирают купальщики, отдаленным крикам погонщиков, перегоняющих скот вброд, — трудно представить себе уныло размеренную жизнь среди столов и стульев в Калькутте.

Калькутта столь же скучно пристойна, как правительственная канцелярия. Каждый ее день подобен новенькой монете, аккуратно отчеканенной и сверкающей. Увы! Как убийственно скупы эти дни, похожие один на другой как две капли воды, безусловно респектабельные.

Здесь я избавился, наконец, от требований моего круга и не чувствую себя больше заводным механизмом. Здесь каждый день принадлежит мне самому. Спокойно размышляя, брожу я по полям, не ограниченный ни пространством, ни временем. В небе, на земле и на воде постепенно сгущается вечерняя мгла, а я все иду, низко склонив голову.

*Патисар,
22 марта 1894 г.*

Я сидел у окна в своем плавучем доме и смотрел на реку, как вдруг заметил какую-то странную птицу. Она плыла к противоположному берегу, стараясь ускользнуть от своих шумных преследователей. Оказалось, что это домашняя птица, которая выпрыгнула за борт и тем самым избежала неминуемой казни. Гонимая отчаянием, она уже почти достигла берега, когда неумолимые преследователи схватили ее за шейку и с триумфом вернули в лодку. После этого я сказал повару, что не хочу на обед мяса.

Я должен отказаться от животной пищи. Мы пожираем плоть только потому, что не сознаем, сколь греховное и жестокое дело совершаем. Есть вещи, которые принято считать преступными, — это нарушение обычаев, привычек, традиций. Жестокость не относится к такого

рода преступлениям. Это грех непрощаемый; он не заслуживает никакого снисхождения. Если только мы не позволим своему сердцу зачерстветь, оно всегда будет восставать против жестокости; и тем не менее мы продолжаем совершать жестокости легко и весело — все мы, без исключения; тот же, кто поступает иначе, слывет чудаком.

До чего же узко мы понимаем грех! Мне кажется, что превыше всех заповедей должна стать жалость к живым существам. В основе всякой религии должна быть любовь. На днях я прочитал в английской газете, что в какой-то африканский гарнизон было отправлено 50 000 фунтов мяса, но по прибытии оно было признано испорченным и возвращено отправителю в Портсмут, где было продано на аукционе за несколько фунтов стерлингов. Какое ужасное истребление жизни! Какое равнодушие к ее истинной ценности! Сколько живых существ приносят в жертву лишь для того, чтобы украсить на званом обеде блюда, большую часть которых уносят со стола нетронутыми!

До тех пор, пока мы не осознаем собственной жестокости, нас нельзя в ней упрекать. Но мы оскорбляем все, что в нас есть хорошего, когда чувствуем жалость, но стараемся подавить ее в себе для того только, чтобы не отличаться от других. Попробую стать вегетарианцем.

*Патисар,
28 марта 1894 г.*

Здесь становится, пожалуй, жарко, но это меня не очень беспокоит. Свистит горячий ветер. Он то и дело останавливается, начинает кружиться на месте, а затем, приплясывая, удаляется, волоча за собой шлейф из пыли, песка, сухих листьев и веточек.

Сегодня утром, однако, было совсем холодно, почти как зимой. Во всяком случае, я не чувствовал слишком большого энтузиазма, совершая омовение. Так трудно предугадать, какие перемены произойдут в этом великом мире природы. Обнаруживается какая-то скрытая причина — и все окружающее сразу становится неузнаваемым.

Ум человека так же неисповедим, как природа, — это пришло мне в голову вчера. Чудесные процессы происходят

в наших артериях, венах и нервах, в головном и костном мозгу. Текут потоки крови, вибрируют нервные струны, мышцы сердца сжимаются и разжимаются, и времена года в человеческой жизни сменяют одно другое. Какие ветры подуют в следующий момент, когда и с какой стороны света — об этом мы ничего не знаем.

Бывают дни, когда я уверен, что все идет превосходно. Я чувствую себя достаточно сильным, чтобы перешагнуть через все горести и испытания мира. И я спокоен, как будто бы у меня в кармане надежно спрятана программа на все остальные дни моей жизни.

Но вот на следующий день подул противный ветер, вырвавшийся из какого-то неведомого ада, небо приняло грозный вид, и я начинаю сомневаться, смогу ли выдержать бурю. И все потому, что в каком-нибудь кровеносном сосуде или нервном волокне что-то испортилось, и все мои силы и разум как будто покидают меня.

Эта тайна, скрытая внутри, пугает меня. Я уже с недоверием отношусь к разговорам о том, что я сделаю или чего не сделаю. Почему она во мне, эта глубокая тайна? Я не могу ни разгадать ее, ни ею управлять. Не знаю, к чему она может привести меня, не знаю, к чему приведу ее я. Я не могу понять, что происходит, никто не спрашивает меня о том, что должно произойти, тем не менее мне приходится изображать из себя хозяина и прикидываться, будто действую я сам.

Я чувствую себя живым фортепьяно со множеством струн и сложным механизмом внутри. Я не знаю, кто играет на фортепьяно, и могу только догадываться, почему на нем играют. Я знаю только, что именно играют, какой мотив, веселый или печальный, с диезами или бемолями, выдерживается или не выдерживается такт, играют в скрипичном ключе или в басовом. Но знаю ли я в действительности даже это?

*Патисар,
30 марта 1894 г.*

Порой я думаю о том, что в долгих жизненных странствиях мне неизбежно встретятся многочисленные горести, и тогда я напрягаю всю свою волю, чтобы не пасть

духом. По вечерам, когда я сижу в одиночестве и смотрю на пламя лампы, я даю себе клятву быть непреклонным, молчаливым, безропотным, как и подобает смелому человеку. Решимость переполняет меня до краев, какое-то время я чувствую себя по-настоящему храбрым. Но стоит мне напороться на придорожные тернии, как я корчусь от боли и мною овладевают дурные предчувствия. И снова жизненный путь начинает казаться мне чересчур долгим, а силы мои слишком слабыми, чтобы одолеть его.

Впрочем, этот пример не очень убедителен, так как именно малые тернии причиняют самую острую боль. Умственное хозяйство надо вести экономно и тратить ровно столько, сколько необходимо. Нельзя расточать богатство сил на всякие пустяки, его надо строго беречь на случай какой-нибудь грозной беды. Плач и вопли из-за небольших огорчений не вызывают отклика в душе. Зато когда горе достигает наибольшей глубины, нет предела усилиям человеческой воли. Утешение прорывается наружу, бьет ключом и все силы терпения и мужества сливаются воедино, чтобы выполнить свой долг. Таким образом, великие страдания рождают великое терпение.

Не одна только жажда наслаждений свойственна человеку, ему свойственно также стремление к самопожертвованию. И когда в первом своем стремлении человек познает разочарование, второе проявляется с удвоенной силой, и тогда душа наполняется великим энтузиазмом. Мы робеем перед мелкими неприятностями, но великие беды делают нас храбрыми, пробуждая истинное мужество. В этом и заключена радость.

Утверждение, что и в горе есть радость, — не пустой парадокс, оно так же справедливо, как и то, что в наслаждении есть горечь разочарования; нетрудно понять, почему это так.

*Шилейда,
24 июня 1894 г.*

Я здесь всего четыре дня, но потерял счет часам, и время это кажется бесконечно долгим. Если бы мне надо было вернуться сегодня к Калькутту, я бы, наверное, обнаружил, что там многое изменилось. У меня такое

чувство, словно поток времени течет мимо и я даже не подозреваю, как мир вокруг меня постепенно меняется.

Ведь здесь, вдали от Калькутты, я живу в моем собственном внутреннем мире, где часы идут по своему особому времени, а время измеряется только силой чувств; в этом мире не считают минут, мгновения здесь превращаются в часы, часы в мгновения. Поэтому мне кажется, что измерения времени и пространства иллюзорны, они существуют лишь в нашем сознании. Каждый атом неизмерим, каждое мгновение беспрельдно.

Есть старая персидская сказка, которая мне очень нравилась, когда я читал ее в детстве. Мне кажется, я и тогда понимал, что в ней главное, хотя был совсем ребенком. Чтобы показать, как обманчиво время, факир наполнил огромный котел волшебной водою и предложил шаху погрузиться в нее. Едва шах сунул голову в воду, как очутился в какой-то чужедальной стране на берегу моря, где провел долгие годы. Много событий произошло с ним за это время. Он женился, у него родились дети, потом жена его и дети умерли, он потерял все свое богатство, и когда он уже совсем было изнемог от страданий, он вдруг снова оказался в своих покоях, окруженный придворными. Когда он стал обвинять факира в своих злоключениях, придворные изумились: «Но, повелитель, вы только изволили окунуть свою голову и тотчас вытащили ее».

Так и вся наша жизнь, с ее радостями и печальми, длится лишь мгновение. Мы можем считать ее долгой и трудной, но стоит нам выйти из волшебных вод мира, как все, что с нами случилось, начинает казаться мгновенным сном.

*Шилейда,
9 августа 1894 г.*

Сегодня я видел, как течение уносило мертвую птицу. Нетрудно угадать, как она погибла. У нее было гнездо на одном из манговых деревьев на краю деревни. Вечером она вернулась домой, чтобы среди своих мягкоперых товарок освежить сном усталое тело. Вдруг ночью, на своем ложе, взволновалась могучая Падма и вырвала ман-

говое дерево с корнями. Крошечное существо упало в воду и проснулось лишь на мгновение перед тем, как вновь уснуть, на этот раз уже вечным сном.

Когда я оказываюсь перед лицом ужасной тайны все-разрушающей природы, различия между мною и другими живыми существами кажутся мне столь незначительными. В городе человеческое общество заслоняет собой все остальное и принимает поэтому преувеличенные размеры; занятое прежде всего своей судьбой, оно жестоко и бессердечно к другим существам.

В Европе, то же самое, человек господствует над всем. Его сложная натура не терпит примитивности. Животное для него — просто животное. Индийцам идея переселения души из животного в человека и, наоборот, из человека в животное не кажется странной, поэтому из наших священных книг не изгнана жалость ко всем живым существам.

Когда я живу в деревне, в тесном соприкосновении с природой, во мне просыпается индеец, и я не могу оставаться холодным и равнодушным к радости жизни, трепещущей в мягкой, покрытой пухом груди каждой, даже самой маленькой, птички.

*Шилейда,
10 августа 1894 г.*

Ночью я проснулся от громкого плеска: река разволновалась и, очевидно, вышла из берегов; в период дождей это довольно частое явление. Стоишь на палубе, и ноги твои начинают ощущать действие каких-то сил внизу. То легкая дрожь, то плавное покачивание, то слабое волнение — и вдруг резкий рывок; я как будто чувствую, как бьется пульс реки.

Должно быть, ночью случилось что-то, от чего река резко убыстрила свой ход. Я встал с постели и сел у окна. В ночном призрачном свете река казалась еще более неистовой, чем обычно. По небу плыли тучи. Узкая полоска на воде — отражение яркой звезды — дрожала, словно от боли. В тумане смутно проступали спящие берега, и между ними, в бессоннице, мчался безумный поток — все вперед и вперед.

Когда видишь такую картину среди ночи, какое-то странное чувство охватывает тебя, и кажется, будто дневная жизнь — всего лишь иллюзия. Но вот наступает утро, и этот ночной мир тает в прозрачном воздухе, словно исчезая в какой-то сказочной стране. Оба эти мира, такие разные, истинны для человека.

Дневной мир кажется мне европейской музыкой — его диссонансы всегда разрешаются в консонансе, следуя великим законам гармонии. Ночной мир подобен индийской музыке — с ее чистой, свободной мелодией, такой задумчивой и печальной. Сколь бы ни был разителен контраст между ними — обе они трогают нас. Это единение противоречий лежит у самих истоков творения, которое подвластно и царю и царице — и дню и ночи, и единому и разнообразному, и вечному и преходящему.

Мы, индийцы, — во власти ночи. Мы погружены в Вечное, в Единое. Наши мелодии нужно петь наедине с собой; они уносят из будничной жизни в пустынные дали одиночества. Европейская музыка предназначена для многих людей. Она, будто танцуя, ведет их сквозь печали.

Шилейда,

13 августа 1894 г.

Все, что я истинно чувствую, думаю, сознаю, — естественно находит свое истинное выражение. Какая-то сила непрерывно толкает меня к этой цели, эта сила не только во мне, вся вселенная наполнена ею. И вот, когда эта всемирная сила проявляется в отдельном человеке, она выходит из-под его власти и действует как бы по собственному разумению. Величайшая радость — подчинить свою жизнь ее могуществу. В ней мы находим не только свое выражение, но и обретаем чувствительность и любовь, — это постоянно обновляет наши чувства, делает их столь удивительными.

Мое восхищение маленькой дочкой растворяется в первоначальной тайне радости, имя которой Вселенная; и в моих ласках проявляется поклонение. Я уверен, что наша любовь не что иное, как поклонение Великой Тай-

не, только совершаем мы его бессознательно. Иначе любовь была бы бессмысленна.

Подобно закону всемирного тяготения, который равно управляет и малым и большим в материальном мире, притяжение этой всемирной радости проявляется через наш внутренний мир и вводит в заблуждение наш разум, поскольку мы ощущаем это притяжение лишь частично. Единственное разумное объяснение, почему мы находим радость в человеке и природе, дано в «Упанишадах»: «Ибо из радости родилось все живое».

Шилейда,

19 августа 1894 г.

Веданта, по-видимому, помогает многим освободиться от сомнений по поводу вселенной и первопричины ее возникновения, но мои сомнения так и остались не рассеянными. Веданта, действительно, гораздо проще большинства теорий. Проблема творения и творца намного сложнее, чем это кажется с первого взгляда; но веданта, несомненно, упростила ее наполовину, совсем обойдя вопрос о творении.

Существует только Брахма, а все мы существуем лишь в собственном воображении, — удивительно, как могла в нашем сознании возникнуть подобная мысль. И еще более удивительно, что эта мысль вовсе не так пелепа, как это кажется поначалу, и что куда труднее доказать, что вообще что-либо существует.

Во всяком случае, в такие моменты, как сейчас, когда луна высоко поднялась, а я лежу с полужакрытыми глазами на верхней палубе и мягкий ветерок охлаждает мою измученную мыслями голову, тогда земля, воды и небо вокруг, нежная рябь на реке, случайный путник, проходящий по берегу, изредка скользящий по реке челнок, деревья, расплывающиеся в лунном свете, сонная деревня вдали, окаймленная темными тенями рощ, — все это хотя и кажется иллюзией — майей, однако не рассыпается в прах и говорит сердцу и разуму гораздо больше, чем сама истина, которая представляет собой абстракцию. Естественно, что перестаешь понимать, почему расставание с этим миром может принести вечное блаженство.

*Шазадпур,
5 сентября 1894 г.*

Я сознаю, как сильно душа моя жаждет простора, и я утоляю эту жажду в комнатах, где властвую подобно самодержавному монарху: распахнув настежь все двери и окна. Здесь, как нигде, меня охватывает желание писать и, как нигде, я могу осуществить это желание. Окружающая жизнь вливает в меня волны свежести, а ее свет, аромат и звуки побуждают мое воображение к творчеству, и я пишу рассказы.

Дни здесь имеют какое-то свое особое очарование. Сияние солнца, тишина, одиночество, птичьи крики, особенно карканье ворон, и восхитительная беззаботность — все это неотразимо привлекает меня.

Кажется, именно в такие дни и родились «Сказки тысячи и одной ночи» — где-нибудь в Дамаске, Бухаре или Самарканде. Так отчетливо представляешь себе караваны, бредущие через пустыню, всадников, кристальные родники под тенью перистых финиковых рощ; розовые кусты, и пение соловья, и ширазские вина; узкие торговые улочки с пестрыми навесами, людей в свободно спадающих одеяниях и разноцветных тюрбанах, торгующих финиками, орехами и дынями; дворцы, пропитанные фимиамами, полные роскошных диванов, покрытых кинкобами и подушками у окон; Зобедия, или Амина, или Зульфия в яркой куртке, шальварах и расшитых золотом туфлях, с длинной трубкой кальяна, змеей извивающейся у ее ног, евнухов в пышных ливреях на страже и все возможные и невозможные сказания о человеческих деяниях и желаниях; и смех, и плач этих далеких таинственных земель.

*По пути в Дигхапатию,
20 сентября 1894 г.*

Вода залила стволы деревьев, видны только их зеленые кроны. Лодки привязаны в тенистых рощах манговых и других деревьев, скрываясь за ними, люди совершают омовение. Здесь и там среди воды стоят хижины, их внутренние дворы затопило,

Наша лодка прокладывает свой путь через рисовые поля. То, что раньше было прудом, теперь едва можно узнать по скоплению водяных лилий и птице, преследующей рыбу.

Вода — везде, куда только могла проникнуть. Никогда еще я не наблюдал столь полного поражения суши. Еще немного — и вода ворвется в хижины, тогда жителям придется соорудить мачаны, чтобы как-то пережить наводнение. Если коровы все время будут стоять по колено в воде, они погибнут. Змеи, вместе с другими бездомными пресмыкающимися и насекомыми, покинули свои норы и, временно примирившись с человеком, приютились на соломенной крыше хижины.

В воде гниют растения, плавают всякие отбросы, плещаются голые детишки с худенькими руками и ногами и раздувшимися животами, терпеливые страдалицы-женщины в своих влажных одеждах, отданные во власть ветра и дождя, бредут по воде с подоткнутыми сари, выполняя свою ежедневную работу. И надо всем этим густая пелена москитов, парящих в воздухе, — такая картина вряд ли может доставить удовольствие.

В каждом доме поселились простуда, лихорадка, ревматизм. Непрерывно плачут больные малярией дети: им нет спасения. Как могут люди жить среди всего этого ужаса, нищеты и болезней? Но мы привыкли терпеливо сносить все: неистовства природы, тиранию властителей и гнет шаштр, против которых мы не можем возразить ни слова, хотя они обрекли нас на вечные муки.

*По пути в Боалию,
22 сентября 1894 г.*

Странно, когда тебе напоминают, что это только тридцать вторая осень в твоей жизни; ведь моя память как будто перенеслась в туманную глубь веков, и когда мой внутренний мир наводняется светом, ясным, как безоблачное осеннее утро, мне кажется, я сижу у окна какого-то волшебного замка и восторженно гляжу на картины далеких воспоминаний, успокаиваемый нежным ветерком, напоенным едва уловимым ароматом прошлого.

На смертном одре Гете воскликнул: «Больше света!» Если я, уходя из этой жизни, буду в состоянии чего-либо желать, то непременно добавлю к его словам: «И простора!» Ведь я горячо люблю и свет, и простор. Некоторые с пренебрежением относятся к Бенгалии, потому что она расположена на равнине, но тем дороже мне красота ее природы. Ее ничем не ограниченное небо, подобное аметистовой чаше, до краев заполнено нисходящими сумерками и вечерним покоем; и ничто не мешает золотому покрывалу тихого молчаливого полудня окутывать собою ее бескрайнюю ширь.

Где еще вы найдете край, более прекрасный для души и для глаз?

*Калькутта,
5 октября 1894 г.*

Завтра праздник Дурги. Когда сегодня я шел к С., то заметил, что почти в каждом большом доме вылепливают статуи богини. И мне подумалось, что на эти несколько дней праздника старики и молодые становятся детьми.

Ведь все приготовления к празднику — не больше чем детская забава. Человек со стороны может считать их расточительством, но как назвать бесполезным то, что поднимает такую волну чувств по всему краю? Даже самых сухих здравомыслящих людей увлекает поток чувств, в котором тонут эгоистичные интересы.

Так, каждый год, наступает время, когда всякий человек готов лить слезы, любить, быть милосердным. Песни приветствия и прощания с богиней, встречи возлюбленных, звуки праздничных труб, прозрачное небо и расплавленное золото осени — все это сливается в великий радостный гимн.

Самая чистая радость — это радость ребенка. Всякую безделицу он может поселить в увлекательном мире, созданном его фантазией, своим воображением он может вдохнуть красоту в самую безобразную куклу и заставить ее жить его жизнью. Кто, став взрослым, сохранил эту способность, тот истинный идеалист. Вещи он не только увидит глазами или услышит ухом, он почувствует их

сердцем, и потому пятна с этих вещей смываются радостной музыкой, которая звучит в нем.

Не каждый в силах стать идеалистом, но по праздникам все без исключения люди максимально приближаются к этой желанной цели. И то, что в обычное время может показаться лишь забавой, теряет свою ограниченность и ярко сияет, окруженное ореолом идеала.

*Боллур,
19 октября 1894 г.*

Мы знаем только пунктирные контуры людей, с промежутками в нашем знании, которые мы, так сказать, должны заполнить сами, по своему разумению. Таким образом, даже те, кого мы как будто хорошо знаем, в большинстве случаев созданы нашим воображением. Иногда расстояния между отдельными черточками чересчур велики, не хватает даже основных точек, тогда часть портрета остается темной и неопределенной. И если даже близкие друзья представляют собой лишь отрывки прерывистой линии, нанизанные на нить нашего воображения, то знаем ли мы вообще кого-либо по-настоящему, и знает ли кто-нибудь нас самих иначе, чем в таком расчлененном виде? Но, возможно, именно эти лазейки, позволяющие пробраться в воображение друг друга, и создают тесную дружбу, в противном случае каждый, уверенный в непроницаемости своей личности, был бы недоступен для всех, кроме того, кто обитает в его душе.

Свое собственное «я» мы тоже знаем лишь частично и тоже с помощью воображения из этих лоскутков материала должны создать героя повести нашей жизни. Судьба умышленно не дала нам все части, чтобы мы вносили свою долю в создание самих себя.

*Боллур,
31 октября 1894 г.*

Сегодня впервые подул северный пронизывающий ветер, и кажется, будто рожи амолоки посетил сборщик налогов — все вокруг вздыхает, дрожит, блекнет.

В густой тени верхушек манговых деревьев слышится однозвучное воркованье голубей. Над миром, погружен-

ным в полдневную дремоту, устало сияет солнце; в его спокойном сиянии мне чудится что-то печальное, возвещающее близкую разлуку.

Тиканье часов на моем столе и легкое топотанье белок по комнате гармонично сочетаются со всеми другими звуками полудня.

Меня забавляют эти мягкие, в серо-черную полоску, зверьки, покрытые мехом, с их пушистыми хвостами и бусинками глаз, с их легкостью и в то же время необычайной практичностью. Все съедобное надо прятать в покрытый проволочной сеткой буфет в углу. Он надежно защищен от этих жадных зверюшек. Так, шныряя, они с неослабной энергией обнюхивают буфет со всех сторон, пытаюсь найти какую-нибудь лазейку. Если зернышко или корочка выпадут наружу, они непременно найдут их и будут грызть, поворачивая в передних лапках. При малейшем моем движении белки, подняв хвосты, мчатся прочь, но только для того, чтобы на полдороге остановиться, подвернуть под себя хвост, усесться на циновке у дверей, почесывая за ухом задней лапкой, а затем возвратиться.

В течение всего дня не смолкают эти негромкие звуки: зубы грызут, лапки топчут, на полках звенит фарфор.

*Шилейда,
7 декабря 1894 г.*

Когда я брожу по залитым лунным светом пескам, ко мне обычно подходит для делового разговора С.

Он пришел вчера вечером. И лишь после его ухода, когда на меня снизошла тишина, я ощутил в вечернем отсвете близость вечной вселенной. Пустой болтовни одного человека достаточно, чтобы скрыть ее проявление.

Как только смолкло журчание слов, покой звезд до края наполнил мое сердце. Я устроился в уголке, любясь миллионом сияющих миров, великим таинственным конклавом всего сущего.

Чтобы приобщиться к спокойствию мира, я должен был выйти рано вечером, еще до появления С. с его надоедливими расспросами о том, не расстроился ли мой желудок от молока и закончил ли я просматривать годовой отчет.

Странно наше положение в мире — между Вечным и Эфемерным! Малейшее упоминание о желудке звучит совершенно неуместно, когда ты занят духовными вопросами, и тем не менее душа и желудок уже долгое время живут в согласии. Лунный свет, падающий на мою земельную собственность, как бы говорит, что мое поместье — иллюзия, но мое поместье утверждает противное. Этот лунный свет — лишь пустота, — говорит оно. Что же касается меня, бедного, то я не знаю, с кем из них согласиться,

*Шилейда,
23 февраля 1895 г.*

Когда я хочу написать что-нибудь для журнала «Шадхона», мысли мои разбегаются. Я смотрю на каждую проплывающую лодку и не спускаю глаз с парома, снующего между берегами. А вон там, неподалеку от нашего плавающего дома, пасется стадо буйволов. Они то и дело погружают свои морды в траву, чтобы вырвать пучок и отправить его в рот, а затем жуют жвачку, тяжело отдуваясь и сгоняя мух со спины хвостами.

Вдруг на сцене появляется голый человеческий детеныш, он щелкает языком и тычет терпеливое животное палкой. Буйвол глядит краешком глаза на него и, захватывая по пути пучки листьев и травы, лениво передвигается на несколько шагов. А постреленок считает, что свой долг пастуха он выполнил.

Я не способен постичь тайну психологии мальчишки-пастуха. Стоит корове или буйволу выбрать местечко поудобнее, как пастушонок тотчас гонит их дальше; зачем — я не могу понять. Возможно, он утверждает свою власть, власть человека-хозяина, сумевшего укротить могучее животное. Во всяком случае, я очень люблю наблюдать за буйволами, пасущимися в высокой траве.

Но я собирался сказать совсем не то. Я хотел объяснить, почему малейший пустяк отвлекает меня от моего долга по отношению к «Шадхоне». В одном из последних писем я писал вам о шмелях, которые с бессмысленным жужжанием кружатся надо мной и так усердно, будто чего-то ищут.

Они появляются каждое утро в девять или десять часов, стремительно бросаются на мой стол, залетают под мою конторку, ударяются о цветные стекла в окне и затем, описав несколько кругов над моей головой, с жужжанием исчезают.

Я мог бы предположить, что это духи умерших снова и снова возвращаются в наш мир, гонимые каким-то неудовлетворенным желанием, и мимоходом навещают меня. Но ничего подобного мне не приходит в голову. Я уверен, что это настоящие шмели, называемые по-санскритски «медососами», а по-научному двуххоботными.

*Шилейда,
16 февраля 1895 г.*

Наша жизнь распадается на бесчисленное множество мгновений, и все же она такая короткая, что размышление может охватить всю ее за два часа.

После тридцати лет напряженной жизни Шелли смог дать материал всего для двух томов биографии, где значительное место занимает болтовня Даудена. Тридцать лет моей жизни не заполняют даже одного тома.

Как суматошлива, при всей своей краткости, наша жизнь. Сколько земли надо, чтобы пропитать ее, сколько товаров, чтобы удовлетворить ее нужды! Человек помещается на небольшом стуле, но он занимает весь мир. И все же, после того как он умирает, вся его жизнь уместается в двухчасовое размышление или в несколько страниц письма.

Какую ничтожную часть нескольких страниц, составляющих мою жизнь, займет этот ленивый день! Но разве этот мирный день, проведенный на пустынных песках у тихой реки, не оставит отчетливой золотой пометы на свитке моего вечного прошлого и вечного будущего?

*Шилейда,
28 февраля 1895 г.*

Сегодня я получил анонимное письмо, которое начинается:

«Принести себя к стопам другого — не лучший ли это из всех даров?»

Автор письма никогда не видел меня, но знает меня по моим книгам, и продолжает:

«Сколь ни был бы он ничтожен или далек, почитатель солнца вкушает свою долю солнечного света. Вы поэт всего мира, но мне кажется, что вы мой собственный поэт!»

И еще многое в том же духе.

Человек так жаждет принести в дар свою любовь, что, в конце концов, влюбляется в свой собственный идеал. Но почему мы считаем, что идея менее истинна, чем реальность? Мы никогда не можем удостовериться в истинности подсознания. Почему же мы должны сомневаться в сущности, скрывающейся в идеях, порожденных разумом?

Мать видит в своем ребенке великую идею, которая есть в каждом ребенке, но ее невыразимость, однако, не открывается никому другому. Должны ли мы сказать, что сила, движущая самой жизнью и душой матери, иллюзорна, а то, что не может увлечь нас остальных в той же степени, — подлинная реальность?

Каждый человек достоин бесконечного богатства любви — красота его души беспредельна... Но я впадаю в общие рассуждения. Я лишь хотел сказать, что не вправе принять этот дар сердца моего почитателя; если бы он видел меня в моем будничном облики, его чувства не выдержали бы соприкосновения с реальностью. Но если взглянуть на это с другой точки зрения, то я, пожалуй, достоин такого и даже большего почитания.

*По пути в Пабну,
9 июля 1895 г.*

Я скольжу по этой малой извилистой Ичамати, речке, рожденной сезоном дождей. По берегам тянутся деревни, джутовые поля и заросли сахарного тростника, зеленые откосы, как будто нарочно созданные для купальщиков, — все это — как стихотворение, которое повторяешь часто и с наслаждением. Нельзя запечатлеть в памяти большую реку, такую, как Падма, но эту маленькую блуждающую Ичамати, чей поток подчиняется ритму дождей, я постоянно выучиваю наизусть...

Смеркается, небо потемнело от туч. Слышны прерывистые раскаты грома, который пронзает их насквозь. Глубь бамбуковой чащи кажется черной, как чернила. Бледные сумерки, отражающиеся в воде, словно возвещают какое-то таинственное событие.

Я склоняюсь в полутьме над столом, чтобы дописать это письмо. Мне хочется найти тихие, душевные слова, сочетающиеся с полумраком. Но подобные желания не рожают энергии. Они либо исполняются сами по себе, либо вообще не исполняются. Вот почему легко воодушевиться на жестокую битву, но трудно подготовиться к пустому незначительному разговору.

*Шилейда,
14 августа 1895 г.*

В работе есть нечто такое, что заставляет обращать меньше внимания на свои радости и печали или даже совсем пренебречь ими. Я вспомнил об одном случае, который произошел вблизи Шазадпура. Однажды утром мой слуга запоздал, и я был очень раздосадован. Он предстал передо мной со своим обычным поклоном и, запинаясь, объяснил, что ночью умерла его восьмилетняя дочь. После этого он взял тряпку и стал стирать пыль.

Мы видим, как одни трудятся над своим ремеслом, другие возделывают землю или переносят тяжести, а в это время где-то внизу течет невидимая река, несущая смерть, горести и утраты, — в ее уединение никто не вторгается. Но если бы эта река вырвалась наружу, то всякая работа тотчас же прекратилась бы. Над этой подземной рекой проложен твердый путь, по которому громяхают поезда долга, нагруженные людьми. Поезда останавливаются не по нашему желанию, а только на определенных станциях. И, быть может, ничто так не утешительно для нас, как эта жестокость.

*Куштия,
5 октября 1895 г.*

Религия, которая приходит к нам, так сказать, снаружи, из священных писаний, никогда не станет по-настоящему нашей. В этом случае единственной силой,

связующей нас с религией, является сила привычки. Сделать так, чтобы религия родилась изнутри, — великая задача человеческой жизни. Религия должна появиться на свет в отчаянных муках, страданиях; она должна омыться кровью; и тогда, принесет она счастье или не принесет, путь человека окончится радостью свершения.

Мы редко осознаем, насколько ложно для нас то, что мы слышим из чужих уст или повторяем своими, в то время как храм истины непрестанно воздвигается внутри нас, кирпич за кирпичом. Мы никогда не разгадаем тайны этого вечного созидания, если будем рассматривать наши радости и печали сами по себе, вне связи с быстротечным временем; так любая фраза станет непонятной, если произносить слова по слогам.

Когда же, наконец, мы постигаем единство этого созидания внутри нас, мы осознаем и нашу связь с вечно развивающейся вселенной. Мы осознаем, что находимся в процессе сотворения, так же как и сверкающие небесные миры, вращающиеся по своим орбитам, — и тогда наши желания и наши муки находят себе надлежащее место, частное вливается в целое.

Мы можем точно и не знать, что происходит: ведь мы не знаем точно даже о пылинке. Но когда мы чувствуем, что поток жизни внутри нас связан с жизнью вне нас, тогда мы понимаем, что все наши наслаждения и печали нанизаны на одну длинную нить радости. Истины: «Я есмь», «Я двигаюсь», «Я расту» — видны во всей своей безмерности потому, что все остальное находится здесь, вместе со мною, и что мельчайший атом не может существовать без меня.

Связь моей души с этим прекрасным осенним утром, этим беспредельным сияньем — это тесная родственная связь. И все эти цвета, ароматы и музыка не что иное, как внешнее проявление нашего тайного единения. Это постоянное единение, осознанное или неосознанное, — движущая сила моего разума. Из общения между внешним и внутренним миром рождается вера, большая или маленькая, по силам моей души; и в ее свете я должен проверить священное писание, прежде чем признать его истинность.

*Шилейда,
12 декабря 1895 г.*

Как-то вечером, это было недавно, я читал критические очерки на английском языке. В них велись споры о поэзии, искусстве, красоте и тому подобном. Когда я читал эти надуманные споры, мой утомленный ум как будто забрел в область пустых миражей, где надо мной издевался какой-то демон.

Была уже глубокая ночь. Я с силой захлопнул книгу и швырнул ее на стол. Затем погасил лампу и решил лечь в постель. Но не успел я осуществить свое намерение, как в комнату через открытое окно ворвался лунный свет, испугавший меня своим внезапным появлением.

Маленькая лампа насмешливо улыбалась мне, подобно Мефистофелю: и эта ничтожная насмешка заслонила собой бесконечный свет радости, изливаемый глубокой любовью, объемлющей мир. Стало быть, то, что искал я в пустых словах критики, все это время заполняло собой небеса в молчаливом ожидании?

Если бы я лег в постель и не открыл ставен, я не видел бы этого великолепного зрелища, но оно пребывало бы все там же, не споря с дразнящим светом лампы. И если бы я не замечал его всю свою жизнь — и дал бы лампе торжествовать победу, пока не улегся бы на смертное ложе, даже и тогда луна была бы там, ласково улыбающаяся, невозмутимая и ненавязчивая, она ожидала бы меня, как делала это в течение веков.



ПИСЬМА О РОССИИ

1930



Перевод с бенгальского
М. Кафитиной



I

*Москва,
20 сентября 1930 г.*

Наконец я в России! Все, что вижу, поражает, как чудо. В других странах нет ничего подобного. Все здесь совершенно иначе. Они разбудили и подняли на ноги весь народ.

Испокон века человеческая цивилизация держалась на простых безымянных людях; их было большинство, они несли на себе всю тяжесть, но им даже не хватало времени подумать о себе. Такие довольствуются крохами общественного достояния; мало едят, хуже всех одеваются, меньше всех образованны и при этом обслуживают всех остальных. Они больше всех работают и больше всех унижены; мрут с голоду и глотают оскорбления, лишены всех жизненных благ и удобств. Они держат на своих головах светильник цивилизации — тем, кто наверху, светло, а на них только стекает горелое масло.

Я много думал над этим, и мне казалось, что тут ничего не поделаешь. Если никого не будет внизу, как может кто-то быть наверху? А кому-то наверху быть необходимо, потому что иначе ничего не увидишь дальше собственного носа, а жить, чтобы просто существовать, — недостойно человека. Цивилизация — это нечто большее забот о хлебе насущном. Все лучшие плоды цивилизации возвращены на ниве досуга. Какая-то часть человечества должна иметь досуг. И я считал, что единственное, что можно сделать, это, по возможности, проявлять заботу о здоровье, образовании и благополучии тех, кто трудится и стоит на самой низкой ступени человеческого

общества, не только благодаря обстоятельствам, но и потому, что умственно и физически ни к чему другому не подготовлен.

Но вся беда в том, что на жалости ничего долговечного не построишь. Когда благодеяние — подачка, оно только развращает. Истинная взаимопомощь возможна лишь между равными. Я так и не мог придумать ничего толкового, но мысль о том, что ради прогресса цивилизации большинство людей должно быть обречено на унижение и лишено всех человеческих прав, вызывала у меня отвращение.

Подумай о том, как раздобрела Англия на харчах голодающей Индии! А ведь многие в Англии считают, что вечно кормить их — великая миссия Индии! Какая беда, если ради процветания и возвышения Англии целый народ пребывает в рабстве! Что из того, что эти люди живут впроголодь и одеты в лохмотья. Правда, иногда, из жалости, англичане подумывают о том, чтобы немного улучшить их положение. Однако миновало сто лет, а у нас нет ни образования, ни здравоохранения, ни благосостояния!

В недрах каждого общества происходит то же самое. Человек не может делать добро тому, кого он не уважает. А если затронуть его кровные интересы, то тут не обойдется без драки. В России эту проблему стараются разрешить в самой основе. Еще не пришло время делать окончательные выводы, однако все, что я видел, не могло меня не поразить. Просвещение — самая широкая дорога к преодолению всех наших трудностей. До сих пор большинство человечества не имело доступа к образованию; что касается Индии, то она была его почти полностью лишена. Поэтому та поразительная энергия, с которой в России распространяется образование, не может не удивлять. И дело здесь не в количестве, а в глубине, в размахе. Сколько здесь проявляют заботы и сколько кладут сил на то, чтобы ни один человек не чувствовал себя слабым и никчемным! Не говоря уже о самой России, даже среди полумцивилизованных народов Средней Азии знания распространяются с быстротой наводнения. И нет предела их безмерным усилиям, чтобы открыть этим народам

путь к вершинам науки. Желających попасть в театры — огромное множество, и все это — крестьяне и рабочие. Нигде их не оскорбляют. В тех немногих учреждениях, которые я уже успел посетить, я всюду замечал, как пробуждается их живой интерес и чувство собственного достоинства. О нашем народе не приходится и говорить — контраст разительный даже в сравнении с английским рабочим классом!

То, что мы хотели сделать в Шриникетоне, они осуществляют в масштабах всей страны. Нашим людям было бы очень полезно приехать сюда поучиться. Каждый день я сравниваю то, что вижу здесь, с Индией, и думаю, чего мы достигли и чего могли бы достичь.

Мой американский друг — доктор Гарри Тимберс, — изучает советскую систему здравоохранения и удивляется ее совершенству. Где же ты — изможденная, голодающая, несчастная и беспомощная Индия! Всего несколько лет назад здешнее население находилось совершенно в таком же положении, как и народы Индии, однако за это короткое время у них произошли удивительные перемены, а мы по горло увязли в трясине застоя.

Я не могу сказать, что все у них совершенно, — серьезных просчетов немало, и когда-нибудь они приведут к затруднениям.

Если говорить коротко, основная ошибка заключается в том, что их система просвещения шаблонна, а людей нельзя воспитывать по шаблону. Если теория игнорирует свойства живого ума, неизбежно приходит время, когда либо шаблон начинает трещать по всем швам, либо человеческий ум мертвоет и человек превращается в заводную куклу.

Я заметил, что здесь детей делят на группы и распределяют между ними различные обязанности: одни следят за чистотой жилища, другие заботятся об имуществе и т. д., они совершенно самостоятельны, и только один взрослый наблюдает за их работой. Я всегда стремился ввести такой же порядок в Шантиникетоне, но дело ограничилось составлением инструкции. Произошло это, в частности, потому, что наш школьный департамент считает своей главной задачей подготовку учеников к экзаменам, а до всего остального ему мало дела. Мы слишком

ленивы, чтобы делать что-то сверх положенного. А кроме того, нас с детства приучили действовать только по указке. Да и какой может быть толк от инструкций, если сами составители в них не верят? Для учеников такие инструкции — звук пустой.

Если говорить о работе в деревне и о просвещении, то здесь я увидел примерно то, о чем сам мечтал все эти годы, но у них гораздо больше энергии, упорства и опыта в руководстве. Мне кажется, что многое зависит и от физического состояния, — измученный малярией, истощенный человек не может работать в полную силу. В этой холодной стране люди крепкие, оттого и дело у них спорится. А о наших соотечественниках нельзя судить по их численности, ибо они — неполноценные работники.

*Москва,
19 сентября 1930 г.*

Место действия — Россия. Сцена — дворец под Москвой. Я смотрю из окна; до самого горизонта бегут волны леса, темно-зеленые, светло-зеленые, в золоте и багрянце... Вдоль леса тянется цепь деревенских избушек.

Около десяти часов; небо затянуто тучами, все замерло в ожидании грозы, и только верхушки стройных тополей раскачиваются на ветру.

Гостиница, где я провел в Москве несколько дней, называется «Гранд-Отель». Массивное здание производит грустное впечатление. Оно — словно разорившийся наследник богатых родителей. Старинная мебель частично распродана, частично обветшала и загрязнилась, уборщицы забыли сюда дорогу. Такой же вид имеет весь город: даже среди общей запущенности заметна былая роскошь — будто золотые пуговицы на рваной рубаше или шелковое даккское дхоти, все в заплатках. Нигде в Европе нет такой скудости, как здесь. Там из-за резких контрастов богатства и бедности роскошь бьет в глаза, а нищета остается в тени. Все жизненные неурядицы, грязь, болезни, беспросветный мрак страданий и пороков прячутся за кулисами, а со стороны приезжему все кажется таким изысканным, утонченным, выхоленным,

Но если все материальные блага страны разделить поровну, окажется, что на всех их далеко не достаточно. В России же нет контрастов, поэтому вместе с роскошью ушло и безобразие нищеты — осталась только нужда. Такой повсеместной бедности нет нигде, поэтому здесь она сразу бросается в глаза. Но здесь нет низов, как в других странах, — есть только народ.

Улицы Москвы многолюдны, однако щеголей нет, а это значит, что праздность исчезла бесследно. Все живут своим трудом, и нигде не видно кричащей роскоши.

Мне довелось побывать у доктора Петрова. Он очень уважаемый здесь человек и занимает высокий пост. Дом, в котором помещается его учреждение, в прошлом принадлежал какому-то аристократу, но обстановка кабинета очень простая и разностильная. Ковра на полу нет, в углу стоит плохонький столик. На всем лежит печать такого беспорядка, словно в доме траур и горюющей семье ни до чего нет дела.

В гостинице «Гранд-Отель», где я остановился, удобства и пища отнюдь не соответствуют столь громкому названию. Но какие тут могут быть претензии, если все и вся в таком же положении!

Я вспоминаю свое детство. Мы жили тогда куда более убого, чем они, но нас это не смущало, потому что таким был и тогдашний идеал жизни: без резких отклонений, примерно одинаковый во всех домах. Разница заключалась лишь в уровне традиционной культуры, в отношении к искусству и музыке, да еще в семейных традициях, влиявших на нашу речь, манеры и привычки. Но если бы здешний средний человек увидел нашу пищу и познакомился с нашим бытом, он бы содрогнулся от отвращения!

Кичливость богатством занесена к нам с Запада. Когда в дома наших клерков и торговцев потекли деньги, европейский комфорт сделался критерием респектабельности. Поэтому у нас до сих пор богатство ставится выше всего — происхождения, воспитания, ума и образования. Но что может быть постыднее преклонения перед богатством? Надо остерегаться, чтобы эта мерзость не проникла в нашу плоть и кровь.

В России мне больше всего понравилось полное отсутствие духа собственности. Этого оказалось до-

статочно, чтобы в народе пробудилось чувство человеческого достоинства.

Рабочие и крестьяне, сбросив иго унижения, сразу распрямились и высоко подняли головы. Я смотрю на них, удивляюсь и радуюсь. Какими естественными и простыми стали отношения между людьми!

Мне еще многое нужно сказать, но сейчас не мешало бы и отдохнуть. Сяду-ка я поудобнее в глубокое кресло перед окном, укрою ноги одеялом, и если придет сон, я не буду ему противиться.

*Москва,
25 сентября 1930 г.*

С тех пор как я послал вам обоим письма, прошло уже много времени, и по вашему единодушному молчанию я догадываюсь, что этим двум бумажкам на индийской почве была оказана исключительная честь. Что ж, время от времени у нас и такое случается! Поэтому пишу без всякого энтузиазма. Если и на сей раз не получу ответа, буду молчать.

Без ваших писем время тянется бесконечно, как тихая безмолвная ночь. Порой мне кажется, что я уже перенесся в мир иной, где другой счет дням и минутам. Сколько осталось до моего возвращения на родину? Снова и снова одевал Кришна Драупади — вот так и дни мои идут один за другим, настойчиво повторяясь. Я утешаюсь только мыслью, что день моего возвращения придет с такой же неизбежностью, как сегодняшний.

А пока — я в России, и если бы сюда не приехал, паломничество моей жизни не было бы завершено.

Не знаю, хорошо или плохо то, что они здесь делают, но невольно поражаюсь их невероятной смелости! Старое опутывает мозг и душу тысячами нитей, повсюду воздвигло оно свои дворцы, с бесчисленными покоями и переходами, где у каждой двери стоят неумолимые стражи, со всех столетий собирает оно несметную дань. А они вырвали его с корнем, без всякого страха, сомнений или сожалений. Старое смели с лица земли, чтобы дать место новому.

В душе я восхищаюсь волшебной силой европейской науки, способной творить чудеса. Но еще больше меня

восхищает грандиозность того, что я вижу здесь. Будь это только ужасное разрушение, я бы так не удивлялся, потому что это они умеют. Но я вижу, что они полны решимости построить на месте развалин новую жизнь. Им приходится торопиться, ибо весь мир им враждебен, все против них. Им нужно как можно скорей доказать, что то, к чему они стремятся, не ошибка и не обман. Десятилетие бросает вызов тысячелетиям — и уверено в победе! Экономически они еще очень слабы, но зато их духовная мощь неизмерима.

Революция в России назревала уже давно. К ней долго и тщательно готовились, бесчисленное количество людей, известных и неизвестных, отдавали ради нее свои жизни и терпели невыносимые муки. Предпосылки для революций существуют повсюду, но происходят революции только в определенных странах мира. Когда инфекция попадает в кровь, болезненная опухоль образуется в наиболее уязвимом месте. В России обездоленные и бесправные массы подвергались самому жестокому угнетению со стороны тех, в чьих руках сосредоточились богатство и власть. Поэтому именно в России чудовищное неравенство между угнетаемыми и угнетателями потребовало потрясения самих основ.

Когда-то подобное же неравенство привело к Французской революции. Уже тогда угнетенные поняли, что неравенство всюду несет с собой нищету и угнетение. Вот почему во время революции по всему свету, далеко за пределы Франции, разнесся призыв к свободе, равенству и братству. Но он прозвучал и смолк.

Призыв русской революции тоже обращен ко всему человечеству. Сейчас в мире есть лишь один народ, который заботится не только о своих собственных интересах, но и о судьбах всего мира. Мы не знаем, вечно ли будет звучать голос России, но одно несомненно: в наш век проблемы любой нации являются частью общечеловеческих проблем, и с этим нельзя не считаться.

В наш век поднялся, наконец, занавес над сценой всемирной истории. До сих пор где-то за кулисами, по разным углам, шла как бы отрывочная репетиция, и каждая страна разучивала в уединении только свою роль. Было

бы несправедливо утверждать, что между странами не было никакого общения, однако разобщенность была еще сильнее и до последнего времени искажала облик мира. Тогда мы видели только отдельные деревья, теперь же перед нами лес. Поэтому если в обществе где-либо нарушается равновесие, сегодня это отражается на всем человечестве. Столь широкое видение мира — вещь немаловажная.

Однажды в Токио я спросил корейского юношу: «Что вас больше всего тревожит?» Он ответил: «Засилие капиталистов. Мы для них — источник обогащения». Тогда я сказал: «Ведь у вас мало сил: как же вы сами избавитесь от этого ига?» Он ответил: «Будущее земли принадлежит тем, кто сегодня слаб, — их объединят страдания. Те, кому сегодня принадлежат власть и богатства, могут сидеть на своих сундуках, но они никогда не смогут объединиться. Сила Кореи — в ее горе».

Знаменательно, что страждущее человечество понимает сегодня, как велика его роль на мировой арене. Раньше, не сознавая своего истинного могущества, оно уповало на судьбу и терпеливо выносило все муки. Сегодня же даже самые бесправные и слабые мечтают о прекрасном царстве справедливости, где не будет ни угнетения, ни унижения. Именно поэтому угнетенные восстают сегодня по всей земле.

Сильные мира сего дерзки и высокомерны. Они стараются подавить стремление угнетенных к власти, ибо это лишает их сна и покоя. Они захлопывают двери перед вестниками новых идей и затыкают им рты. На самом же деле им следовало бы больше всего бояться страданий вечно презираемых ими бедняков. Но они не боятся усугублять страдания угнетенных, когда дело идет об их выгоде; их сердца не сжимаются от страха, когда они выколачивают до двухсот — трехсот процентов прибыли, обрекая несчастных крестьян на голод. Ибо для них прибыль равноценна силе. Однако любые крайности в человеческом обществе таят в себе угрозу, и эту опасность еще никогда не удавалось устранять давлением извне. Не может на одном полюсе вечно расти неограниченная сила, а на другом — бесконечная слабость. Если бы сильных мира сего не опьяняло властолюбие, они больше всего

боялись бы именно этого противоречия, ибо такая диспропорция противоестественно.

Когда я получил из Москвы приглашение, у меня еще не было ясного представления о большевиках. Я слышал о них немало высказываний, и все они были противоречивы. Многое вызывало у меня беспокойство, ибо вначале они шли по пути применения насилия. Но я заметил, что враждебность Европы к Советской России начала ослабевать. Мое решение посетить Россию многими было встречено одобрительно. Даже многие англичане отзывались о большевиках с похвалой. Мне говорили, что в России начали поразительный эксперимент.

Но были и такие, кто меня отговаривал, хотя все их опасения основывались главным образом на недостатке у русских комфорта. Мне говорили, что там нет привычной мне пищи и удобств, что я не выдержу пребывания там. Кроме того, другие говорили, что мне будут показывать лишь то, что заранее подготовлено. Действительно, ехать в Россию в моем возрасте и с моим здоровьем было рискованным предприятием. Но я получил приглашение, и было бы просто непростительно не увидеть своими глазами свет самого яркого жертвенного пламени на алтаре истории.

К тому же в моих ушах все еще звучали слова корейского юноши. Я думал: сегодня у самого порога могучей и богатой западной цивилизации Россия строит государство для всех обездоленных, не обращая ни малейшего внимания на злобные взгляды капиталистических держав. Кому же, как не мне, поехать туда и увидеть это? Если их цель — уничтожить силу сильных и отнять богатство у богатых, чего мне опасаться, на что сердиться? Много ли у нас-то богатства и сил? Ведь мы — самые нищие и беспомощные на земле!

Если они действительно стремятся вернуть уверенность слабым, поднять их дух, нам ли их сторожиться? Они могут, конечно, ошибаться, но разве их противники застрахованы от ошибок? Пора заявить во весь голос, что, если силы угнетенных не пробудятся, человечество обречено, ибо преступления сильных мира сего переходят все границы: раньше они позорили землю, а теперь оскверняют даже небо. Бесправность, беспомощность угнетен-

ных достигла предела. На одном полюсе сегодня сосредоточены все богатства и блага, а на другом — беспросветная нищета.

Последнее время я часто с ужасом вспоминаю зверские расправы в Дакке. Какая нечеловеческая жестокость, а в английских газетах об этом ни слова! Если в Англии кто-нибудь погибает в автомобильной катастрофе, об этом кричат на всех перекрестках, а жизнь и честь нашего беспомощного народа они не ставят ни во что. Тот, кто ценится дешевле дешевого, никогда не добьется справедливости!

Наши жалобы и стенания не доходят до мира: все пути перед нами закрыты. В то же время англичане владеют всеми средствами для распространения о нас любой клеветы.

Сегодня такое положение особенно унизительно для угнетенных народов, ибо сегодня вести мгновенно облетают весь мир, и сильные нации, владеющие средствами пропаганды, могут безнаказанно обливаться слабым народом помоями лжи и оскорблений. Сегодня миру внушают, что у нас, мол, индусы и мусульмане режут друг другу глотки, а потому и из-за того и т. д. и т. п. Но когда-то и в Европе шли кровавые распри, — они прекратились с распространением образования. То же самое произошло бы и в Индии, однако за все годы английского владычества образование получило не более пяти процентов населения, да и то это скорее не образование, а насмешка над ним!

Ничего не делая для того, чтобы устранить причину презрительного отношения к нам, мы тем самым даем людям повод презирать нас, и это — тягчайшая расплата за нашу слабость. Всестороннее образование — путь к решению большинства проблем. Но для нас этот путь закрыт, ибо Закон и Порядок не оставили нам ни малейшей лазейки: казна опустошена! Из всех видов общественной деятельности самым важным я считаю пробуждение в людях уверенности в себе, чувства собственного достоинства. Всю свою жизнь я делал для этого все, что мог. Ради этого я не отвергал помощь властей, я даже рассчитывал на нее, но всем известно, чем это кончилось.

Я понял, что ничего не выйдет. Над нами тяготеет страшный грех — наша слабость.

Вот почему, когда я услышал, что в России народное просвещение, зародившееся почти на пустом месте, приобрело гигантский размах, я решил поехать туда во что бы то ни стало, и если мое слабое здоровье не выдержит, — тем хуже для него! Они в России поняли, что только образование может сделать слабого сильным, ибо от него зависит все остальное — пища, здоровье и мир в стране. Наши же «Закон и Порядок» обрекают нас на голод и духовную нищету, а ведь для поддержания их нам приходится отдавать все до последней нитки.

Я — человек, выросший в атмосфере современной Индии. Долгое время я твердо верил в невозможность дать просвещение тремстам тридцати миллионам человек и никого в этом не винил, кроме нашей горькой судьбы.

Когда я услышал, что здесь, в России, среди рабочих и крестьян просвещение распространяется с молниеносной быстротой, я подумал, что суть его заключается лишь в том, чтобы научить людей кое-как читать, писать и считать. Конечно, и это неплохо. Если бы это было в нашей стране, мы благословляли бы своих правителей. Но здесь я увидел настоящее образование, способное воспитать человека; это не простая зубрежка конспектов для сдачи экзаменов на степень магистра.

Однако на этом я останавлиюсь более подробно в другой раз — сегодня уже нет времени. Вечером я отправлюсь в Берлин. А потом, 3 октября, поплыву через Атлантику, — сколько дней продлится это наказание, сказать не могу.

Я устал душой и телом, однако не могу пропустить такой возможности. Если мне удастся что-либо извлечь из этой поездки, я проживу остаток своих дней спокойно. Можно, конечно, сделать иначе: истратить сразу весь капитал, а потом, когда настанет срок, сказать последнее прости, задуть свечильник. Это, пожалуй, лучше, чем оставлять после себя какие-то жалкие крохи, которые могут только дело испортить. По мере того как человек теряет достаток, все явственнее проступают его духовные пороки: малодушие, недоброжелательство и недоверчивость. Широта натуры во многом зависит от благосостояния,

однако истинные ценности за деньги не купишь, — я все более в этом убеждаюсь, — и золотые плоды зачистую приносит самая бедная земля. Я был бы счастлив, если бы обладал хоть в какой-то мере той неиссякаемой энергией, смелостью, знаниями и умением жертвовать собой, какие проявляются здесь в деле просвещения. Ведь чем слабее дух, чем меньше подлинного энтузиазма, тем острее нужда в материальных средствах.

*Берлин,
28 сентября 1930 г.*

Еще в Москве я написал два длинных письма о советском строе. Кто знает, когда ты их получишь, да и получишь ли их вообще?

По приезде в Берлин я получил сразу два твоих письма, написанных в разгар сезона дождей. Стоит ли говорить, с каким вождением я думаю о тяжелых тучах над шаловыми рощами Шантиникетона и сумерках, пронизанных ливнями!

Но поездка в Россию вытеснила из моей памяти эти прекрасные видения. Я могу теперь думать только о беспредельной нищете наших крестьян. Бенгальскую деревню я хорошо знаю с самого детства. Каждый день я встречался с крестьянами и слушал их горькие жалобы. Таких беспомощных людей немного на свете. Свет знаний не достигает дна общества, где они влачат жалкое существование, и дыхание жизни там едва ощутимо.

Из тех, кто до последнего времени играл главные роли на политической сцене нашей страны, никто не признавал крестьян своими соотечественниками. Я вспоминаю конференцию в Пабне. В беседе с одним политическим деятелем я сказал, что, если мы действительно стремимся к политическому подъему страны, необходимо помочь низам нашего общества сделаться людьми. Он отнесся к моим словам с таким пренебрежением, что мне стало ясно: наши патриоты вынесли представление о родине из иностранных школ. Им безразличен народ. Такое представление весьма удобно: оно позволяет им осуждать чужеземное владычество и писать об этом стихи, возму-

щаться и выпускать газеты. А вот признать, что миллионы бедняков — это твой народ, твои соотечественники, — на это они не способны, потому что подобное признание налагает ответственность и требует настоящего дела.

С того дня прошло немало времени. Я часто слышал отголоски того, что я говорил в Пабне. В помощь деревне даже собирали деньги, однако они таяли и исчезали где-то в пропагандистских облаках, откуда вещают наши политики, и до грешной земли, на которой стоит деревня, не доходило ничего.

Однажды я причалил свой плавучий дом к песчаным берегам Падмы, чтобы заняться литературной работой. Я думал, что единственное мое призвание, это разрабатывать пером рудник идей: мне казалось, что ни на что другое я не пригоден. Но когда мне не удалось никого убедить, что путь к самоуправлению лежит через нашу деревню и что необходимо немедленно приступить к его расчистке, мне пришлось отложить перо и сказать: что ж, попробую это сделать сам! Единственный, кто меня поддерживал в этом деле, был Калимохон. Он был измучен недугом, дважды в день у него был жар, и кроме того, его имя значилось в списках полиции.

С тех пор наше дело еле движется по трудной, неровной дороге, и результатов пока маловато. Я стремился укрепить веру крестьян в свои собственные силы. В связи с этим меня не могли не волновать две мысли. Во-первых, я считал, что земля должна по справедливости принадлежать крестьянам, а не заминдарам, и во-вторых, нельзя добиться подъема сельского хозяйства, не объединив крестьянские земли на общинных началах. Пытаться же выращивать хорошие урожаи, взрыхляя земли, разделенные межами, плугом прадедовских времен, — это все равно что таскать воду в разбитом кувшине.

Однако и то и другое связано с трудностями. Прежде всего, если землю отдать крестьянам, она немедленно попадет в руки ростовщиков; следовательно, положение крестьян не улучшится, а ухудшится. Как-то раз я собрал крестьян, чтобы поговорить с ними о совместной обработке полей. С веранды дома, в котором я жил в Шилейде, открывался широкий вид на поля: полоска за полоской они тянулись до самого горизонта. Чуть забрезжит свет,

крестьяне поодиночке выходили со своими быками и плугами, каждый на свой жалкий клочок, и топтались на нем до заката. Какая бессмысленная трата разобщенных сил! И я это наблюдал ежедневно собственными глазами! Когда я объяснил крестьянам, какие преимущества дает обработка объединенных полей с помощью машин, они со мной согласились. Но при этом сказали: «Мы ведь неграмотные! Где уж нам браться за такое большое дело!» Если бы я сказал, что беру всю ответственность на себя, это, возможно, было бы выходом из положения. Но мог ли я так сказать? Я не имел права брать на себя такую ответственность, потому что у меня не было для подобной работы ни сил, ни знаний.

И все же эти мысли не оставляли меня. Когда в Болпуре организовался кооператив под руководством Вишвабхароти, я подумал: вот наконец появилась долгожданная возможность! Во главе кооператива стоят люди более молодые, практичные и знающие, чем я. Впрочем, наша молодежь страдает формализмом и пристрастием к готовым схемам. Наша система образования убивает инициативу мысли и способность к самостоятельной работе. Учащиеся спасаются только тем, что вызубривают учебники наизусть.

Помимо отсутствия широты мышления, это таит в себе еще одну опасность. Возникает кастовое деление на тех, кто вызубрил свои школьные уроки, и тех, кто не вызубрил, то есть на грамотных и неграмотных. Интересы наших ученых педантов не выходят за рамки школьной премудрости. Сквозь завесу книжных страниц мы не видим тех, кого у нас называют простым народом. Для нас эти люди неразличимы и, естественно, оказываются вне сферы нашей деятельности. Именно поэтому, если в других странах в низших слоях общества ведется созидательная работа на кооперативной основе, мы ограничиваемся лишь тем, что с оглядкой ссужаем деньги в долг. Ибо ростовщичество, подсчет прибылей и учет векселей — дело несложное, даже для робкого ума. Ведь риска никакого, разве что сделаешь ошибку при умножении!

Именно из-за недостатка смелости мысли и сочувствия к народу нам так трудно избавиться от страданий обездоленных нашей страны. И винить за это некого, потому

что с началом царствования торгашей у нас для того и открывались школы, чтобы выпускать, как с конвейера, стандартных клерков. Наша высшая цель была занять в конторском мире местечко поближе к хозяину. И если мы не получали ожидаемого повышения, считалось, что мы зря получали образование. Поэтому вся наша патриотическая деятельность до сих пор сводилась к высокопарным выступлениям представителей образованных кругов на страницах газет или с трибуны Конгресса. Наши руки, приросшие к перу, непригодны для созидательной работы, от которой зависят судьбы страны.

Я тоже вырос в этой атмосфере и потому не смел верить, будто можно снять страшную тяжесть невежества и нищеты с плеч миллионов наших соотечественников. До сих пор я не знаю, что тут можно поделать. Я думал, что в обществе есть слои, обреченные вечно оставаться на самом дне: солнце туда не проникает никогда, значит, там надо зажечь хотя бы масляный светильник. Но даже ясное понимание своего долга чаще всего не может побудить нас к активной деятельности. Потому что мы не знаем толком, что можно сделать для тех, кого мы не видим в темноте.

С такими малодушными настроениями я приехал в Россию. Я уже слышал, что образование здесь широко распространяется среди крестьян и рабочих, и понимал это так: в их сельских школах больше чем у нас народу освоило первую или, в крайнем случае, вторую часть букваря. Я полагал, что смогу лишь узнать из статистических бюллетеней, что, мол, столько-то крестьян умеют ставить свою подпись или считать до десяти.

Не забывай, что революция, сбросившая царское самодержавие, произошла в 1917 году, то есть всего тринадцать лет назад! И все эти годы им приходилось преодолевать ожесточенное сопротивление как внутри, так и вне страны. И никто не помогал им в их тяжелой работе по перестройке государственной системы. Обломки отвратительного прошлого загромождали их путь. Прежде чем доплыть до берегов новой эры, им пришлось пересекать бурное море гражданской войны, в то время как Англия и Америка тайно и явно старались превратить бурю в смертоносный ураган. Ресурсы их незначительны, креди-

том у иностранных торговцев они не пользуются. Из-за слабости отечественной промышленности производительность страны крайне низка. Поэтому, чтобы пройти период испытаний, им приходится продавать продукты питания. И в то же время они вынуждены полностью сохранять самую непроизводительную часть государственной машины — армию. Это неизбежно, потому что сегодня их окружают враждебные державы, чьи арсеналы переполнены до отказа.

Я помню, как советское предложение о разоружении напугало миротворцев из Лиги наций! Советы не собираются вечно наращивать свои вооруженные силы, их цель иная. Поскольку они стремятся осуществить свой идеал путем создания совершенной и широкой системы просвещения и здравоохранения, путем повышения жизненного уровня масс, им прежде всего необходим прочный мир.

Но ты хорошо знаешь, что заправила Лиги наций, сколько бы они ни кричали о мире, в душе отнюдь не хотели расстраивать разбойничьих замыслов. Поэтому во всех империалистических странах лес штыков растет быстрее колосьев на полях. Кроме того, нельзя забывать о том, что в России был страшный голод, и неизвестно, какое количество людей погибло. Пережив это бедствие, они строят здание новой эры всего восемь лет, строят, несмотря на отсутствие всякой помощи извне.

Задача предстоит нелегкая — их обширное государство раскинулось на просторах Европы и Азии. Разных национальностей здесь даже больше, чем в Индии, контрасты между условиями жизни и духовным складом этих народов гораздо резче и многочисленнее. С многообразием национальностей связан целый комплекс поистине мировых проблем, хотя и в уменьшенном масштабе, но усложненных разнообразием жизненных условий.

Я уже писал, что с первого взгляда Москва кажется гораздо невзрачнее других европейских столиц. В уличной толпе не видно ни одного нарядно одетого прохожего, весь город одевается буднично. А когда все в рабочих костюмах, классовые различия полностью исчезают: они видны лишь по праздникам, когда все надевают самое лучшее. Но здесь все одеваются почти одинаково. Кажется, что в городе живут только рабочие, — куда ни взгля-

нешь, повсюду они! Чтобы понять, как изменились рабочие и крестьяне, здесь незачем ходить по библиотекам и рыться в книгах, незачем ездить с записными книжками по деревням и рабочим поселкам, — это видно и так. Непонятно только одно: куда девались так называемые аристократы.

Отсутствие аристократии несколько не смущает здешний народ: сегодня на сцену вышли те, кто веками прозябал в тени. Мое ложное представление о том, что они только-только научились читать по складам печатные тексты букваря, немедленно улетучилось. За эти годы они стали людьми.

Я подумал о наших крестьянах и рабочих. И мне вспомнились чудеса джинна из «Тысячи и одной ночи». Всего десять лет назад они были так же безграмотны, голодны и беспомощны, как простой народ нашей страны; их опутывали такие же суеверия и такой же слепой религиозный фанатизм. В горе и нищете они клали земные поклоны перед алтарями своего бога; они боялись мира загробного и немели перед священниками, они страшились мира земного и склонялись перед царем, купцами и помещиками; их уделом было чистить сапоги тем, кто пинал их этими же самыми сапогами.

Их обычаи не менялись тысячелетиями, их телеги, прялки и маслобойки были прадедовских времен, и любая попытка что-либо усовершенствовать грозила вызвать бунт. Призрак прошлого до сих пор сидит на шее нашего трехсотмиллионного народа, закрывая ему сзади глаза руками, — с ними было то же самое. Как же мне, несчастному индийцу, не удивляться, когда я вижу, что они всего за несколько лет избавились от вековых наслоений невежества и бессилия? А ведь у них в годы этих перемен не было нашего хваленного Закона и Порядка!

Я уже писал, что мне не пришлось далеко ходить или уподобляться нашим школьным инспекторам, проверяющим написание слов, чтобы познакомиться с их системой народного образования. Как-то вечером я посетил Центральный дом крестьянина — это такое место, где крестьяне могут за небольшую плату останавливаться на несколько дней, когда приезжают в город. Я беседовал с ними. Если бы такие беседы были возможны с нашими крестьянами, у меня нашлось бы что ответить Комиссии Саймона!

Я понял, в сущности, одно: у нас могло быть все, а нет ничего, зато есть Закон и Порядок! Кое-кто усиленно старается нас ослабить, раздувая слухи о наших религиозных междоусобицах. Здесь тоже происходили отвратительные и дикие столкновения между иудеями и христианами, но благодаря просвещению и административным мерам этому решительно положен конец. С тех пор как я здесь, меня не оставляет мысль, что Комиссии Саймона, прежде чем ехать в Индию, не мешало бы побывать в России!

Я надеюсь, ты понимаешь, почему я пишу обо всем этом, вместо того чтобы сочинить такой благородной женщине, как ты, благородное письмо. События на родине слишком волнуют меня. В таком состоянии ума я был после кровавых дней Джалианвалабага, а теперь тяжело переживаю волнения в Дакке.

Правительство старается себя обелить, но мы-то хорошо знаем цену его заверениям! Если бы подобное произошло в Советской России, никакие заверения не смогли бы смыть столь позорное пятно.

Даже Шудхиндро, никогда не относившийся сочувственно к политическим выступлениям в нашей стране, прислал мне письмо, из которого видно, до какой степени дошло недовольство правительством.

Увы, закончить письмо не могу: кончилась бумага, а с ней и время. В следующий раз доскажу недосказанное.

*Берлин,
1 октября 1930 г.*

В пространным письме из Москвы я писал тебе, какое впечатление произвела на меня Россия. Если получишь мое письмо, у тебя будет некоторое представление об этой стране. Я уже писал о некоторых мерах, какие принимаются здесь для улучшения положения крестьянства. Когда я познакомился со здешними крестьянами, которые отличаются от невежественных и лишенных всяких жизненных благ крестьян нашей страны, чей разум подавлен внутренней и внешней нищетой, — только тогда я осознал, какие духовные богатства варварски уничто-

жаются у нас из-за равнодушия нашего общества. Какое это безрассудное расточительство, какая жестокая несправедливость!

Побывав в московском Доме крестьянина, я обнаружил, что это у них нечто вроде клуба. Такие клубы в России повсюду — в больших и малых городах, в деревнях. В них все приспособлено для того, чтобы можно было проводить беседы о сельском хозяйстве и социальных науках, обучать неграмотных чтению и письму, а также читать крестьянам лекции о научных методах земледелия в специальных классах. При всех таких Домах есть музеи, где собраны наглядные пособия по естественным и общественным наукам: здесь крестьяне могут получить необходимую консультацию по самым разным вопросам.

Когда крестьяне приезжают в город по делам, они могут останавливаться в этих Домах за очень умеренную плату сроком до трех недель. С помощью таких Домов советское правительство пробуждает разум некогда безграмотного крестьянства и тем самым закладывает широкую основу для построения нового общества.

Войдя в Дом, я увидел несколько человек в столовой, другие сидели с газетами в читальне. Меня провели наверх, в большую комнату, где вскоре собрались все. Эти люди приехали из разных мест, некоторые из самых отдаленных областей. Держались они совершенно свободно, безо всякого смущения. Заведующий Домом представил меня, произнес приветственную речь, я тоже сказал несколько слов. Потом мне начали задавать вопросы.

Один из собравшихся спросил, почему в Индии индусы враждуют с мусульманами.

Я ответил:

— В дни моей юности я никогда не видел подобного варварства. В те дни в деревнях и в городах в отношениях между обеими общинами царил дух доброжелательства. У них были общие заботы и общие дела, они делили поровну и радость, и горе. Это постыдное явление возникло, когда в стране началось политическое движение. Но каковы бы ни были непосредственные причины такого бесчеловечного отношения соседа к соседу, главная причина — невежество масс. У нас до сих пор нет даже того минимума народного образования, который не-

обходим для борьбы с этим злом. Поэтому меня поражает то, что я вижу здесь.

Вопрос: Я слышал, вы писатель. Вы писали что-нибудь о крестьянах? Что их ждет в будущем?

Ответ: Я не только писал, я трудился, я делаю все, что в моих силах, чтобы дать им знания и улучшить их положение. Но мои усилия ничтожны по сравнению с гигантской просветительной работой, которая проделана у вас за такой невероятно короткий срок.

Вопрос: Что вы думаете о коллективизации сельского хозяйства в нашей стране?

Ответ: Я слишком мало знаю об этом, чтобы составить свое мнение. Я бы хотел послушать вас. Мне хотелось бы знать: оказывают ли на вас какое-нибудь давление.

Вопрос: Неужели в Индии ничего не знают о коллективизации и вообще о том, что здесь происходит?

Ответ: Лишь очень немногие достаточно образованны, чтобы что-то знать. Кроме того, сведения о вас по многим причинам скрывают, а то, что до нас доходит, не всегда достоверно.

Вопрос: Вы знали о том, что у нас есть Дома крестьянина?

Ответ: Нет. Только по приезде в Москву я увидел и узнал все, что здесь делается ради вашего блага. Однако прошу теперь ответить на мой вопрос: что, по-вашему, дает крестьянам коллективизация и чего вы хотите сами?

Молодой крестьянин с Украины сказал: «Я работаю в колхозе, который создан только два года назад. У нас есть сады и огороды, овощи и фрукты мы посылаем на консервный завод. Кроме того, у нас обширные поля под зерновыми. Работаем мы по восемь часов в день, каждый пятый день у нас выходной. Урожай у нас, по крайней мере, вдвое выше, чем на соседних полях единоличников. Почти с самого начала в нашем колхозе объединилось сто пятьдесят крестьянских хозяйств. В 1929 году половина крестьян вышла из колхоза. Дело в том, что некоторые работники на местах не точно выполняли указания Сталина, главы советских коммун. По его мнению, объединение должно происходить на добровольной основе. Но так как во многих местах чиновники забывали об этом,

многие крестьяне уходили из колхозов. Правда, постепенно около четверти крестьян снова вернулось к нам. Сейчас мы еще сильнее, чем прежде. Мы начали строительство новых домов, большой столовой и школы для наших колхозников».

Потом выступила одна сибирская крестьянка. «Я состою в колхозе уже около десяти лет, — сказала она. — Не забывайте, что облегчение участи женщины тесно связано с коллективизацией. За последние десять лет наши крестьянки сильно изменились. Они теперь больше верят в свои силы. Они переубеждают отсталых женщин, которые препятствуют объединению крестьян. Мы создали группу колхозниц, они ездят по стране и ведут работу среди женщин, объясняя им, какие преимущества дает коллективизация для духовного роста и улучшения благосостояния. Для облегчения жизни колхозниц в каждом колхозе строятся детские сады и ясли, школы и общественные столовые».

Крестьянин из прославленного совхоза «Гигант», рассказывая о коллективизации в России, сообщил мне: «В нашем хозяйстве сто тысяч гектаров земли. В прошлом году у нас работало три тысячи крестьян. В этом году число работающих несколько уменьшилось, но урожай по сравнению с прошлым годом должен возрасти, потому что мы стали применять минеральные удобрения и машины для обработки земли. Теперь у нас свыше трехсот тракторов. Наш рабочий день восемь часов. Те, кто трудятся больше, получают сверхурочные. В зимнее время, когда дел на поле меньше, крестьяне уходят в город на строительство, ремонт дорог и другие работы. Во время их отсутствия семьи продолжают получать треть летнего заработка и остаются жить на старом месте».

Я попросил: «Скажите мне честно, согласны вы с обобществлением личной собственности в колхозах или нет?»

Заведующий Домом предложил выразить общее мнение голосованием. И я увидел, что многие из присутствующих недовольны. Я просил объяснить мне причину, но никто не мог этого сделать как следует. Один сказал: «Я и сам толком не знаю».

Очевидно, причина недовольства кроется в человеческом характере. Мы привязаны к своим вещам, так пове-

лось искони. Мы хотим выразить себя, и собственность является одним из средств самовыражения.

Те, у кого есть высшие средства самовыражения, поистине великие люди, они могут пренебрегать собственностью и расстаются с нею без сожалений. Но для обычного человека собственность выражает его индивидуальность, и, теряя ее, он как бы теряет дар речи. Если бы собственность была только средством поддержания жизни, а не самовыражения, человека было бы проще убедить силой доводов, что именно отказ от личной собственности улучшит условия его существования. Высшие средства самовыражения, такие, как ум или талант, нельзя отнять силой. Собственность же можно просто конфисковать. Вот почему вопрос о разделе собственности и праве ею пользоваться порождает в нашем обществе бесконечные распри, ложь и безмерную жестокость.

Я думаю, что эту проблему возможно решить лишь путем компромисса: то есть частная собственность останется, однако права ее владельцев должны быть ограничены. Излишки собственности, превышающие определенные нормы, необходимо изымать в пользу общества. Только тогда собственность не будет порождать алчность, коварство и жестокость.

Советы пытаются разрешить эту проблему целиком и полностью. Поэтому им все время приходится прибегать к принуждению. Речь идет не о том, что человеку не нужна свобода, а о том, что ему нужно избавиться от эгоизма! Короче, каждый должен владеть чем-то своим, а всем остальным пусть владеет общество. Истинное решение проблемы заключается только в признании и личного и не личного. Отрицание того или другого в равной степени противоречит человеческой природе. Европейцы слишком полагаются на силу. Сила хороша лишь там, где она действительно необходима, в противном случае она зло. И чем упорнее мы стараемся подчинить истину человечности грубому насилию, тем шире разделяющая их пропасть.

Крестьянин из Башкирской Республики сказал: «Сейчас у меня собственный участок земли, но скоро я вступлю в ближайший колхоз. Я вижу, что совместная обработка земли лучше единоличной, да и урожаи в колхозе гораздо больше. Чтобы хорошо обработать землю, нужны

машины, а купить их владельцам маленьких участков не под силу. К тому же все равно использовать машины на наших клочках земли невозможно».

Я сказал: «Вчера я беседовал с одним высокопоставленным государственным деятелем. Он утверждает, что нигде не проявляется такой заботы о женщинах и детях, как в Советской России. Я спросил его, не предполагаете ли вы уничтожить семью, возложив ответственность за воспитание детей на государство. Он ответил, что это не является ближайшей целью, но, если когда-нибудь, благодаря расширению ответственности государства за детей, семья естественно отомрет, это будет означать, что узость и неполноценность старой семьи несовместимы с широтой новых условий, что семья изжила самое себя. Вот мне и хотелось бы знать ваше мнение. Думаете ли вы, что семья и коллективизм совместимы?»

Молодой украинец ответил: «Разрешите мне на примере из своей жизни показать, как влияет новая общественная система на семейные отношения. Когда мой отец был жив, он шесть зимних месяцев работал в городе, а в летнее время я с братьями и сестрами шесть месяцев пас хозяйские стада. С отцом мы почти не виделись. Сейчас этого нет. Каждый день мой сын возвращается из детского сада, и я вижу его ежедневно». Благодаря тому, что государство взяло на себя присмотр за детьми и их воспитание, добавила одна крестьянка, родители значительно меньше ссорятся. Кроме того, родители начинают понимать, как велика их ответственность перед детьми. Молодая женщина с Кавказа сказала переводчице:

«Скажите поэту, — мы, жители закавказских республик, особенно благодарны Октябрьской революции, потому что она принесла нам настоящую свободу и счастье. Мы начали строить новую жизнь, но мы очень хорошо понимаем все трудности и готовы принести любые жертвы. Скажите поэту, что многочисленные народы Советского Союза хотят передать через него свое искреннее сочувствие индийскому народу. Скажите ему, что, если бы было можно, я бы оставила дом, родных и детей и уехала помогать его соотечественникам».

Среди присутствующих был один человек с монгольскими чертами лица. Когда я спросил о нем, мне сказали,

что это сын киргизского крестьянина, приехавший в Москву изучать текстильное производство. Через три года он станет инженером и вернется в свою республику: после революции там построили большую фабрику, на которой он будет работать.

Не забывай, что людям различных национальностей предоставляют здесь такие неограниченные возможности учиться, и сами они с таким энтузиазмом осваивают секреты промышленного производства главным образом потому, что никто не думает о личном обогащении. Чем просвещеннее народ, тем больше пользы всему обществу, а не отдельным богачам. А мы говорим, что в нашей алчности виновата машина, а в том, что мы пьяны — пальмовый сок, уподобляясь учителю, который наказывает учеников за собственную никчемность.

В Доме крестьянина я своими глазами видел, как далеко ушли русские крестьяне от индийских за какие-нибудь десять лет. Они не только научились читать, они изменились внутренне и стали людьми. Сказать только об образовании, — значит почти ничего не сказать. Удивительная энергия, с которой они взялись за подъем сельского хозяйства, поражает ничуть не меньше. Подобно Индии, это, по преимуществу, аграрная страна, поэтому ее существование зависит от развития сельскохозяйственной науки. Об этом они помнят. Перед ними стоит задача исключительной трудности. Они отнюдь не рассчитывают на высокооплачиваемых чиновников гражданской службы: все способные руководители и знающие ученые сообща решают эту задачу. За последние десять лет сельскохозяйственная наука в России добилась таких успехов, что о ней сейчас говорят в научных кругах всего мира.

Например, до войны у них не селекционировали семян. А сегодня в их распоряжении запас более чем в миллион тонн селекционного семенного зерна. Кроме того, новые сорта высеваются не только на опытных участках сельскохозяйственных учебных заведений, а быстро распространяются по всей стране. Крупные опытные хозяйства организованы в самых отдаленных уголках Азербайджана, Узбекистана, Грузии, Украины и в других республиках.

Нам, британским подданным, и не снился такой безграничный, всеобщий энтузиазм, с каким они взялись за

просвещение больших и малых народностей всех краев и областей России. До приезда сюда я даже не представлял, какие это приняло масштабы. Мы с детства воспитывались в атмосфере Закона и Порядка и, естественно, не видели ничего подобного.

Когда я последний раз был в Англии, мне впервые удалось услышать от одного англичанина, что в России во имя блага народа буквально творят чудеса. Теперь я увидел это сам и убедился, что в их государстве нет никакой расовой дискриминации. Эффективность, с какой при Советской власти распространяется образование среди самых отсталых, полуцивилизованных народностей, для нас просто непостижима!

А между тем кое-кто усердно распускает слухи о нашей интеллектуальной и духовной ограниченности и житейской непрактичности, забывая, что все это — неизбежное следствие отсутствия образования. В Англии есть такая поговорка: «Клевета смерти подобна!» Поистине, это так. Пока на нас лежит несмываемое пятно клеветы, нас можно до бесконечности бросать в тюрьмы и отправлять на виселицы.

*Берлин,
2 октября 1930 г.*

Твое письмо застало меня на перепутье: я только что был в России, а теперь отправляюсь в Америку. Я приехал в Россию, чтобы познакомиться с их системой просвещения. Все, что я увидел, меня поразило. За восемь лет просвещение изменило духовный облик народа. Немые обрели речь, тупые — живую душу, униженные — человеческое достоинство. Со дна общества, из самых темных его глубин, поднялись те, кого все презирали. Теперь они получили равные права.

Трудно себе представить, как молниеносны перемены при таком огромном населении. Душа радуется, когда видишь, как воды просвещения хлынули в пересохшее русло. Везде быт ключом инициатива и творчество. Свет новых надежд озаряет их путь. Повсюду кипит полнокровная жизнь.

Вся их энергия сосредоточена в трех областях: просвещение, сельское хозяйство, промышленность. Направляя усилия народа на решение этих трех задач, они стремятся предоставить ему все возможности развиваться духовно, жить и трудиться. Как и в нашей стране, здешнее население живет главным образом сельским хозяйством. Но наш крестьянин невежествен и бессилен, у него нет ни знаний, ни инициативы. Его единственным слабым подспорьем является традиционная, вековая система земледелия. Но она подобна старому, пережившему многих хозяев слуге, который сам уже ничего не делает, а только распоряжается в доме. Если ему подчиняться, далеко не уйдешь! Изменить эту систему тоже невозможно, и вот она существует из века в век.

Когда-то покровителем земледелия у нас был, кажется, Кришна Говардханадхари: он не скучал в своей пастьешей хижине. У него был старший брат Плугодержец Баларама. Плуг Баларама — прообраз современных машин. Машина, орудие придавали земледельцу силу. Но теперь Баларама не увидишь на наших полях. Пристыженный, он отправился за океан, туда, где его орудие ценят и прославляют. Его позвали к себе русские крестьяне. Там во мгновение ока разрозненные клочки слились в одно огромное поле и новый плуг Баларама возвращает жизнь Земле, которая была такой же мертвой, как обращенная в камень Ахалья. Кстати, не надо забывать, что Баларама это наш Рама в облике Плугодержца.

До революции 1917 года девяносто процентов здешних крестьян и в глаза не видели современных сельскохозяйственных орудий. Как и наши крестьяне, они были полной противоположностью Балараме, — голодные, беспомощные, бессловесные. А сегодня на их полях появились тысячи машин. Раньше они были тем, что у нас называют божьей скотиной, а теперь они соратники Баларама.

Но от одних машин мало прока, если сам машинист не стал человеком. В России обработка земли ведется одновременно с воспитанием сознания. Здешнее образование по-настоящему жизнотворно. Я всегда говорил, что образование должно быть связано с жизнью. Оторванное от жизни, оно пропадает, как залежалый товар.

Я убедился, что здесь образование стало жизненной необходимостью, потому что школы не отделены глухой стеной от окружающего мира. Они учат не для того, чтобы подготовить учеников к экзаменам или сделать из них ученых педантов, а чтобы превратить их во всесторонне развитых людей. У нас тоже есть школы, но в них заучивание преобладает над умом, а мертвые знания над живой силой; бремя книжной премудрости сковывает разум, лишая его инициативы. Как часто пытался я вызвать наших студентов на спор, и каждый раз видел, что им не о чем даже спрашивать. У них нарушена связь между желанием знать и знанием. Их никогда не учили познавать: с самого начала они получали строго отмеренные, сухие сведения, а потом они повторяли на экзаменах то, что смогли заучить.

Помню, когда группа учеников Махатмы Ганди вернулась из Южной Африки в Шантиникетон, я как-то спросил одного из них, не хочется ли ему прогуляться в роще парулов. Он ответил, что не знает. Он хотел сначала спросить об этом у руководителя группы. «Можешь спросить его, — сказал я, — но скажи, тебе-то самому хочется пройтись?» И он снова ответил: «Не знаю». Короче говоря, этот юноша совершенно не привык мыслить и действовать самостоятельно: идет, куда его ведут, и никогда ничего не решает сам.

Хотя подобная инертность ума в самых простейших ситуациях в общем-то несвойственна нашим студентам, все же она вызывает опасения, что их разум неподготовлен к решению более сложных задач. Они привыкли всегда ждать, что скажут им вышестоящие. Большой духовной беспомощности не найти нигде в мире!

Создавая свою систему обучения, русские проводят многочисленные эксперименты; я постараюсь как можно подробнее рассказать о них позднее. Можно многое узнать о системе образования из книг и отчетов, однако гораздо важнее результаты просвещения, которые видишь на примере живых людей. Я убедился в этом, когда однажды посетил один из воспитательных центров страны, которые называются здесь пионерскими коммунами. Здешние пионеры несколько напоминают отряды броти-балок и броти-балика у нас в Шантиникетоне.

Войдя в дом, я увидел два ряда мальчиков и девочек, выстроившихся по обеим сторонам лестницы, чтобы приветствовать меня. Как только я вошел в комнату, они расселись вокруг меня, словно я тоже был из их отряда. Не забывай, что все они — сироты! Когда-то их отцы принадлежали к самым бесправным и безгласным: покинутые и презираемые всеми, они были обречены на нищету. Теперь я смотрел на лица детей и не находил в них даже следа подавленности или приниженности. В них нет запуганности, нет связанности. Наоборот, в каждом лице — решимость, словно они твердо знают, какая работа их ждет впереди, и всегда к ней готовы. Им совершенно чужда вялость или невнимательность.

По поводу моего краткого ответа на их приветствие, один мальчик сказал: «Те, кто живет чужим трудом, — буржуи, — стремятся к личному обогащению, а мы хотим, чтобы богатства страны принадлежали всем поровну. По этому завету мы живем».

«Мы все для себя делаем сами, — добавила одна девочка. — Когда что-нибудь нужно сделать, мы советуемся между собой и делаем так, чтобы хорошо было всем».

«Мы, конечно, можем ошибиться, — сказал другой мальчик, — но если нужно, нам всегда помогут советом взрослые. Когда это необходимо, младшие мальчики и девочки советуются со старшими, а те обращаются к учителям. Так управляется вся наша страна, и так живем мы сами».

Отсюда ты можешь сделать вывод, что их воспитание не ограничивается книжной премудростью. Они вырабатывают свое поведение и воспитывают свой характер в соответствии с их жизненным идеалом. Они поставили перед собой ясную цель, и достичь ее — для них дело чести.

Я много раз говорил моим ученикам и учителям, что в нашем маленьком мирке Шантиникетона мы должны в полной мере показать, что обладаем чувством ответственности за благосостояние народа и способны к самоуправлению, которого добиваемся для всей страны. Наша система должна представлять собой объединенное самоуправление студентов и преподавателей, и когда она достигнет совершенства, наш опыт может стать основой для разрешения проблем всей Индии. О необходимости подчинения

личных интересов общественным бесполезно кричать с государственной трибуны: для этого надо сначала подготовить поле, и таким полем является наш Шантиникетон.

Позволь мне привести маленький пример. Во всех обычаях и вкусах, касающихся еды, Бенгалия, наверное, стоит на первом месте по нелепости и безалаберности. Мы без всякой нужды перегружаем наши кухни и желудки, и что-либо изменить в этом отношении очень трудно. Если бы наши ученики и учителя, постоянно заботясь о благе нации, смогли бы установить необходимый контроль за собственными вкусами и своей пищей, я бы считал, что наша воспитательная система одержала победу. Мы считаем, что если ученик запомнит, что трижды девять будет двадцать семь, — это и есть образование, и, естественно, страшно огорчаемся, когда ученик делает ошибки в счете. Но когда воспитание пренебрегает вопросами питания, это по меньшей мере глупость! Мы отвечаем перед всей страной за то, чем питаемся каждый день, и ответственность наша огромна: осознать ее до конца гораздо важнее, чем выдержать экзамены.

Я спросил пионеров:

— Что вы делаете, если кто-нибудь провинится?

Одна из девочек ответила:

— Наказывать нас некому, мы сами себя наказываем.

Я сказал:

— Расскажи об этом подробнее. Предположим, кто-нибудь из вас совершил проступок, вы что, собираете специальное собрание, чтобы его осудить? Выбираете из своей среды судью? И какие у вас меры наказания?

Другая девочка ответила:

— Это не совсем суд: мы просто обсуждаем дело. Вынести порицание — это уже само по себе наказание, а других у нас нет.

Один из мальчиков добавил:

— Виноватый огорчается, и мы за него огорчаемся, на этом и делу конец.

Я спросил:

— А представьте, что кто-нибудь считает, что его осудили неправильно, к кому он может обратиться, кроме вас?

Мальчик ответил:

1998

Abstract

1) ដល់ មន្ត្រី ក្រសួង ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា រដ្ឋសភា រដ្ឋមន្ត្រី - គណៈរដ្ឋមន្ត្រី
 គណៈកម្មាធិការ ជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត អគ្គនាយកដ្ឋាន បោះឆ្នោត រដ្ឋបាល
 ប្រជាជន រាជធានីភ្នំពេញ ខេត្តកំពង់ចាម ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ខេត្តកំពត
 ខេត្តកំពង់ធំ ខេត្តកំពត ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ខេត្តកំពង់ធំ ខេត្តកំពត

11/23. Поделю описанную книгу поделю своимъ брату Ивану. Онъ
будетъ читать, и когда придетъ, то придетъ поделю поделю
поделю и со мною.

[illegible][illegible][illegible]

Самостоятельно, без чужой помощи, по карте и плану, по описанию, по
рассказу, по рассказам, по рассказам, по рассказам, по рассказам, по рассказам,
по рассказам, по рассказам, по рассказам, по рассказам, по рассказам, по рассказам,

1. В соответствии с требованиями к документам, подлежащим хранению в архивах, в настоящее время в архиве хранятся следующие документы:

Письмо Р. Тагору от пионеров коммуны

[illegible][illegible]

— В таком случае мы голосуем; если по мнению большинства он виновен, то и говорить больше не о чем.

— Так-то оно так, — продолжал я, — но, если кто-либо из детей считает, что большинство отнеслось к нему несправедливо, может он возражать?

Тут поднялась одна девочка и сказала:

— В этом случае мы, наверное, обратились бы за советом к учителям, но такого у нас никогда еще не было.

Я сказал:

— Ваше единство само защищает вас от осуждения.

На вопрос, в чем заключаются их обязанности, мне ответили: «В других странах люди стремятся получить за свою работу деньги или почет, но нам этого не нужно, мы работаем только ради блага всего народа. Мы ходим по деревням и обучаем крестьян грамоте, объясняем им, как соблюдать чистоту, как разумно организовать каждое дело. Очень часто мы живем среди них, ставим пьесы, рассказываем о положении в стране».

Затем они пожелали показать мне то, что они называют живой газетой. «Мы должны знать очень много о своей стране, — сказала одна девочка, — а то, что мы знаем, мы должны донести до сознания всех. Работать по-настоящему можно только тогда, когда много знаешь и хорошо разбираешься в фактах».

Один из мальчиков добавил: «Мы получаем знания из книг и от своих учителей, затем обсуждаем их между собой, и только после этого нам разрешают передать их другим».

Я увидел живую газету. Тема ее — пятилетний план. Дело в том, что они взяли на себя трудное обязательство: за пять лет оснастить техникой всю страну, используя электричество и силу пара. А страна их не ограничивается Европейской Россией: она простирается далеко в Азию. Их энергия устремляется и туда, но не для обогащения богатых, а для улучшения жизни всего общества, в которое входят и смуглокожие народы Средней Азии. Никто не боится и не раздумывает над тем, что будет, если и они обретут силу.

Для такого дела им понадобятся огромные суммы. На европейских рынках их деньги хождения не имеют, по-

этому за все нужно платить валютой. Приходится экономить на еде, чтобы купить самое необходимое. Зерно, мясо, яйца, масло — все пошло на иностранные рынки. Стране грозит голод. А впереди еще два года. Зарубежные капиталисты злорадствуют. Иностранные инженеры тоже причинили здесь немало вреда. Дело огромное и сложное, а времени очень мало. Медлить они не могут, потому что стоят перед лицом враждебного капиталистического мира. Им крайне необходимо как можно быстрее собственными силами поднять материальный уровень. Три тяжелых года миновали, осталось еще два.

Живая газета напоминает театральное представление. С флажками в руках, они танцуют и поют, рассказывая о том, каких успехов достигнет страна благодаря индустриализации. Это стоит посмотреть. Они хотят внушить тем, кто лишен самого необходимого и переживает страшные трудности, что скоро эти трудности исчезнут, чтобы мысли о будущем помогли им с честью переносить лишения. Отрадно, что готовность идти на любые жертвы выражает весь народ, а не какая-то отдельная кучка людей.

Эта живая газета рассказывает также о событиях в других странах. Я вспомнил об одном пантомимическом представлении в Патисаре, посвященном спасению тела и души и тому подобным вещам. Форма была та же, но цели и содержание — совершенно другие. Я решил, что, как только вернусь, непременно организую в Шантиникетоне и Шуруле такую живую газету.

Распорядок дня у пионеров следующий. В семь часов утра они встают. В течение пятнадцати минут делают физические упражнения, умываются и завтракают. В восемь часов начинаются занятия. В час дня — перерыв на обед и отдых. Занятия продолжаются до трех часов. Они изучают историю, географию, арифметику, основы естествознания, химии и биологии, механику, политграмоту, обществоведение и литературу, рукоделие, столярное и переплетное дело, современные сельскохозяйственные машины. Воскресенья нет. Каждый пятый день — выходной. В определенные дни после трех часов пионеры по заранее составленному плану посещают фабрики, больницы, деревни и т. д.

Посещение деревень проводится в организованном порядке. Иногда они сами ставят пьесы, иногда ходят в театр или кино. По вечерам читают книги, рассказывают, спорят, устраивают литературные и научные конференции. В выходной день они чинят одежду, занимаются уборкой помещений и двора, читают дополнительную литературу, гуляют. Дети поступают в школу семи-восемилет, заканчивают ее в шестнадцать. Во время обучения у них не бывает таких больших перерывов из-за продолжительных каникул, как у нас. Поэтому они успевают за более короткое время пройти гораздо больше.

Одним из достоинств здешних школ является то, что дети изображают рисунками все, что узнают из книг: так они лучше запоминают прочитанное и учатся рисовать; обучение сочетается с радостью творчества. Может показаться, что работа поглощает их без остатка и что они вообще пренебрегают искусством. Но это совсем не так. Без предварительного заказа вам не достать билетов на хороший спектакль или оперу, — огромные театры, построенные еще во времена царей, переполнены: театральное искусство стоит у них на такой высоте, что лишь немногие нации могут с ними сравниться. В прежние времена театры были доступны только царской семье и дворянству. Сегодня они до отказа забиты теми, кто совсем недавно ходил в грязных лохмотьях, босой, подышал с голоду, жил в вечном страхе перед богом, всячески задабривал священников, заботясь о спасении своей души, и беспредельно унижался, валяясь в пыли у ног господ.

В тот день, когда я попал в театр, там шла драма «Воскресение» по Толстому. Весьма сомнительно, чтобы эта драма была до конца понятна простому народу. Тем не менее зрители слушали с большим вниманием. Трудно себе представить, чтобы английские крестьяне и рабочие могли бы так же сосредоточенно и спокойно наслаждаться подобной пьесой до поздней ночи. А о нашем народе нечего и говорить.

Приведу еще один пример. В Москве была устроена выставка моих картин. Как ты знаешь, они не совсем обычны. Они не только иностранные, они, как бы это сказать, странные, вернее, не относятся ни к какой стране. И тем не менее народ толпился перед ними без конца.

За несколько дней выставку посетило, по крайней мере, пять тысяч человек! И что бы мне ни говорили, я не могу не отдать должное их вкусу.

Однако оставим вкусы в покое. Предположим, это было праздное любопытство. Но как раз оно свидетельствует о пробуждении сознания! Помню, как-то раз я привез из Америки ветряное колесо, чтобы черпать воду из глубины колодца. Но я был огорчен, когда увидел, что это колесо не зачерпнуло и капли любопытства из глубин детских сердец. У нас есть электростанции, но кто из детей проявляет к ним интерес? А ведь это дети интеллигенции! Когда разум вял, любознательность засыпает.

Мне здесь подарили много рисунков, сделанных советскими школьниками. Диву даешься, глядя на эти картины: настоящее искусство, не подражание, а плоды собственного воображения. Мне было отрадно видеть, что им доступна и фантазия и творчество.

С тех пор как я побывал в России, я много думаю о просвещении у нас на родине. Я здесь кое-что узнал и в одиночку с моими слабыми силами попытаюсь хотя бы частично использовать это на практике. Но где взять время? Для меня и пятилетний план не по плечу. Почти тридцать лет я один греб против течения, и, видимо, придется так грести еще несколько лет. Знаю, что уплыву недалеко, но жаловаться не стану.

Сегодня уже поздно. Ночной поезд должен доставить меня в порт, а завтра я буду в море.

*Атлантика, пароход «Бремен»,
3 октября 1930 г.*

Я плыву к берегам Америки. Но воспоминания о России до сих пор владеют мною. Дело в том, что ни одна страна, которую я посетил, еще так не потрясала моего воображения. В других странах деловая энергия распылена: каждый специалист трудится только в своей области — будь то политика, медицина, школы или музеи. А здесь вся страна, устремленная к одной цели, собрала все свои силы, связала их единой нервной системой и

как бы превратилась в один гигантский организм, в одну колоссальную личность.

Такое глубокое единение невозможно в других странах, где эгоистичное соперничество из-за денег и власти разъединяет общество. За пять лет мировой войны основные усилия отдельных стран поневоле вливались в единое русло, подчиняясь, хотя бы временно, единой воле и цели. В России же единство — основа всего. Они создают нечто совершенно небывалое, как это ни называй — общее дело, единство духа или общественная собственность.

Только в России я до конца понял смысл изречения из «Упанишад»: «Не алкай». Что это значит? Это значит, что все подчиняется Единому, а эгоистичная алчность мешает его познанию. «В отречении обретешь». То же самое говорят и большевики. Они признают лишь одну человеческую истину, имея в виду материальную сторону жизни. Пользуйся только тем, говорят они, что проистекает из этой истины: «Не алкай чужой собственности». Ибо всюду раздел достояния ведет к алчности. Борясь с ней, они и говорят: «В отречении обретешь».

Во всех других европейских странах смысл жизни сводится к личному обогащению и потреблению. Влияние этих факторов огромно: подобно бурному мифическому океану они выбрасывают на поверхность одновременно яд и нектар. Но нектар достается меньшинству, а большинству — отравы, отсюда бесконечные трения и столкновения. До недавнего времени все считали это неизбежным, говорили, что алчность свойственна человеку, а она в свою очередь неминуемо ведет к неравномерности в распределении жизненных благ, поэтому соперничество никогда не исчезнет и всегда нужно быть готовым к борьбе. Но смысл того, что утверждают Советы, сводится к следующему: человеческая сущность заключена в единстве, разобщенность же — это лишь наваждение, и как только мы трезво взглянем на нее и оценим, она исчезнет как сон.

В России стремление к единству охватило всю страну. Все подчинено этой главной цели. Вот почему, приехав сюда, я словно прикоснулся к великой душе.

Нигде еще не видел я такого расцвета образования, как здесь. В других странах плоды его достаются только тем, кто образован. Как говорится: «Ученый не ходит пешком и ест свой рис с молоком». Здесь же знания служат всем. Невежество одного человека тяготит всех остальных, ибо они стремятся с помощью всеобщего образования обогатить разум всего общества на благо человечества. Они — Вишвакармы — творцы вселенной, они заботятся обо всем мире, а потому хотят, чтобы их образование было поистине универсальным.

Советское правительство распространяет образование самыми различными способами. Один из них — это музеи. Во всех городах и деревнях открываются всевозможные музеи. И эти музеи не просто существуют, как наша библиотека в Шантиникетоне, но ведут активную работу.

В России широко распространено краеведение. Этим занимается около двух тысяч просветительных центров, где работает более семидесяти тысяч человек. В каждом таком центре изучают историю края, его экономику в прошлом и настоящем, особенности его почв, а также ведут разведку полезных ископаемых. Музеи, организованные при таких краеведческих центрах, играют значительную роль в деле просвещения. Развитие краеведения и сети связанных с ним музеев стало одним из главных путей, ведущих к торжеству новой эры в Советской России, эры всеобщего просвещения.

Калимохон пытался организовать изучение окрестностей в Шантиникетоне, но без особого успеха, так как ни студенты, ни преподаватели не проявили интереса к этому начинанию. Воспитать ищущий, творческий ум нелегко, но это не менее важно, чем результаты, которые можно ожидать от него в будущем. Я слышал, что Пробхат ввел курс краеведения для студентов экономического отделения колледжа, но такую работу следует проводить в более широких масштабах. Надо привлечь к ней учащихся из школы Патхбхобон и организовать музей с краевыми экспонатами.

Тебе, конечно, хочется знать, как работают в России картинные галереи. В Москве есть знаменитое собрание картин, которое называется Третьяковская галерея. За один год, с 1928 по 1929, ее посетило около трехсот

тысяч человек. Здание не вмещает всех желающих, поэтому накануне выходного дня люди записываются в очередь.

До установления Советской власти в 1917 году посетителями галерей были дворяне, образованные люди и те, кого здесь называют буржуазией, то есть люди, живущие чужим трудом. А теперь сюда приходят те, кто живет трудом своих рук, — каменщики, кузнецы, бакалейщики, портные, — и нет им числа! Здесь бывают также красноармейцы, их командиры, студенты и крестьяне.

Они хотят постепенно развивать у народа художественный вкус. Неискушенным людям трудно постичь таинство искусства с первого взгляда. Растерянные и ошеломленные, бродят они по залам, разглядывая картины на стенах. Поэтому почти в каждом музее есть опытные экскурсоводы из числа научных работников музея или из других смежных государственных учреждений. С посетителями музеев у них нет никаких денежных расчетов. Однако следует учесть, что посетителям мало знать только сюжет картины.

До сих пор лишь немногие разбираются в композиции, цветовой гамме, перспективе и освещении картины, не говоря уже о технических приемах той или иной живописной школы. Поэтому экскурсоводы должны иметь соответствующую подготовку, чтобы пробудить любознательность посетителей. Они должны также понимать, что в музее много картин, а не одна, значит, нельзя останавливать внимание посетителей только на одной картине; нужно познакомить их со всей экспозицией и помочь им разобраться в различных художественных направлениях. Обязанность экскурсовода — выбрать наиболее характерные картины и объяснить их особенности, причем картин этих в зале должно быть не слишком много и на них не стоит задерживаться более двадцати минут. Самое главное, — это объяснить, что у каждой картины есть свой язык, свой особый ритм, и добиться, чтобы посетители осознали связь формы с содержанием и поняли замысел художника. Весьма полезно оттенить особенности картины путем сравнения ее с другими. И надо сразу же прекратить объяснения, как только внимание посетителей хоть немного ослабнет.

Эти наставления я взял из инструкции, советующей, как научить неискушенных посетителей разбираться в живописи.

Нам же необходимо обратить внимание на следующее: как я уже писал в предыдущем письме, они делают все возможное, чтобы в кратчайший срок укрепить мощь страны путем подъема сельского хозяйства и промышленности. И это очень важно. Им приходится прилагать невероятные усилия, чтобы в одиночку выстоять в соревновании с богатейшими капиталистическими странами.

У нас же, как только речь заходит о решении общенациональных задач, раздаются голоса: давайте зажжем один факел и погасим все остальные светильники, чтобы люди не отвлекались от главного! Особые нарекания вызывает искусство, мешающее якобы суровой целеустремленности. Надо, мол, сделать из наших соотечественников солдат, которые умеют только маршировать... Если бы вину Сарасвати можно было превратить в дубинку, тогда хорошо, а иначе — она ни к чему!

Тому, кто повидал Россию, ясно все фарисейство подобных речей. Здесь не только неустанно обучают рабочих, чтобы сами они могли управлять заводами и фабриками всей страны, но и стараются, чтобы простые труженики были достаточно подготовлены для понимания живописи. Они знают, что те, кто не способен оценить красоту, остаются варварами, а варвар, при всей его внешней силе, всегда проявляет внутреннюю слабость.

Театральное искусство достигло в России необычайных успехов. В революцию 1917 года и во время последовавшего за ней страшного голода русские продолжали танцевать, петь, ставить пьесы, и это не вступало в противоречие с великой исторической драмой их страны.

Пустыня бессильна. Истинная сила проявляется там, где из камней с шумом вырываются потоки, где величавые горные вершины озарены сиянием вечно юной весны. Викрамадитья изгнал из Индии саков, но он не мешал Калидасе создавать «Облако-Вестник». Никто не станет отрицать, что японцы хорошо владеют мечом, но с не меньшим искусством они владеют и кистью. Если бы по приезде в Россию я увидел, что все здесь — работники,

способные лишь обслуживать фабрики или ходить за плугом, я бы решил, что они обречены на вырождение и гибель. Дерево, которое перестало источать нектар, перестало шелестеть листвой и гордится только своей древесиной, ничем не отличается от бревна в плотницкой мастерской: оно может быть еще крепко, но уже никогда не принесет плодов. Поэтому я хочу еще раз сказать всем нашим суровым борцам и святым: когда я вернусь на родину, никакие полицейские репрессии не заставят меня отказаться от моих песен и танцев!

Театральное искусство, достигшее необычайного расцвета на русской сцене, не прекращает смелых поисков новых путей. Такой же дерзновенной смелостью и стремлением к новизне отмечена их социальная революция. Они не боятся нового ни в чем — ни в общественных отношениях, ни в политике, ни в искусстве.

Русские революционеры с корнем вырвали сорняки прежней религии и государства, которые веками глушили разум народа и высасывали из него все жизненные соки. Сердце радуется, когда видишь, какую свободу обрели за короткий срок люди, так долго томившиеся в оковах! Ибо ни один правитель, каким бы он ни был тираном и как бы ни сковывал своих подданных цепями, не может быть более страшным врагом, чем религия, которая несет с собою невежество и убивает свободу духа. Давно известно, что правитель, стремящийся держать народ в рабстве, находит верного союзника в религии, которая держит народ в темноте. Религия подобна злой волшебнице: обнимая, она заворачивает, а заворачив — опаивает смертоносным ядом. Стрелы веры страшнее боевых стрел, потому что они глубже проникают в сердце и убивают, не причиняя боли.

Советы спасли страну от унижений царизма и самоунижения духовного рабства; и сколько бы их ни осуждали священники разных стран, я не могу осудить. Атеизм куда лучше религиозного фанатизма.

Страшная тяжесть царского гнета и религии давила на плечи России, а сегодня каждый, кто приедет сюда, увидит собственными глазами, какие огромные возможности открылись перед страной, когда это бремя сброшено,

Покинув Россию, я плыву в Америку.

Единственной целью моей поездки в Россию было ознакомить в короткий срок с распространением образования и достигнутыми результатами.

Я считаю, что все бедствия, которые терзают грудь Индии, проистекают из нашего невежества. Кастовые различия, религиозные распри, отсутствие инициативы, нищета — все это следствия одной причины — недостатка образования. Комиссия Саймона, перечислив все грехи Индии, пришла к выводу, что единственное, в чем можно упрекнуть англичан, — это в недостаточном распространении образования. Но может ли быть бóльшая вина? Представьте, что кто-то говорит вам, что хозяин дома неуклюже спотыкается о каждый порог, постоянно теряет то одну вещь, то другую и потом не может отыскать ее, боится собственной тени; готов броситься с палкой на родного брата, принимая его за вора; в страхе цепляется за постель, когда спит, а проснувшись, не решается выйти из дому; голодает, не зная, где найти еду, и не ищет выхода, слепо уповая на судьбу, — можно ли такому хозяину доверять дом? И как бы все это прозвучало, если бы вам шепотком добавили под конец, что в этом доме погашен свет.

Когда-то в Европе сжигали невинных женщин, обвиняя их в колдовстве, убивали ученых как еретиков, жестоко подавляли свободу вероисповедания и лишали иноверцев всех политических прав. К этому можно прибавить слепоту, невежество и зверские обычаи средневековья, — все, что ушло в небытие. Но как это случилось? Неужели им тоже пришлось свидетельствовать о собственном бессилиии? Нет. Единственное, что способствовало их прогрессу, это просвещение.

Только благодаря образованию Япония смогла за короткий срок поднять свой политический престиж и производственную мощь, объединив усилия государства с чаяниями народа. Современная Турция тоже освобождается от страшного гнета религиозного фанатизма с помощью образования, которому уделяется самое пристальное внимание. «Одна Индия спит», — спит, потому что ей не дают

света образования, который озаряет мир по ту сторону крепко запертой двери.

Отправляясь в Россию, я не питал особых надежд. Я судил о том, что могло быть достигнуто и чего не достигли, на примере Британской Индии. Сам святой отец Томпсон с прискорбием возвестил миру о непреодолимых трудностях, которые стоят на пути развития нашей страны. И мне приходилось с ним соглашаться — да, трудностей немало, — иначе как бы мы оказались в таком положении?

Но я знаю одно: поднять народные массы в России было так же трудно, если не труднее, чем в Индии. Прежде всего потому, что народ духовно и физически был там таким же, как у нас, невежественным и беспомощным, его таланты были погребены под мертвым грузом молитв, церковных служб, суеверий и заклятий, а его чувство собственного достоинства втоптанно в пыль сапогами господ. Ни одна из привилегий и благ современного века науки не была им доступна. Над их судьбами тяготел мертвый дух предков, оковывавший их тысячеletними цепями. И когда их возмущение вырывалось наружу, оно выражалось в звериной жестокости, направленной против своих же соседей, евреев. Они с такой же готовностью обрушивались на себе подобных, с какой сгибались под бичами господ.

Так было прежде. Сегодня эти люди, сами определяющие свою судьбу, еще не так сильны, как англичане. Они пришли к власти только в 1917 году, у них не было ни средств, ни времени, чтобы обеспечить политическую устойчивость государства, и им приходилось ежечасно думать о врагах, как внутренних, так и внешних, — ведь даже англичане и американцы явно и тайно поддерживали контрреволюцию! Вот почему трудности поставленной ими перед собой цели — поднять весь народ, сделать его жизнедеятельным и просвещенным — неизмеримо больше «трудностей», стоящих перед правительством Индии.

Исходя из всего этого, я не ждал от России многого. Мы так часто обманывались в своих ожиданиях, и так редко они оправдывали наше доверие. Я прибыл в Россию с едва теплящейся надеждой, на какую способен гражданин нашей несчастной страны. Но то, что я увидел, повергло меня в изумление. У меня было слишком мало вре-

мени, чтобы выяснить, в какой мере здесь существует, а может быть, вовсе не существует Закон и Порядок. Мне говорят, что здесь нередко прибегают к принуждению и даже, случается, осуждают без суда, что здесь существуют все свободы, кроме свободы противодействия властям. Но это всего лишь теневая сторона Луны, а я хотел увидеть ее светлую сторону. И свет, который я увидел, поражал меня — мертвое ожило!

Говорят, что в некоторых святых местах Европы мгновенно, божьей милостью, исцелялись хронические паралитики. То же самое произошло здесь. В мгновение ока костыли превратились в колесницы, а презренные пешие воины за десять лет превратились во всадников. Среди народов мира Россия стоит теперь с высоко поднятой головою: разум ее независим и руки свободны.

Миссионеры нашего короля по многу лет жили в Индии, чтобы убедиться, насколько непреодолимы наши «трудности». Им не мешало бы хоть раз побывать в Москве. Впрочем, и это ничего бы не изменило. Они ведь привыкли видеть лишь темные стороны, а светлые для них неразличимы, особенно когда их не хотят видеть. Только они забывают, что в их правлении темные пятна можно различить и без очков.

Мне почти семьдесят лет, но до сих пор я еще никогда не терял терпения. Видя страшное бремя невежества, угнетающего мою родину, я больше всего сетовал на нашу злосчастную судьбу. С моими слабыми силами я даже предпринимал скромные попытки что-то изменить, но колесница моих надежд слишком часто ломалась на долгом пути. Страдания моего несчастного народа заставляли меня забывать о гордости. Я обращался за помощью к властям, но милостыня не насыщала, а только унижала. И самое горькое и постыдное — это то, что наши соотечественники, вскормленные объедками со стола своих английских господ, чинили мне больше всего препятствий. Это самая страшная язва, разъедающая страну, где правят чужеземцы. В таких странах самый сильный яд — это зависть, мелочность и предательство по отношению к людям своего рода и племени.

Что бы мы ни делали, выше всего — садхана — стремление к постижению души. Когда в суете государствен-

ных, экономических и прочих дел садхана ослабевает — ослабевает человеческая душа. Я не избавлен от этого и потому так стремлюсь ухватиться за что-то настоящее, истинное. Некоторые смеются надо мной, другие злобствуют, третьи стараются перетянуть на свою сторону.

Я не знаю, откуда пришел в этот благословенный мир, но знаю, что иду к алтарю моего божества. Божество, которому я поклонялся всю жизнь, — Человек. И пока надо мною сияет его венец, люди всех племен и сословий зовут меня, усаживают на почетное место и внимают моим речам. Но как только я становлюсь индийцем — все меняется! Пока они видят во мне человека, они уважают меня как индийца, но едва они замечают, что я индиец, меня перестают уважать как человека.

Груз ошибок религии отягощает меня на моем жизненном пути. Но мне недолго осталось ходить по земле, и я стремлюсь к тому, чтобы быть искренним, а не к тому, чтобы кому-то понравиться.

Мои впечатления о России доходят до родины и в правдивом, и в искаженном свете. Я начинаю презирать себя за то, что не всегда могу оставаться к этому безучастным. Иногда мне кажется, что, если в моем возрасте, когда пора стать отшельником, я не перестану вмешиваться в мирские дела, это не доведет до добра.

Будь что будет! Я читал в книгах и немало слышал о громадных «трудностях» этой страны. Но теперь я своими глазами видел, *как их можно преодолеть.*

*Пароход «Бремен»,
5 октября, 1930 г.*

Те, кто у нас считает, что политика — воплощение силы, придерживаются мнения, будто искусство несовместимо с мужественностью. Об этом я уже писал. Когда-то империя русских царей, которых можно сравнить с десятиглавым Раваной, подобно огромному удаву, заглатывала огромные территории, уничтожая свои жертвы.

Революционеры вступили в бой с царизмом почти тринадцать лет назад, но даже после того, как император со своим родом были сметены с лица земли, его

приспешники не успокоились. Их вдохновляли и вооружали иностранные империалисты. Их положение, как ты понимаешь, было нелегким. Приближенные императора, все богачи, чья власть над крестьянами была безгранична, сразу лишились всего. Начались грабежи, жажда разрушения охватила народ, и он не щадил ценностей, принадлежавших богачам. Но даже в период анархии и беспорядка вождями революции был издан строжайший указ — ни в коем случае не трогать произведений искусств. Полуголодные, раздетые и разутые студенты и профессора организовали отряды, которые уносили из покинутых дворцов богачей все, достойное сохранения, и передавали в музеи.

Я вспоминаю о том, что мы видели в Китае. Как беспощадно разгромили европейские империалисты Летний дворец в Пекине! Как безжалостно они грабили и уничтожали бесценные произведения древнего искусства! Никогда больше мир не создаст таких сокровищ.

Советы лишили богачей их богатств, но они не допустили варварского уничтожения сокровищ, которые принадлежат всему человечеству на веки веков. Они вернули тем, кто столетиями возделывал поля для других, не только право на землю, но и на все, что есть ценного в жизни, на все ее радости и наслаждения. Они поняли, что одной сытости достаточно только животным, но не людям, и признали, что настоящему человеку искусство важнее, чем физическая сила.

Правда, во время революции многие предметы искусства, принадлежавшие знати, погибли, однако музеи, консерватории, театры и библиотеки сохранились и даже расширились.

Как у нас когда-то, искусство в России украшало храмы. Лишенные вкуса священники распоряжались им по своему усмотрению. Подобно нашим ученым господам, которые не постеснялись заштукатурить фрески храма в Пури, здешние церковные власти без стеснения уничтожали древние шедевры, не задумываясь над тем, какую историческую ценность они представляют для всех времен и народов. Они даже переплавляли старинные священные сосуды.

В наших храмах и монастырях тоже немало предметов, имеющих историческую ценность. Но они для нас недоступны. Настоятели и жрецы погрязли в невежестве, и у них нет ни ума, ни знаний, чтобы по достоинству оценить то, чем они владеют. Кхити-бабу говорил мне, что в монастырях заточены, подобно сказочным принцессам, древние рукописи. И вызволить их оттуда невозможно. Революционеры взломали ограду церковной собственности и передали все народу. Осталось только то, что необходимо для отправления церковных обрядов, — остальное передано в музеи. Даже в разгар гражданской войны, когда повсюду свирепствовал тиф и железные дороги были разрушены, группы научных работников пробирались в самые отдаленные уголки страны, разыскивая и собирая древнейшие произведения искусства. Нет числа спасенным рукописям, картинам, гравюрам!

До сих пор речь шла только о том, что было украшением храмов и дворцов. Но они сумели оценить и то, что презиралось в прошлом, — творчество крестьян и рабочих. И это касается не только живописи, но и сказаний и песен и других видов народного творчества.

Сначала они собирали народные ценности, потом с их помощью создали систему всенародного просвещения. Об этом я уже писал, но хочу еще раз сказать своему народу: десять лет назад русский народ был на той же ступени развития, что и наш. Какой прекрасный пример одухотворяющей силы просвещения дала Советская власть! Здесь есть все — наука, литература, музыка, живопись, — то есть гораздо больше того, чем располагает наша, с позволения сказать, интеллигенция.

Я узнал из газет, что для обеспечения начального образования у нас вводится новый налог, который будут собирать заминдары. Это означает лишь одно — под предлогом сбора средств на образование будут ограблены те, в ком и так еле-еле теплится жизнь.

Разумеется, такой налог необходим, иначе нечем будет покрыть расходы. Но если он идет на благо всей страны, почему он не распространяется на всех? Почему нельзя облегчить туго набитые карманы правительства, вице-короля, губернатора, чиновников и военщины? Разве они не получают жалований и пенсий деньгами, отобранными у

наших крестьян? Разве иностранцы, владеющие крупными джутовыми фабриками и отсылающие к себе в страну огромные прибыли, полученные за счет пота и крови крестьян, которые выращивают джут, не должны заботиться о просвещении этих крестьян? И почему бы сытым министрам, которые с таким энтузиазмом приняли этот Закон о всеобщем образовании, не заплатить из своего кошелька за свой смехотворный энтузиазм?

Они, видите ли, за всенародное образование! Но я тоже заминдар, однако я что-то делаю для просвещения своих крестьян и готов, если нужно, сделать вдвое, втрое больше. Но при этом я постоянно объясняю им, что я такой же человек, как они, что их просвещение — мое благо, и что я отдаю все, что могу, а вот от властей не получаю ни пайсы.

Бремя реформ, проводимых в России, очень велико: людям не хватает пищи, не хватает одежды, но это бремя разделяют все, сверху донизу. Это скорее не бремя, а подвижничество. Индийское же правительство, вводя минимальное обучение, которое оно называет начальным, пытается смыть с себя позорное пятно, да так, чтобы за это заплатили самые обездоленные, а не те, кто здравствует и процветает под сенью правительства и является его главной опорой.

Если бы я не увидел этого собственными глазами, я бы никогда не поверил, что всего за десять лет в России не только вывели из тьмы невежества и унижения сотни тысяч людей, не только обучили их грамоте, но и воспитали в них чувство человеческого достоинства. Причем они думают не только о себе, но и о благе других народов. Однако последователи различных религий осуждают их и называют безбожниками. Но разве вера только в религиозных трактатах, разве бог только во дворе храма? Разве бог с теми, кто постоянно обманывает людей?

Нужно сказать еще так много. Мне не приходилось раньше писать на такие темы, требующие точных фактов, но я пишу, ибо иначе не могу. Мне хочется снова и снова говорить о системе просвещения в России. Несколько раз мне приходила в голову мысль, что тебе нужно ехать не куда-нибудь, а именно в Россию, чтобы видеть все это. Из Индии сюда приезжают шпионы, приезжают и револю-

ционеры, но мне кажется, что сюда надо прежде всего приехать для изучения постановки образования.

Вот и все; о себе писать нет настроения. Еще, чего доброго, начну воображать, что я великий художник. До сих пор слава моя была чисто внешней — она не затронула моей души. Славой этой, мне кажется, я скорее обязан провидению, чем моим личным качествам.

Сейчас я посреди океана. Что ждет меня впереди, не знаю. Тело устало, дух ни к чему не стремится. Когда же, наконец, я отдохну, вручив создателю, как последнюю дань, чашу нищего, тяжелее которой нет ничего на свете!

*Пароход «Бремен»,
7 октября 1930 г.*

Овладевая той или иной наукой, необходимо не только читать, но и видеть, иначе три четверти знаний пойдут впустую. Впрочем, разве это касается только науки? Это относится ко всем видам просвещения.

В России сочетание того и другого стало возможным благодаря разнообразным музеям. Такие музеи есть повсюду, — и в больших городах, и в областных центрах, они доступны даже обитателям маленьких деревень.

Путешествия — это тоже один из методов наглядного обучения. Все знают, как долго я носился с идеей школы — передвижки. Индия так велика и разнообразна во всех отношениях, что ее невозможно познать по листкам справочника Хантера. Когда-то у нас было принято ходить пешком по святым местам, а наши святы места разбросаны по всей Индии. Такое паломничество помогало живо и всесторонне познавать страну. Если бы ученики, хотя бы с чисто познавательной целью, могли пять лет путешествовать по Индии, их образование было бы совершенным.

Когда разум активен, он легко воспринимает и усваивает все, что ему предлагают в процессе обучения. Коровам, помимо стойла, необходимо пастбище; так и мозгу, помимо повседневных доз знаний, необходимы непосредственные впечатления от путешествий. Книжные знания, которые выдаются порциями в стенах неподвижного

класса, неподвижной школы-тюрьмы, вредно влияют на неокрепший разум. Я ничего не имею против книг — объем знаний, необходимых человеку, настолько велик, что их невозможно, да и незачем, брать от природы, когда они уже собраны в нашей кладовой. Но если бы наши ученики имели возможность сочетать учебу по книгам с изучением природы, нам не оставалось бы желать ничего лучшего. Я много думал об этом и мечтал, если позволят средства, организовать такие образовательные путешествия. Но откуда взять время? Да и средств у меня мало-вато.

В Советской России, как я заметил, путешествия доступны каждому. Страна огромна, ее населяют разные народности. При царе у них не было возможности встречаться и знакомиться друг с другом. В те дни путешествия, разумеется, были роскошью, доступной только богачам. Советская же власть старается сделать так, чтобы путешествовать мог каждый. С самого начала своего существования она стала открывать по всей стране санатории для лечения и отдыха больных и утомленных тружеников. Для этого пригодились дворцы, уцелевшие от прежних времен. Они стараются, чтобы такие санатории служили не только для отдыха, но и были своего рода культурными центрами.

Во время путешествий те, кто имеет к этому склонность, оказывают всякого рода услуги населению. В помощь туристам на путях их следования открыты специальные базы, где они могут поесть, переночевать и получить консультацию по любому вопросу. Кавказские республики очень подходят для изучения строения земли, поэтому здесь на туристских базах читают лекции по геологии. Кстати, в местах, представляющих собой интерес с точки зрения этнографии, есть специально подготовленные инструкторы туристов.

В летнее время тысячи людей, собирающихся отправиться в путешествие, составляют по учреждениям списки. Начиная с мая по всем дорогам расходятся группы туристов по двадцать пять — тридцать человек. В 1928 году в туристическом обществе было только три тысячи членов, а в 1929 их стало более двенадцати тысяч.

Однако сравнивать их в этом отношении с Европой или Америкой нельзя: надо помнить, что всего десять лет назад положение трудящихся в России было таким же, как у нас, и что никто вообще не заботился об их образовании, лечении и отдыхе. А то, что теперь стало доступно им, у нас совершенно недоступно людям среднего достатка и труднодоступно даже для богачей. Наконец, нам, подданным британской короны, вообще невозможно представить, каким широким потоком течет здесь к народу просвещение.

Система здравоохранения организована примерно так же, как система просвещения. Научные исследования советских медиков высоко оцениваются учеными Европы и Америки. И дело не ограничивается тем, что высокооплачиваемые специалисты пишут толстые книги: все внимание направлено на то, чтобы медицина служила народу, чтобы даже вдалеке от культурных центров люди не умирали из-за антисанитарных условий, отсутствия врачебной помощи и лекарств.

В домах Бенгалии чахотка — привычная гостья, поэтому с тех пор, как я побывал в России, меня все время преследует мысль: сколько же у нас санаториев для обездоленных страдальцев, туберкулезных бедняков, даже находящихся на грани жизни и смерти? Вопрос не риторический, потому что недавно миссионеры вещали в Америке о «трудностях», которые англичане испытывают в Индии. Трудности, конечно, есть. Но объясняются они, с одной стороны, невежеством индийцев, а с другой — чрезмерными расходами на английскую администрацию. Кто же, следовательно, виноват?

Россия тоже еще не разрешила своих трудностей, связанных с недостатком пищи и одежды. Россия — огромная страна с многочисленным и разнообразным населением и страшно запущенным в прошлом просвещением и здравоохранением. Но сейчас там ничто не затрудняет распространения образования и санитарии. Вот почему нельзя не спросить: где же настоящие трудности?

В Советском Союзе те, кто трудится, могут бесплатно пользоваться домами отдыха и даже санаториями, где к их услугам не только лечение, но и необходимое питание и соответствующий уход. И все это — в распоряжении

общества, куда входят многие азиатские народы, которые по европейским критериям считаются дикарями.

По сумме расходов, которые в бюджете 1928 года выделены на просвещение этих отсталых народов, живущих у границ или за пределами Европейской России, можно судить о том, какие им предоставляются возможности. Украинская республика — 403 миллиона рублей, Закавказские республики — 134 миллиона, Узбекистан — 97 миллионов, Туркменистан — 29 миллионов рублей.

Во многих республиках распространению образования мешал арабский шрифт. Введение латинского шрифта облегчило задачу.

Позволю себе привести два отрывка из бюллетеня, который служил для меня источником информации:

«Другой важнейшей задачей в области культуры, несомненно, является укрепление местных административных органов и перевод всего административного и общественного делопроизводства в федеративных и автономных республиках на родной язык трудящихся масс. Из-за низкого культурного уровня широких масс рабочих и крестьян и нехватки квалифицированных специалистов это совсем не простая задача, и поэтому для ее решения потребуются огромные усилия».

Немного поясню это. В Советский Союз входят несколько республик и автономных областей. Многие из них находятся за пределами Европы, и образ жизни их населения далек от современного. Из вышеприведенной цитаты ясно, что, по мнению советских людей, основным средством и неотъемлемой частью распространения просвещения является административная деятельность.

Если бы государственным языком в нашей стране был родной язык нашего народа, то ему была бы доступна административная деятельность. Но из-за английского языка тайны управления государством непостижимы для народа. Необходимы посредники, прямой контакт отсутствует.

Народ не умеет управлять своим государством точно так же, как он не умеет пользоваться огнестрельным оружием для самообороны. Змеиная петля гнета затягивается еще туже из-за того, что государственный язык чужой для народа. Не мне судить, насколько плодотворны дебаты

на английском языке в законодательном собрании, но для просвещения народа от них толку мало.

Привожу еще одну цитату:

«Когда перед советскими органами власти встают вопросы культурно-экономического строительства в национальных республиках и округах, они решаются не с точки зрения интересов руководства, а с точки зрения максимального развития самостоятельности широких масс рабочих и крестьян и в соответствии с инициативой местных советских органов».

Речь идет об отсталых народностях. У них всюду трудности, но Советская власть не собирается ждать двести лет, чтобы покончить со всеми ними. Десять лет они работают не покладая рук. Видя и слыша все это, я думаю: «Неужели мы более отсталая нация, чем узбеки и даже туркмены? Неужели у нас во много раз больше «трудностей», чем у них?»

Да, я вспомнил еще об одном. Здесь есть Музей игрушек. Мне давно не давала покоя мысль собрать коллекцию игрушек. В твоём собрании предметов искусства они есть — это будет началом. В России мне подарили несколько игрушек, похожих на наши.

Нужно сказать еще несколько слов об отсталых народностях. Я сделаю это завтра.

Послезавтра утром прибуду в Нью-Йорк — кто знает, будет ли у меня там время для писем.

*Пароход «Бремен»,
8 октября, 1930 г.*

Я уже писал о том, какие усилия прилагаются в Советской России для просвещения отсталых народностей. Хочу привести еще несколько примеров.

На Южном Урале живут башкиры. В царское время этот народ находился примерно в таком же положении, как наш сейчас. Башкиры постоянно жили на грани голодной смерти. Зарабатывали они ничтожно мало, потому что квалифицированный труд был им недоступен из-за недостатка образования; на их долю таким образом доставалась самая низкооплачиваемая, черная работа. Зачатки

самостоятельного правления они получили только во время революции.

Сначала ответственные посты были доверены крупным землевладельцам, духовенству и тем, кого мы называем сегодня образованными классами. Народ от этого ничего не выиграл. К тому же вскоре началось наступление колчаковской армии. Колчак был ярким приверженцем царского режима, его поддерживали и ободряли из-за границы непримиримые и сильные враги Советской власти. Правда, Советам удалось покончить с Колчаком, но тут начался страшный голод. Сельское хозяйство страны было истощено и разорено.

Собственно говоря, советское строительство смогло начаться только в 1922 году. С этого момента в республике отмечается быстрое развитие промышленности и системы образования.

В прошлом население Башкирии было почти поголовно неграмотным. За несколько лет здесь открыли восемь средних школ, пять сельскохозяйственных техникумов, медицинский институт, два финансово-экономических учебных заведения, семнадцать ремесленных училищ, две тысячи четыреста девяносто пять начальных и восемьдесят семь неполных средних школ. В настоящее время в Башкирии имеются два государственных театра, два музея, четырнадцать городских библиотек, сто двенадцать деревенских изб-читален, тридцать кинотеатров в городах и сорок шесть в деревнях, большое количество гостиниц для приезжающих в город крестьян и восемьсот девяносто один уголок отдыха. Тысячи домов рабочих и крестьян радиофицированы. Население округа Бирбхум в Бенгалии в целом стоит, конечно, на более высокой ступени развития, чем башкиры. Но сравни систему просвещения и условия отдыха в округе Бирбхум и в Башкирии! Разумеется, при этом необходимо сравнивать и трудности обеих сторон.

Среди республик, входящих в Советский Союз, Туркменистан и Узбекистан — самые молодые. Они были образованы в октябре 1924 года, то есть им меньше шести лет. Все население Туркменистана — более полутора миллиона человек; из них девятьсот тысяч занимаются сельским хозяйством. Однако в силу целого ряда причин с

сельским хозяйством здесь неблагоприятно, то же самое можно сказать и о скотоводстве.

Для этих республик необходимы фабрики и заводы, то есть индустриализация, но она нужна вовсе не для того, чтобы местные или иностранные капиталисты наби-вали себе карманы: промышленные предприятия здесь принадлежат только народу.

Между прочим, уже функционируют фабрика хлопчатобумажных тканей и шелкопрядильная фабрика. В городе Ашхабаде построена электростанция, в ряде других городов такие станции строятся. Чтобы обслуживать техническое оборудование, нужны опытные рабочие, поэтому многих туркменских юношей направляют учиться на крупные предприятия Центральной России. А каких трудов стоит нашим юношам поступить для обучения на иностранное предприятие, все мы прекрасно знаем.

В бюллетене сказано: трудности организации системы просвещения в Туркменистане вряд ли с чем-либо можно сравнить. Поселения разбросаны далеко друг от друга, дорог в республике мало, воды не хватает, вокруг пустыня, материальное положение населения крайне тяжелое.

Тем не менее на образование каждого человека расходуется пять рублей. Четверть населения этой республики — кочевники. Поэтому, наряду с обычными начальными школами, для них открыты специальные интернаты вблизи колодцев, где собирается большое число кочующих семей. Для учащихся даже выпускаются газеты.

В старинном красивом дворце с парком на берегу Москва-реки для туркменов открылось специальное педагогическое училище. Сейчас там обучается около ста туркменских детей в возрасте двенадцати—тринадцати лет. Система обучения в этом заведении построена по принципу самоуправления. Имеется несколько самостоятельных комитетов, таких, как санитарный, хозяйственный, учебный и т. д. В обязанности санитарного комитета входит наблюдение за чистотой здания, классов, жилых помещений, двора. Если кто-либо из учащихся недомогает, этот комитет обязан вызвать доктора. В хозяйственный комитет входит несколько подкомитетов. Его задача — следить за чистотой и опрятностью учащихся. Задача наблюдать за дисциплиной во время занятий ложится на учебный коми-

тет. Представители от каждого комитета образуют правление. Члены этого правления пользуются правом голоса на заседаниях совета училища. Если между самими детьми и кем-нибудь посторонним происходят столкновения, правление занимается разбором конфликта; его решения обязательны для всех учащихся.

При училище имеется клуб. Здесь дети ставят пьесы на родном языке, поют и играют. В клубе есть киноустановка, и дети смотрят фильмы из жизни среднеазиатских республик. Выпускается стенная газета.

Для подъема сельского хозяйства Туркменистана в республику посылаются большое количество специалистов. Создано более двухсот образцовых хозяйств. Благодаря новой системе землепользования и водоснабжения двадцать тысяч беднейших крестьянских хозяйств получили землю, воду и сельскохозяйственные орудия.

В этой малонаселенной республике открыто сто тридцать больниц с врачебным персоналом в шестьсот человек. Однако автор бюллетеня смущенно признает:

«Тем не менее нет никаких оснований радоваться этому факту, так как на каждую больничную койку приходится 2640 человек. Что же касается количества врачей, то в этом отношении Туркменистан стоит на последнем месте в Союзе. Мы можем гордиться некоторыми успехами в борьбе со старым бытом и невежеством, однако мы должны еще раз предупредить читателя, что из-за крайне низкого уровня культуры в Туркменистане сохранилось немало обычаев далекого прошлого. Тем не менее недавно принятые законы, запрещающие ранние браки и взимание калыма, привели к желаемым результатам».

Они стыдятся того, что в такой пустынной стране, как Туркменистан, за шесть лет построено сто тридцать больниц! Меня это поражает, ибо нас бы это не смутило. У нас масса своих «трудностей», мы не делаем даже попыток их устранить, однако нам почему-то совсем не стыдно! Почему?

Откровенно говоря, до этой поездки я уже было утратил веру в будущее нашей страны. Перебирая в уме все наши бесчисленные трудности, я, как и миссионеры, становился в тупик. Я говорил себе: в Индии слишком много наций, и каждая невежественна по-своему, слишком много

религий, и все они враждебны одна другой, — сколько же нам понадобится времени, чтобы освободиться от гнета страданий и очиститься от нагромождения грехов?

Робость моей веры в отчизну объясняется тем же, что и печальные выводы Комиссии Саймона. Приехав в Россию, я убедился, что часы прогресса там, во всяком случае, в домах простого народа, стояли так же, как и у нас; долго их не заводили, но вдруг они пошли, и пошли превосходно, несмотря на то, что раньше их стрелки не двигались веками. Теперь я понял, что и наши часы могут идти, но их никто не завел. Поэтому теперь я уже никогда не поверю в мистическую непреодолимость «трудностей».

Прежде чем закончить письмо, хочу привести еще несколько выдержек из бюллетеня:

«Империалистическая политика царских генералов после завоевания Азербайджана состояла в том, чтобы превратить районы, населенные мусульманами, в колонии, предназначенные для снабжения сырьем рынков центральной России».

Я помню, много лет назад ныне покойный Оккхой-кумар Мойтрео был захвачен идеей разведения шелковичных червей. По его совету, я тоже занялся шелководством. Он говорил мне, что, пока речь шла о разведении червей, магистрат оказывал ему достаточную поддержку, но каждый раз, когда он пытался организовать среди крестьян шелкопрядильное и шелкоткацкое производство, магистрат чинил ему всяческие препятствия.

«Агенты царского правительства безжалостно осуществляли принцип «разделяй и властвуй» и делали все возможное, чтобы разжечь ненависть и вражду между различными народами. Национальная вражда поощрялась правительством, мусульмане и армяне систематически натравливались друг на друга. Непрекращающиеся столкновения между этими двумя национальностями временами перерастали в резню».

Автор бюллетеня испытывает смущение по поводу малого количества больниц, но не может не выказать гордости по другому поводу:

«В течение последних восьми лет между национальностями Азербайджана царят мир и согласие, и этот несом-

ненный факт не могут отрицать даже злейшие враги Советской власти».

Индийское правительство не привыкло смущаться, но и гордиться ему тоже нечем.

Эта фраза нуждается в пояснениях. В бюллетене написано, что в Туркменистане на образование каждого человека тратится пять рублей. Один рубль равноценен двум с половиной рупиям, значит, пять рублей составляют двенадцать с половиной рупий. Для сбора таких средств, безусловно, необходима какая-то система, однако нечего и опасаться, что из-за этого в народе может возникнуть какая-либо рознь или недовольство.

*Пароход «Бремен»,
8 октября, 1930 г.*

О туркменах я уже писал, это — жители пустыни, их около миллиона. Это письмо — лишь дополнение к ранее написанному. Даю перечень научных учреждений, которые Советское правительство решило здесь открыть:

«Начиная с 1 октября 1930 года, с нового бюджетного года, в Туркменистане будет открыт ряд новых научно-исследовательских центров и институтов, а именно:

1. Туркменский геологический комитет.
2. Туркменский институт прикладной ботаники.
3. Научно-исследовательский институт животноводства.
4. Институт гидрологии и геофизики.
5. Институт экономических исследований.
6. Химико-бактериологический институт и Институт гигиены.

Деятельность всех научно-исследовательских учреждений Туркмении будет регулироваться специальным научно-исследовательским комитетом при Совете Народных Комиссаров Туркмении.

В связи с переездом туркменского правительства из Ашхабада в Чарджоу начато строительство зданий для следующих музеев: Исторического, Сельскохозяйственного, Музея Промышленности и Торговли, Художественного музея и Музея Революции. Кроме того, запланировано строительство обсерватории, Государственной библиотеки, Дома народной книги и Дома науки и культуры.

Отделение языка и литературы Института туркменской культуры закончило редакцию и перевод на русский язык сборника туркменских стихов, включающего фольклор и древнюю поэзию.

В Туркмении организованы пять передвижных культурных баз. В 1930 году сорок шесть человек окончили двухгодичные курсы медсестер и акушеров. Все выпускницы были посланы в деревни».

*Лансдаун,
28 октября 1930 г.*

За последнее время я уже не раз приближался к Южным Воротам, но это не те ворота, через которые врываются весенние ветры, напоенные ароматом цветов: через Южные Ворота, согласно нашим священным книгам, улетает дыхание жизни. Доктор считает, что я перенес острый спазм сердечных артерий, то есть, говоря попросту, я выкарабкался чудом. Так или иначе, я получил предупреждение от бога смерти Ямы, да и врач советует мне быть начеку. Если я встану и буду ходить, стрела поразит меня в сердце, но если буду лежать, она пролетит мимо цели. Поэтому, как человек благоразумный, я провожу свои дни полужелеза. Доктор говорил, что так я проживу еще лет десять, а там уж ничто не предотвратит заключительного акта. Сажу, привалившись к спинке кровати, и строки моего письма тоже начинают заваливаться. Подожди, сяду немного повыше.

Ты шлешь мне грустные известия. В моем состоянии я не решался читать, боясь, что волнение окажется роковым. Кое-что об этом я знал и раньше, но подробный отчет обо всем мне был бы не под силу. Поэтому вместо того чтобы читать самому, я поручил это Омио.

Цепи, которыми опутали нашу страну, можно порвать лишь настойчивыми, повторяющимися усилиями. Каждый такой рывок — мучительная агония, но иного пути к освобождению нет. Британцы своими руками рвут все связующие узы; нам это приносит неисчислимые страдания, но они при этом терпят еще большие потери. Самая большая потеря Британской империи — утрата ею престижа. Перед разнузданностью сильного мы испытываем страх,

смешанный с уважением, а разнузданность труса внушает только презрение. Сегодня мы смотрим на господство англичан с презрением и ненавистью. В этой ненависти наша сила, и благодаря ей мы победим.

Я только что покинул Россию и теперь достаточно ясно представляю, как труден путь страны к славе. Удары полицейских дубинок просто дождь цветов по сравнению с теми неслыханными страданиями, которые претерпели верные революции сыны России. Поэтому скажите нашим сынам, что все еще впереди, пусть не кричат они: «Нам больно!» — ибо это означает признание власти дубинки.

Сегодня Индия прославилась везде только тем, что ее не сломили избиения: давайте же никогда не жаловаться на боль! Животная сила надеется пробудить в нас зверя; если ей это удастся, мы проиграем. Мы страдаем сейчас, но не нужно падать духом. Пришло время доказать, что мы люди; если же мы сейчас уподобимся животным, потом будет поздно. Поэтому мы должны держаться до конца и повторять: «Мы не боимся!»

Время от времени Бенгалия теряет терпение, и в этом наша слабость. Если мы выпустим клыки и когти, мы тем самым окажем честь зверю. Презирайте зверей, но никогда не уподобляйтесь им! Не плачьте! Ливни слез ничему не помогут.

Обиднее всего, что у меня уже нет неиссякаемых сил юности. Я лежу здесь без движения в маленькой гостинице, я уже слишком стар, чтобы идти в ногу с теми, кто стремится вперед.



СТИХИ
1913—1916





И з к н и г и
«Г И Т А Н Д Ж А Л И»
1913



*

— Узник, поведай мне, кто вверг тебя в оковы?

— Мой повелитель, — сказал узник. — Я думал, что превзойду всех в мире богатством и могуществом, и за-
таил в своей сокровищнице всю казну моего повелителя.
Когда сон одолел меня, я лег на ложе, уготованное моему
господину, и, пробудясь, увидел, что я узник своей соб-
ственной сокровищницы.

— Узник, поведай мне, кто сковал эту несокрушимую
цепь?

— Я сам, — ответил узник, — я сам сковал ее так за-
ботливо. Я думал, что моя непобедимая мощь покорит
весь мир, а я один буду свободен. И денно и ночью рабо-
тал я над цепью, раскалял ее в пламени и осыпал жесто-
кими, тяжкими ударами. Когда же, наконец, работа была
кончена и звенья были связаны несокрушимо, я увидел,
что она сдавила меня самого.

*

Когда ты повелеваешь мне петь, мнится, что сердце мое разорвется от гордости; я гляжу на лицо твое, и слезы выступают на глазах у меня.

Все горести и тревоги моей жизни претворяются в сладкую гармонию — и дух мой разворачивает крылья, подобно радостной птице над морем.

Я знаю, что песнь моя угодна тебе. Я знаю, что могу предстать пред тобою только с песнью.

Я касаюсь краем широко раскинутого крыла моей песни стопы твоей, которой никогда не дерзнул бы достигнуть.

Опьяненный радостью песнопения, я забываюсь и называю тебя другом, тебя, моего господа.

*

Я не знаю, как поешь ты, наставник! Я слушаю в безмолвном изумлении.

Свет твоей песни озаряет мир. Дыхание твоей песни льется по небесам. Священный поток твоей песни разрушает все преграды и несется вперед.

Мое сердце жаждет соединиться с твоей песнью, но тщетны усилия моего голоса. Я жажду слова, но слово не претворяется в песню — и я вскрикиваю в отчаянье. Ах, ты опутал мое сердце бесконечными сетями твоей песни, наставник!

*

Жизнь моей жизни! Я всегда буду пытаться сохранять в чистоте свое тело, зная, что на всех членах моих — твое живительное прикосновение.

Я всегда буду пытаться охранять помыслы мои от неправды, зная, что ты та правда, свет которой зажжен во мне.

Я всегда буду пытаться изгонять все злое из моего сердца и питать в нем любовь, зная, что ты пребываешь в сокровеннейшем ковчеге его.

И целью моей будет — проявить тебя в каждом действии, ибо я знаю, что ты подкрепишь меня.



Дозволь мне на единый миг присесть возле тебя. Свой труд я окончу после.

Когда я лишен созерцания лица твоего, мое слабое сердце не знает ни покоя, ни отдыха, и мой труд становится нескончаемой мукой в безбрежном море мук.

Нынче лето принесло в окно ко мне свои вздохи и шорохи, и пчелы поют в цветущих рощах.

Настал час сесть спокойно, лицом к лицу с тобой, и петь хвалы жизни среди этого молчания и преизбытка досуга.



Желания мои многи и крик мой жалобен, но ты всегда спасал меня суровым отказом; и этой мощной милостью проникнута вся моя жизнь.

Изо дня в день ты делаешь меня все достойнее тех простых, великих и непрощенных даров, кои ты ниспосылаешь мне, — этих небес, этого тела, и жизни, и разума, ограждая меня от напасти чрезмерных желаний.

Есть часы, когда я бессильно томлюсь, есть часы, когда я пробуждаюсь и спешу к своей цели; но ты неумолимо бежишь от меня.

Изо дня в день ты делаешь меня все достойнее полного приятия тебя, отказывая мне ежечасно и ограждая от напасти слабых, неверных желаний.



Сорви этот цветочек и возьми его — не медли. Я боюсь, что он завянет и смешается с прахом.

Пусть ему нет места в твоем венке, но удостой его испытать муку от прикосновения твоей руки и сорви его! Я боюсь, что не замечу, как кончится день и пройдет время жертвоприношения.

Хотя он не ярок и аромат его слаб, сорви его, пока не поздно, и возложи вместе с другими.

*

Моя песнь сбросила с себя украшения. На ней нет нарядов и убранства. Они омрачили бы наш союз. Они мешали бы нам, они заглушили бы твой шепот.

Тщеславие поэта со стыдом рассеивается перед тобою. О поэт-наставник, я сажусь у ног твоих. Пусть моя жизнь будет проста и правдива, как свирель из тростника, которую ты наполняешь звуками.

*

Ребенка в княжеских одеждах и драгоценных ожерельях уже не радуют игры; одежды сковывают каждый шаг его.

Боясь разорвать или запачкать их, он сторонится от мира и боится шевельнуться.

Мать, не во благо ему твои золотые узы, если они отторгают от здорового праха земли, если они лишают его общения с великой красотой человеческой жизни.

*

О глупец, ты стараешься нести самого себя на своих плечах! Ты молишь о милостыне у своих собственных дверей!

Оставь бремя твое на раменах того, кто в силах все поднять, кому иго его — благо.

Твое желание сразу тушит пламя светильника, которого оно касается своим дыханием. Оно нечестиво — из рук нечестивых не приемлют даров.

*

Вот подножие твое — стопы твои покоятся среди самых бедных, самых сирых, самых обездоленных.

Когда я хочу преклониться пред тобой, я не могу достигнуть глубины, где покоятся стопы твои среди самых бедных, самых сирых, самых обездоленных.

Гордости нет доступа туда, где ты ходишь в смиренных одеждах среди самых бедных, самых сирых, самых обездоленных.

Сердцу моему нет пути туда, где ты пребываешь среди самых бедных, самых сирых, самых обездоленных.

*

Я был призван на этот мировой пир, и жизнь моя была благословенна. Мои глаза видели, и уши мои слышали.

На мою долю пало играть на этом пиру, и я сделал все, что мог.

Теперь я вопрошаю: настал ли, наконец, тот час, когда я могу войти и видеть твой лик и принести тебе в жертву твое безмолвное приветствие?

*

Не пой, не славословь, не перебирай четок! Кому поклоняешься ты в этом уединенном темном углу храма, двери которого закрыты? Открой глаза — и ты узришь, что твоего бога нет перед тобой!

Он там, где пахарь взрывает жесткую землю и каменщик дробит камень. Он с ними под зноем и ливнем, и одежды его пыльны. Сбрось твой священный плащ и, подобно ему, иди к ним.

Освобождение? Но где обрести его? Наш господь с радостью принял на себя узы творения; он навеки связан с нами.

Выйди из своего созерцания, оставь цветы и куренья! Что нужды, если одежды твои превратятся в рубище! Иди навстречу ему и трудись с ним в поте лица твоего.

*

Странствование мое долго, и путь мой долог. Я сел в колесницу рассвета и устремил свой путь по пустыням миров, оставляя следы на планетах и звездах.

Это самый далекий, но и самый близкий к себе самому путь, самый запутанный, но ведущий к совершеннейшей простоте песни.

Путник должен стучать в каждую чужую дверь, дабы найти свою, должен странствовать по всем мирам, чтобы в конце концов достигнуть сокровеннейшего алтаря.

Взор мой блуждал беспредельно — и вот я закрыл глаза и сказал: «Ты здесь!»

Вопрос и вопль «О, где же?» — разливаются реками слез, и воды их затопляют мир верой: «Я есмь!»

*

Песнь, с которой я пришел к тебе, осталась не спетой до сего дня.

Я проводил дни мои в том, что настраивал и перестраивал мою лютню.

Ритм ускользал от меня, слова не располагались так, как надо; только разрывалось сердце от неутолимой жажды.

Цветок не раскрывался; только со вздохом проносится ветер.

Я не видал его лица, не уловил его голоса; только слышал тихие шаги по дороге перед моим домом.

Долгий день прошел в приуготовлении ему места; но светильник не был зажжен, и я не мог принять его в моем доме.

Я живу надеждой на встречу с ним; но этой встречи все нет и нет.

*

Я здесь, дабы петь тебе. В твоих чертогах у меня есть угол.

В твоем мире для меня нет работы; моя бесполезная жизнь может вылиться в одних только бесцельных звуках.

Когда настанет час для безмолвного служения тебе в темном полуночном храме, о, повели мне, владыка мой, предстать перед тобой с песнопением!

Когда в утреннем воздухе звучит золотая арфа, удосто́й меня призывом твоим.

*

Я жду только твоего соизволения, чтобы предать себя, наконец, в его руки. Вот почему виновен я в стольких упущениях.

Приходят с законами и правилами, чтобы связать меня крепко; но я все бегу их, ибо жду только соизволения, чтобы предать себя, наконец, в его руки.

Люди осуждают меня и называют безучастным; я не сомневаюсь, что они правы в своих осуждениях.

Базарный день окончен, и работающий свободен. Те, кто тщетно звали меня, удалились в гнев. Я жду только соизволения, чтобы предать себя, наконец, в его руки.

*

Увы! В день, когда цвел лотос, мои мысли блуждали где-то далеко, и я не знал о том.

Моя корзина осталась пуста, и цветок остался незамеченным.

Лишь иногда грусть охватывала меня, и я пробуждался от моей дремы и чувствовал сладкий след какого-то благоухания в южном ветре.

Эта едва уловимая сладость томила мое сердце желаниями, и мне казалось, что это было жаркое дыхание лета, ищущего себе воплощения.

Я не знал тогда, что оно было так близко, что было во мне, и что эта совершенная сладость расцвела в глубине моего собственного сердца.

*

В глубоком сумраке дождливого июля неслышными шагами бродишь ты, безмолвный, как ночь, от всех скрываясь.

Сегодня утро сомкнуло очи, безучастное к настойчивым зовам бурного восточного ветра, и густой покров окутал вечно сияющее лазурное небо.

Песни лесов смолкли, и двери домов закрыты. Ты одинокий путник в этой пустынной улице. О мой единственный друг, о мой возлюбленный, врата открыты в моем доме — не пройди мимо, точно сновидение.

*

Если ты безмолвствуешь, я наполню свое сердце твоим молчанием и отдамся ему. Я буду соблюдать тишину, подобно звездной ночи, не смыкающей своих очей и со смирением склоняющей главу.

Утро настанет неминуемо, мрак исчезнет, и твой голос прольется с небес золотыми потоками.

И слова твои зазвучат песнями из каждого гнезда моих птиц, и твои мелодии расцветут цветами в моих лесных кущах.

*

Я должен сойти в лодку. Увы, томительно часы тянутся на берегу!

Весна расцвела и сокрылась. И вот с ношей увядших ненужных цветов я жду и томлюсь.

Волны стали шумны, и на тенистую тропу, порхая, падают желтые листья.

Какая пустота! Не чувствуешь ли ты трепетания в воздухе, отзвука далекой песни, доносящейся с того берега?

*

Облака громоздятся, и свет меркнет. Увы, любовь моя, зачем ты заставляешь меня ждать у двери в одиночестве?

Среди полуденных трудов я пребываю в толпе, но в этот пасмурный, тихий час я принадлежу только тебе.

Если ты не откроешь мне своего лица, если ты отвергнешь меня, я не знаю, как проведу я эти долгие дождливые часы.

Я смотрю на далекий мрак неба, и, плача, сердце блуждает с беспокойным ветром.

*

Ты не дома в эту бурную ночь, на стезе любви, друг мой! Небеса стонут как бы в отчаянии.

Я не могу спать в эту ночь. Не раз открывал я дверь и глядел в темноту, друг мой!

Ничего не видно впереди. Где-то пролегает твой путь?

По сумрачному ли берегу чернильно-черной реки, по отдаленной ли опушке хмурого леса спешишь ты ко мне в неверном мраке, друг мой?

*

Если день гаснет, если не поют птицы, если стих усталый ветер, окутай меня покрывалом густой тьмы, как окутал ты землю покрывалом сна и нежно закрыл лепестки поникшего лотоса в сумраке.

С путника, чья сума пуста задолго до конца странствования, чья одежда в лохмотьях и отягощена пылью, чьи силы ослабели, сними позор и бедность и обнови, как цветок, под сенью твоей кроткой ночи.

*

Свету! Свету! Зажги его жарким пламенем желания! Светильник не мерцающий — таков твой жребий, сердце! Ах, смерть — лучший удел твой!

Бедствие стучит в твою дверь и вещает, что твой господь бодрствует и зовет тебя на любовное свидание во мраке ночи.

Небо в тучах и дождь непрерывный. Я не знаю, что так волнует меня, — я не знаю, что со мною.

Вспыхнувшая на мгновение молния сгущает мрак еще более, и мое сердце бредет ощупью по той тропе, которой ведет меня музыка ночи.

Свету! Свету! Зажги его жарким пламенем желания!

Гром гремит, и бушует ветер. Ночь черна, как уголь. Рассей мрак! Зажги светоч любви своей жизнью!

*

Всеми мерами стараются удержать меня в своих руках те, что любят меня в этом мире. Но не такова твоя любовь — она сильнее их любви, но оставляет мне свободу.

Чтобы я не забывал о них, они никогда не покидают меня. А ты все пребываешь незримым.

Хотя я не называю тебя в молитвах, хотя я не ношу тебя в своем сердце, твоя любовь ко мне ждет моей любви.

*

Он пришел и сел рядом со мной, но я не проснулась. О, горе! Какой ужасный сон приснился мне!

Он пришел в тишине ночи; в руках он держал арфу, и мои сны звучат ее мелодиями.

Увы, мои ночи так бесплодны! Ах, зачем не вижу я того, чье дыхание касается меня во сне?

*

Я вышел один на свидание. Но кто это следует за мной в безмолвном мраке ночи?

Я сворачиваю в сторону, чтобы избежать его; но тщетно.

Он поднимает пыль своей стопой; он присоединяет свой громкий голос ко всякому слову, произносимому мною.

Это мое маленькое «я», мой властитель, не знающий стыда. Но мне стыдно подойти к твоей двери в его сообществе.

*

В ночь усталости да усну я безмятежно, уповая во всем на тебя.

Не принуждай мой ослабевший дух к скудному служению тебе.

Это ты набрасываешь покрывало ночи на усталые глаза дня, дабы оживить его взор новой радостью при пробуждении.

*

Тяжки узы, но сердце страждет, когда я пытаюсь разорвать их.

Свобода — вот все, чего я хочу, но стыд — надеяться на нее.

Я знаю, что бесценные сокровища таятся в тебе и что ты мой лучший друг, но у меня не хватает сил вымести сор, что наполняет мой дом.

Одежда, облекающая меня, — прах и смерть. Но, сгорая ненавистью к ней, я все же ношу ее с любовью.

Мои прегрешения безмерны, пороки велики, мой стыд сокровенен и тяжел; но когда я прибегаю к тебе, ища своего спасения, я дрожу от страха, что моя мольба исполнится.

*

Тот, кого я облекаю моим именем, плачет в этой темнице.

Я вечно воздвигаю стены ее; и по мере того как она день за днем высится в небо, скрывается истинное существо мое.

Я горд высотой этой стены и замазываю песком и глиной малейшую скважину в ней — и теряю из виду истинное существо мое.

*

Когда настало утро, они пришли в мой дом и сказали: «Мы займем только маленький уголок у тебя». Они сказали: «Мы поможем тебе служить твоему богу и смиренно примем самую малую часть его милости». И сели и сидели спокойно и смиренно.

Но во мраке ночи, сильные и мятежные, они ворвались в мое святилище и с нечестивой алчностью завладели жертвой на алтаре господнем.

*

Пусть останется от меня самое малое, чтобы я мог сказать: ты — все.

Пусть останется самое малое от моей воли, чтобы я мог чувствовать тебя всюду и прибегать к тебе со всеми нуждами и предлагать мою любовь ежечасно.

Пусть останется от меня самое малое, чтобы я никогда не мог скрывать тебя.

Пусть останется самое малое от моих уз, чтобы я был связан с твоей волей узами твоей любви.

*

Где мысль бесстрашна и чело гордо поднято;

Где знание свободно;

Где мир не разбит на клетки перегородками;

Где слова исходят из глубин истины;

Где неустанное стремление простирает руки к совершенству;

Где светлый поток разума не блуждает в бесплодной и мертвой пустыне песков;

Где разум направлен к высоким помыслам и действиям, —

В этих небесах свободы, Отец мой, да пробудится страна моя!

*

Ночь почти прошла в тщетном ожидании его. Я боюсь, что он внезапно придет утром к моим дверям, когда я усну от изнеможения. О подруги, откройте ему двери, не мешайте ему войти.

Если звук его шагов не разбудит меня, не будите меня и вы, прошу вас. Я не хочу, чтобы меня разбудил звучный хор птиц или бурный ветер на празднике утреннего солнца. Дайте мне спать безмятежно, даже если господин мой придет внезапно к моей двери.

О, мой сон, драгоценный сон, ждущий только его прикосновения, чтобы исчезнуть! О, мои сомкнутые вежды,

что раскроются только при свете его улыбки, когда он предстанет передо мною, как сновидение, возникшее из мрака сна!

Пусть он явится передо мною, как первый из всех лучей и образов. Первый трепет радости в моей пробужденной душе да будет от его взора! И пусть возвращение из мрака сна сольется с возвращением к нему.

*

Я думал, что мое странствие пришло к концу у последнего предела моих сил, что путь мой замкнут, что припасы мои истощились и настал час искать приюта в безмолвной тьме.

Но вижу — воля твоя бесконечна. Когда старые слова замирают на устах, новые рвутся из сердца; и там, где стезя теряется, открывается новая страна чудес.

*

Я не знаю, с каких далеких пор ты идешь навстречу мне. Твое солнце и звезды не могут скрыть тебя от меня навсегда.

Много утр и вечеров слышались твои шаги и стучался в мое сердце твой вестник, тайно звавший меня.

Я не знаю, отчего я так встревожена нынче, отчего трепет радости охватывает мою душу.

Точно настало время кончить мой труд, и я чувствую в воздухе слабый аромат твоего сладостного присутствия.

*

Много, много дней не было дождя, господь мой, в моем иссохшем сердце. Небосклон чист — ни единое тончайшее облачко не омрачает его, ни единого слабого намека на дождь.

Ниспошли, если будет на то воля твоя, гневный вихрь, черный, как смерть, и ослепи бичами молний небо от края до края.

Но развеи, владыка мой, этот всепроникающий, безмолвный зной, неподвижный, жгучий и беспощадный, сожигающий сердце безысходным отчаянием.

Да снизойдет с высот облако милосердия, подобно полному слез взору матери в день гнева отца.

*

Почему ты стоишь позади всех, мой возлюбленный, скрываясь в тени? Они толкают тебя и проходят по пыльной дороге, не замечая тебя. Я давно жду тебя здесь в томлении, уготовив жертвоприношения тебе, а прохожие берут мои цветы один за другим, и моя корзина почти опустела.

Утро прошло и полдень. В вечернем сумраке глаза мои тяжелеют от дремоты. Идущие домой оглядывают меня и улыбаются, и я горю от стыда. Я сижу, как нищая, закрыв лицо одеждой, и когда меня спрашивают, чего я хочу, я опускаю глаза и не отвечаю.

О, да и как сказать, что я жду тебя, что ты обещал прийти. Как вымолвить, к стыду своему, что я приношу тебе в дар только бедность?

Ах, я сокрыла эту гордость в тайниках своего сердца.

Я сижу на траве и не спускаю глаз с неба и мечтаю о блеске твоего внезапного появления: засияет свет, золотые опахала будут развеиваться над твоей колесницей, и все в изумлении будут стоять у дороги, когда увидят, что ты сошел с колесницы, чтобы поднять с земли и посадить рядом с собой эту оборванную девушку, дрожащую от стыда и гордости, подобно лиане под летним ветром.

Но время идет, и не слышно колес твоей колесницы. пышные процессии проходят мимо, с шумом и кликами. Неужели ты будешь молчаливо стоять в тени, позади всех? И теперь я одна буду ждать и плакать и томиться от напрасных желаний.

*

Что я жажду тебя, только тебя — пусть мое сердце без конца повторяет это.

Все желания, что смущают меня денно и нощно, в корне ложны и суетны.

Как ночь скрывает в своем мраке моление о свете, так в глубине моего существа звучит крик: я жажду тебя, только тебя!

Как буря ищет покоя, изо всех сил борясь с покоем, так мой мятеж восстает на любовь и не молкнет его крик: я жажду тебя, только тебя!

*

Когда сердце ожесточится и иссохнет, пади на меня ливнем милосердия.

Когда в жизни не станет радости, пролей поток песен.

Когда суета дня поднимает свой грохот со всех сторон вокруг меня, приди ко мне, владыка тишины, с миром и покоем.

Когда мое оскудевшее сердце затаится, сожмется, распахни дверь настежь, царь мой, и войди с царской торжественностью.

Когда обманчивые желания ослепят мой разум, ниспошли, благой, бодрствующий, твои молнии и громы.

*

Да сольются все радости в моей последней песне: радость, что заставляет землю утопать в буйном обилии трав, радость, что кружит в пляске близнецов — жизни и смерти — по необъятному миру, радость, что мчится с бурей, потрясая и пробуждая жизнь смехом, радость, что в слезах поникла над раскрытым красным лотосом страдания, и радость, что в прах повергает все, что имеет, и не ведает слова.

*

Да, я знаю, что это лишь твоя любовь, о возлюбленный моего сердца: этот золотой свет, что танцует на листьях, эти ленивые облака, что плывут по небу, это дуновение, оставляющее прохладу на моем челе.

Утренний свет затопил мои глаза: это ты шлешь весть моему сердцу. Твой лик склонился с высот, твои глаза глядят в мои глаза, и мое сердце касается твоих ног.

*

Ты сошел с трона и стал у порога моей хижины. Я была одна, я пела— и моя песня коснулась твоего слуха. Ты сошел с трона и стал у порога моей хижины.

Много славных певцов в твоих чертогах, и непрестанно поются в них песни. Но моя простая грустная песенка пробудила твою любовь. Она смешалась с великой музыкой мира, и с цветком в награду мне ты пришел и стал у порога моей хижины.

*

Вот моя радость: ждать и смотреть у дороги, как тень сменяет свет и падают ливни.

Вестники неведомых миров приветствуют меня и спешат по дороге. Сердце мое исполнено радости, и дыхание пробегающего ветра сладостно мне.

С самой зари до сумерек я сижу у своего порога и знаю, что внезапно настанет счастливый миг, когда я увижу тебя.

Одинокая, я улыбаюсь и пою. А воздух напоен благоуханием надежды.

*

Рано утром мы шепотом сказали друг другу, что поплывем в лодке, только ты и я, и ни единая душа в мире не узнает об этом странствовании без конца и без цели.

В этом безбрежном океане, под твоей безмолвной внимательной улыбкой, мои песни полются свободные, как волны, не скованные словом.

Разве не пришел еще час?

*

Еще есть работа? Вот уже вечер сошел на землю, и в потухающем свете дня морские птицы летят к своим гнездам.

Кто знает, когда спадут цепи и лодка, подобно последнему лучу заката, исчезнет в ночи?

*

Я не ждала тебя; и ты, царь мой, вошел в сердце мое незванный, как кто-то из толпы, мне неизвестный, и запечатлел печатью вечности скоротечные мгновения моей жизни.

И сегодня, когда я случайно вспомнила их и увидела твой знак, я вижу, что они рассеяны во прах, смешаны с радостями и печалью моих пустых, забытых дней.

Ты не отвернулся от моих детских игр, и шаги, что слышала я в своей детской, те же, что отдаются эхом от звезды к звезде.

*

Утреннее море молчания покрылось рябью от щебетания птиц; и цветы у дороги стали веселы; и потоки золота полились в просветы облаков, меж тем как мы озабоченно шли своей дорогой, ни на что не обращая внимания.

Мы не пели веселых песен, не забавлялись; мы не заходили на торг в селение; мы шли молча и не смеялись. Мы не медлили в пути. Время шло — и мы всё ускоряли и ускоряли шаги.

Солнце дошло до зенита, и голуби ворковали в тени. Засохшие листья танцевали и кружились в горячем воздухе полдня. Мальчик-пастух дремал и грезил в тени смоковницы, и я лег в траву у источника, чтобы дать отдых усталым членам.

Мои спутники глумились надо мною. Они гордо подняли голову и поспешили дальше; они ни разу не оглянулись, ни разу не сели отдохнуть. Они исчезли вдали в знойной голубой дымке. Они шли по холмам и долинам и скрывались в далеких странах. Слава тебе, геройская рать, на твоём нескончаемом пути! Насмешки и упреки заставили меня встать, но не нашли во мне никакого отклика.

*

Покой расцвеченного солнцем зеленого сумрака тихо лился в мое сердце. Я забыл о цели своего странствования и без борьбы погрузился в сплетение теней и песен.

Когда, наконец, я очнулся от дремоты и открыл глаза, я увидел, что ты стоишь надо мной, рассеивая мой сон улыбкой. Как я боялся, что мой путь будет долог и утомителен и что достигнуть тебя будет так трудно.

*

Я ходила от двери к двери по деревенской улице, прося подаяния, когда, подобно дивному сновидению, появилась твоя золотая колесница, царь царей!

В груди моей пробудились надежды, и мне показалось, что пришли к концу мои злополучные дни, и я стояла, ожидая непростеного подаяния, сокровищ, что будут рассыпаны вокруг меня.

Колесница остановилась возле меня. Твой взгляд упал на меня, и ты сошел с колесницы с улыбкой. Я чувствовала, что пришло, наконец, счастье моей жизни. Но ты внезапно протянул свою правую руку и сказал: «Что подашь ты мне?» О, какой это был царственный жест — раскрыть свою длань и просить у нищей! Я смутилась, я

стояла в нерешимости, и потом я медленно вынула из своей сумы крохотное зернышко и подала тебе.

Как же велико было мое удивление, когда вечером, вытряхнув свою суму, я увидела на полу крохотное золотое зернышко. Я горько плакала и жалела, что не отдала тебе все.

*

Ночной мрак сгущался. Наша дневная работа кончилась. Мы думали, что уж прибыл последний гость, и все двери в деревне были заперты. Но кто-то сказал:

— Еще прибудет царь.

Мы засмеялись и сказали:

— Нет, этого не может быть.

Нам показалось, что кто-то постучал в двери, и мы сказали, что это только ветер. Мы погасили светильник и отошли ко сну. Но кто-то сказал:

— Это вестник.

Мы засмеялись и сказали:

— Нет. Это ветер!

В полночь послышался какой-то звук. Сквозь сон мы подумали, что это отдаленный гром. Земля задрожала, стены затряслись, и мы очнулись. Но кто-то сказал, что это звук колес. Мы прошептали в полусне:

— Нет. Это гул грома.

Было еще темно, когда забил барабан. Раздался глас: «Вставайте! Не медлите!»

Мы прижали руки к сердцу и дрожали от страха. Кто-то сказал:

— Взгляните — царский стяг!

Мы встали, восклицая:

— Больше нельзя медлить!

Царь прибыл, но где же светильники, где венки? Где седалище для него? О, стыд! О, позор! Где чертог, где украшения?

Кто-то сказал:

— Напрасен вопль! Приветствуйте его с пустыми руками, ведите его в пустые покои!

Откройте двери, пусть звучат рога из раковин! В глухую ночь прибыл царь нашего темного, мрачного жилища! Гром грохочет в небесах! Мрак содрогается от молний! Возьми кусок изорванной циновки и расстели во дворе. С бурей прибыл неожиданно царь страшной ночи.

*

Я хотела — и не осмелилась попросить у тебя венок из роз, украшавший твою грудь. И я ждала до утра, до твоего ухода, чтобы собрать его останки на своем ложе. И, точно нищая, искала на рассвете, не осталось ли хоть единого лепестка.

Увы, что же я нашла? Что осталось от твоей любви? Ни цветы, ни благовония, ни сосуд с душистой влагой. Остался мощный меч, сверкающий, как пламя, тяжелый, как громовой удар. Юный утренний свет озаряет в окно мое ложе. Утренняя птичка щебечет и спрашивает: «Женщина, что же осталось тебе?»

Да, ни цветы, ни благовония, ни сосуд с душистой влагой — твой ужасный меч.

Я сижу и дивлюсь, к чему мне твой дар? Мне негде спрятать его. Мне, слабой, стыдно носить его, мне больно, когда я прижимаю его к своей груди. И все же я с гордостью буду носить в сердце своем этот твой дар — бремя мучений.

Отныне страх не будет уже владеть мною в этом мире — ты будешь победителем в каждой моей битве. Ты послал мне в спутники смерть, и я увенчаю ее моей жизнью. Твой меч со мною, он может сокрушить мои оковы, уже нет страха для меня в мире.

Отныне я сброшу все украшения, владыка сердца моего, я уже не застенчивая, нежная девушка, я уже не буду ждать, таиться и плакать. Ты дал мне свой меч — украшений мне не надо!

*

Прекрасен твой браслет, усеянный звездами и искусно оправленный в самоцветы. Но еще прекраснее твой меч, его сверкающее лезвие, подобное распростертому

крылу божественной птицы Вишну, пронизанному гневным румяным блеском заката.

Оно трепещет, подобно последнему лучу жизни; оно сияет, как чистое пламя бытия, пожирающее все земное и суетное одной могучей вспышкой.

Прекрасен твой браслет, усеянный самоцветами; но твой меч, о повелевающий громами, облечен столь безмерной красотой, столь страшной, что нет сил ни смотреть на него, ни думать о нем.

*

Я ничего не просила у тебя; я не сказала тебе своего имени. Когда ты уходил, я стояла молча. Я стояла возле колодца в косой тени дерева, и женщины уходили домой с глиняными кувшинами, наполненными до краев.

Они звали меня и кричали: «Пойдем с нами, утро уже повернуло на полдень». Но я все еще томила и медлила, объятая смутным раздумьем.

Я не слыхала, как ты подошел. Твой взгляд был печален, когда он упал на меня, твой голос звучал устало, когда ты тихо сказал: «Ах, я путник, изнывающий от жажды». Я очнулась от своего сна наяву и налила воды из кувшина в твои пригоршни. Листья шелестели над нами, кукушка куковала в глубине рощи, и благоухание цветов акации доносилось с поворота дороги.

Я стояла, онемев от стыда, когда ты спросил мое имя. Правда, — что я сделала для тебя, чтоб ты помнил меня? Но воспоминание о том, что я могла дать тебе воды и утолить твою жажду, будет жить в моем сердце и наполнять его нежностью. Близок полдень, устало поют птицы, листья нима шелестят надо мною, а я сижу и думаю, думаю.

*

Истома в сердце твоём, и дремота еще смыкает твои вежды.

Разве не дошла до тебя весть, что цветок уже сверкает царственным блеском среди терний? Проснись, проснись! Не теряй времени напрасно!

В конце каменистой тропы, в стране девственного молчания, одиноко сидит друг мой. Не обманывай его. Проснись, проснись!

Что, если небо затрепещет в полуденном зное? Что, если жгучий песок раскинет плащ жажды?

Разве нет радости в глубине твоего сердца? При каждом твоим шаге разве не будет звучать арфа дороги сладкой музыкой муки?

*

Вот почему так велика во мне твоя радость! Вот почему ты снизошел ко мне! О владыка небес, где была бы твоя любовь, если б не я?

Ты сделал меня соучастницей всех твоих сокровищ. В моем сердце бесконечный трепет твоей радости. В моей жизни всюду твоя воля. Царь царей, ты облекся в красоту, дабы пленить меня. И вот любовь твоя растворяется в любви твоей возлюбленной, и ты зрим в совершенном союзе их.

*

Свет, свет мой, мир наполняющий свет, взоры ласкающий свет, сердце улаждающий свет.

Ах, свет танцует, возлюбленный мой, в сердце моей жизни; свет ударяет, возлюбленный мой, по струнам моей любви; небо разверзается, ветер бушует, смех проносится над землей.

Мотыльки поднимают свои паруса в море света. Лилии и жасмины распускаются в волнах света.

Свет рассыпается золотом на каждом облаке, возлюбленный мой, и алмазы сыплются в изобилии.

Веселие течет от листа к листу, возлюбленный мой, ликование безмерное. Небесная река вышла из берегов, и радость затопляет все.

*

Когда воины впервые вышли из чертогов своего повелителя, куда они сокрыли свою мощь? Где были их доспехи, их оружие?

Они казались бедными и беспомощными, и стрелы сыпались на них градом в тот день, когда они вышли из чертогов своего повелителя.

Когда воины возвращались в чертоги своего повелителя, куда скрыли они свою мощь?

Они бросили меч и бросили лук и стрелу; мир был на их челе, и они оставили плоды своей жизни позади себя в тот день, когда возвращались в чертоги своего повелителя.

*

Сон, что слетает на глаза ребенка, — кто знает, откуда он? Да, говорят, что его жилище там, в сказочном селении, в сумраке леса, тускло озаряемом светляками, где висят две нежные зачарованные почки. Оттуда приходит он целовать глазки ребенка.

Улыбка, что порхает на устах ребенка, когда он спит, — кто знает, где она рождается? Да, говорят, что юный бледный луч лунного серпа коснулся края тающего осеннего облачка, и улыбка зародилась в грезах росистого утра — та улыбка, что порхает на устах ребенка, когда он спит.

Милый, нежный румянец, что цветет на щеках ребенка, — кто знает, где тайлся он? Да, когда мать была молоденькой девушкой, он наполнял ее сердце кротким и безмолвным таинством любви — милый, нежный румянец, что цветет на щеках ребенка.

*

Когда я приношу тебе пестрые игрушки, дитя мое, я понимаю, почему такая игра красок на облаках, на воде и почему цветы так ярки — когда я дарю тебе пестрые игрушки, дитя мое.

Когда я пою, чтобы заставить тебя танцевать, я понимаю, почему звучит музыка в листьях и почему волны шлют хоры своих голосов сердцу внимающей земли — когда я пою, чтобы заставить тебя танцевать.

Когда я опускаю сласти в твои жадные ручки, я понимаю, почему есть мед в чашечке цветка и в плодах

затаенная сладость — когда я опускаю сладости в твои жадные ручки.

Когда я целую твоё личико, чтобы заставить тебя улыбнуться, моё сокровище, я понимаю, что за радость изливается с небес в утреннем свете и какое наслаждение дарит летний ветерок моему телу — когда я целую тебя, чтобы заставить тебя улыбнуться.

*

Какой божественный напиток ты хотел бы испить, господи, из переполненной чаши моей жизни?

Поэт, испытываешь ли ты радость, видя своё создание моими глазами и у дверей моего слуха молчаливо внимающая своей вечной гармонии?

Твой мир рождает слова в моем уме, твоя радость добавляет к ним музыку. Ты отдаешься мне в любви и чувствуешь во мне свою же сладость.

*

В дни праздности я печалился о потерянном времени. Но оно не потеряно, владыка мой. Каждое мгновение моей жизни — в твоих руках.

Сокровенный в сердце сущего, ты возвращаешь семена в побеги, почки — в цветы и цветы — в плоды.

Я устал и уснул на праздном ложе и думал, что труды окончены.

Утром я пробудился и увидел, что мой сад полон чудесами цветов.

*

Это мука разъединения распространяется по всему миру и порождает неисчислимые образы в бесконечном небе.

Это печаль разъединения всю ночь глядит в молчании на звезды и рождает созвучие среди шумящих листьев в дождливом сумраке июля.

Это всеобъемлющая скорбь внедряется в любовь и желание, в страдание и радости, и это она вечно тает и разливается песнями в моем сердце поэта.

*

Я подобен клочку осенней тучки, бесполезно скитающемуся в небе, о мое вечно славное солнце! Твое прикосновение еще не растопило меня, не слило меня воедино с твоим лучом: и вот я считаю месяцы и годы, отделяющие меня от тебя.

Если на то твоя воля и если в том твоя отрада, возьми мою плывущую пустоту, расцвети ее красками, позлати ее золотом, развей ее по ветру и рассеяй чудесами.

И когда придет твоя воля кончить эту забаву к ночи, я растаю и исчезну во тьме или в улыбке белого утра, в прохладе прозрачной чистоты.

*

Мать, я украшу твою грудь ожерельем из слез моей скорби.

Звезды сковали браслеты из лучей, чтобы украсить ими твои ноги, но мое ожерелье будет висеть на твоей груди.

Богатство и слава исходят от тебя, и в твоей власти давать и отнимать их. Но моя печаль — моя всецело, и когда я приношу ее тебе, как жертву, ты награждаешь меня своей милостью.

*

Ты сделал меня другом тех, кого не знал я доселе. Ты ввел меня в жилища, доселе мне чуждые. Ты приблизил далекое и чужого сделал мне братом.

Мне тяжело покидать привычный кров; я забываю, что в новом живет старое и что ты всюду со мной.

Сквозь рождение и смерть, в этом мире или в других мирах, куда бы ни вел ты меня, — ты все тот же единственный спутник моей бесконечной жизни, связующей сердце мое узами радости с неведомым.

Познавшему тебя ничто не чуждо, для него нет закрытой двери.

Над пустынной рекой, среди высоких трав, я сказал ей:

— Девушка, куда идешь ты, прикрыв свой светильник одеждой? Дом мой одинок и темен — дай мне света!

Она на мгновение подняла свои темные глаза и сквозь сумрак взглянула мне в лицо.

— Я пришла к реке, — отвечала она, — чтобы пустить светильник по течению, когда дневной свет угаснет.

Одинокое стоял я среди высоких трав и смотрел на робкий огонек ее светильника, бесплодно уносимого течением.

В молчании наступающей ночи я сказал ей:

— Девушка, огни зажжены — куда же ты несешь свой светильник? Дом мой одинок и темен — дай мне света.

Она подняла на меня свои темные глаза и мгновение была в нерешительности.

— Я пришла, — сказала она наконец, — чтобы посвятить его небу.

Я стоял и смотрел на ее светильник, бесполезно пылавший в пустоте.

В безлунном мраке полуночи я сказал ей:

— Девушка, что заставляет тебя прижимать светильник к сердцу? Дом мой одинок и темен — дай мне света!

Она постояла, подумала одно мгновение и посмотрела мне в лицо сквозь сумрак.

— Я принесла свой светильник, — сказала она, — на праздник светильников.

Я стоял и смотрел на ее маленький огонек, бесплодно терявшийся среди других огней.

Та, что всегда пребывала в глубине моего существа в полусвете мерцаний и отблесков, та, что никогда не снимала покровов в утреннем свете, да будет моим последним приношением тебе, боже, облеченным в мою прощальную песнь.

Слова стремились к ней, но бессильны были достигнуть ее; призывы напрасно простирали к ней жаждущие руки.

Я скитался из страны в страну, храня ее в глубине сердца, и вокруг нее возвышалась и падала моя жизнь.

Над моими мыслями и деяниями, моими снами и мечтами царила она, но стояла вдали и одиноко.

Многие стучали в мою дверь и спрашивали о ней и отходили в тоске.

Никто в мире не видел ее лицом к лицу, и она оставалась в одиночестве, ожидая, что ты узнаешь ее.

*

Твой солнечный луч слетает ко мне на землю с распростертыми объятиями и весь долгий день стоит у моей двери, чтобы отнести к твоим стопам облака, созданные из моих слез, вздохов и песен.

С безумной радостью ты одекаешь свою звездную грудь этим плащом туманных облаков, придавая ему бесчисленные формы и изгибы и окрашивая его в вечно меняющиеся цвета.

Он так воздушен, так непостоянен, так нежен, так полон слез и мрачен — вот за что ты любишь его, о непорочный и чистый! И вот почему он может омрачить твой священный белый свет своею тенью.

*

Ты небо, но ты и гнездо.

О прекрасный, в гнезде любовь твоя, одекающая душу красками, звуками и ароматами.

*

Вот приходит утро с золотой корзиной, неся в правой руке венец красоты, чтобы молча увенчать им землю.

И вот приходит вечер по неведомым тропинкам, по безмолвным лугам, где уже не видно стад, неся от западного океана покоя прохладную влагу мира в своем золотом кувшине.

Но там, где раскинулось бесконечное небо, куда стремится улететь душа, царит непорочное белое сияние. Там нет ни дня, ни ночи, ни образа, ни цвета и ни единого, ни единого слова.

*

Я должен был возлелеять свое «я» и поворачивать его во все стороны, бросая цветные тени на твою лучезарность — такова твоя майя.

Ты сам разделяешь себя и зовешь свое отдаленное «я» мириадами звуков. И это отдаленное во мне.

Горькая песнь, как эхо, отозвалась по всему небу многоцветными слезами и улыбками, тревогами и надеждами; волны поднимаются и опускаются, сны рассеиваются и зарождаются. Во мне — твое поражение тебя самого.

Эту стену, которую ты воздвиг, кисть дня и ночи написала несчетными изображениями. А за ней — твой престол из таинственных кривых, где нет ни единой прямой. Великое торжество, твое и мое, охватило все небо. Звуками, твоими и моими, трепещет воздух, и века проходят в том, что мы то скрываемся, то открываемся.

*

Это он, сокровеннейший, пробуждает мое существо своими глубокими затаенными прикосновениями.

Это он очаровывает глаза и радостно играет на струнах моего сердца, чередуя сладость с горечью.

Это он вплетает в ткань майи мимолетные оттенки серебра и золота, лазури и зелени, и в складках видны его ноги, и я забываюсь, касаясь их.

Проходят дни и проходят века, и всегда, во многих именах, во многих видах, во многих порывах радости и горести, он властвует над моим сердцем.

*

Тот самый поток жизни, что течет день и ночь в моих жилах, течет во вселенной и танцует размеренный танец.

Это та самая жизнь, что радостно пробивается сквозь прах земли в несчетных стеблях трав и разливается шумными волнами цветов и листьев.

Это та самая жизнь, что качается в океане — колыбели рождений и смерти, в приливах и отливах.

Я чувствую, что члены мои становятся лучезарными в соприкосновении с этой жизнью. И гордость моя — от этого векового биения жизни, танцующего в моей крови.

*

Разве не в силах ты радоваться радостью этого ритма? Кружиться, теряться, отдаваться водовороту этой страшной радости?

Все стремится вперед, безостановочно, не оглядываясь, и нет силы, могущей остановить это стремление!

Под эту безостановочную музыку кружатся в пляске и уходят времена года — краски, звуки и запахи льются бесконечными каскадами в преизбытке радости, которая рассеивается и умирает каждый миг.

*

Когда мир был юн и все звезды сияли в своем перво-зданном великолепии, боги собрались в небе и пели:

О, зрелище совершенное! Радость пречистая.

Но один из них вскричал вдруг:

— Мне кажется, цепь светил прервалась где-то и одной звезды не стало.

Золотая струна их арфы лопнула, их песнь замерла, и они вскричали в смятении:

— Да, утраченная звезда была лучшая, она была сла-
вой небес!

С того дня боги неустанно ищут ее, и от одного к другому несутся вопли, что мир утратил с ней радость.

Лишь в глубочайшем молчании ночи звезды улыбаются и шепчут друг другу:

«Тщетный труд! Непарушенное совершенство всюду!»

*

Освобождение для меня не в отречении. В тысячах оков я чувствую объятия свободы.

Ты всегда изливаешь мне свежую влагу своего вина различных цветов и благоуханий, наполняя этот земной сосуд до края.

Мой мир зажжет сотню различных светильников и поставит их перед жертвенником твоего храма.

Нет, никогда я не закрою двери моих чувств. Радости зрения, и слуха, и осязания вызовут твою радость.

Да, все обольщения мои сгорят в пламени радости, и все мои желания созреют в плоды любви.

*

День угас, тени пали на землю. Время идти к реке наполнить кувшин.

Вечерний воздух полон печальной музыкой вод. Ах, он зовет меня в сумрак! На затерянной тропинке не видно прохожих, подымается ветер, зыбь покрывает реку.

Я не знаю, вернусь ли домой. Я не знаю, кого я встречу. Там, у брода, в маленькой лодке, неизвестный играет на лютне.

*

О владыка моей жизни, должен ли я изо дня в день стоять перед лицом твоим?

Сложив руки, о владыка миров, должен ли я стоять перед лицом твоим?

Под твоим великим небом, в молчании уединения, со смиренным сердцем, должен ли я стоять перед лицом твоим?

В твоём трудовом мире, погруженном в борьбу и работу, среди суетливой толпы, должен ли я стоять перед лицом твоим?

И когда мой труд в этом мире кончен, о царь царей, должен ли я стоять одиноко и смиренно перед лицом твоим?

*

Твои дары нам, смертным, утоляют все наши нужды и все же, не уменьшаясь, возвращаются к тебе.

Река совершает свой обычный труд и спешит чрез поля и селения; все же ее неустанное течение стремится омыть твои ноги.

Цветок услаждает воздух своим ароматом, все же последний удел его — принести себя в жертву тебе.

Мир не скудеет, поклоняясь тебе.

Люди разнo приемлют смысл слов поэта; все же их последний смысл — ты.

*

Я знаю тебя, как моего бога, и стою в стороне — я не смею считать тебя равным и приблизиться. Я знаю тебя, как моего отца, и склоняюсь перед твоими стопами — я не касаюсь руки твоей, как руки друга.

Я не стою там, куда ты нисходишь, называя себя моим, не прижимаю тебя к сердцу и не считаю тебя товарищем.

Ты — брат среди моих братьев, но я не замечая их, я не разделяю с ними своего заработка — и все делю с тобою.

В радости и горе я не иду к людям — и иду к тебе. Я не решаюсь отдать свою жизнь — и не погружаюсь в великие воды жизни.

*

Если мне не суждено встретить тебя в этой моей жизни, то дай мне вечно чувствовать, что я лишился созерцания твоего образа, — дай мне ни на мгновение не забывать, дай мне ощущать жало скорби в моих сновидениях и в часы бодрствования.

Дни мои проходят на многолюдном базаре этого мира, и руки мои наполняются ежедневной прибылью, но дай мне вечно чувствовать, что я ничего не приобрел, — дай мне ни на мгновение не забывать, дай мне ощущать жало скорби в моих сновидениях и в часы бодрствования.

Когда я сижу у дороги, истомившись и тяжело дыша, когда я отдыхаю в пыли и прахе, дай мне вечно чувствовать, что еще долгий путь передо мною, — дай мне ни на мгновение не забывать, дай мне ощущать жало скорби в моих сновидениях и в часы бодрствования.

Когда мои покои разукрашены и звучат свирели и громкий смех, дай мне вечно чувствовать, что я не позвал

тебя в свой дом, — дай ни на мгновение не забывать, дай ощущать жало скорби в моих сновидениях и в часы бодрствования.

*

Ныне отпускаеши. Пожелайте мне счастливого пути, братья! Кланяюсь вам всем и удаляюсь. Вот я возвращаю ключи моей двери — и отрекаюсь от всех прав на мое жилище. Только прошу у вас несколько ласковых слов.

Мы были соседями долго, но я получил более, чем мог дать. Вот наступает рассвет, и светильник, озарявший мой тайный угол, иссякает. Слышу призыв и отхожу в путь мой.

*

Божество разрушенного храма! Порванные струны вины уже не поют тебе хвалы. Вечерние колокола не возвещают о времени служения тебе. Воздух тих и безмолвен вокруг тебя.

В твое покинутое жилище веет весенний благоухающий ветер. Он несет весть о цветах — цветах, которых уже не приносят тебе.

Твой дивный служитель скитается доныне, сокрушаясь о милостях, в которых ему отказано. В вечерний час, когда огни и тени мешаются с тьмой праха, он, усталый, возвращается к разрушенному храму с жаждой в сердце.

Много праздничных дней проходит для тебя в молчании, божество разрушенного храма. Много ночей молитвы уходят без зажженных светильников.

Много новых изображений создано искусными мастерами и брошено в священный поток забвения в должный час.

Только божество разрушенного храма пребывает без служителей в вечном небрежении.

*

В день, когда смерть постучится в твою дверь, что ты предложишь ей?

О, я поставлю пред моей гостьей полную чашу моей жизни.

Нет, я не отпущу ее с пустыми руками.

Весь сладкий урожай моих осенних дней и летних ночей, всю жатву и все сбережения жизни, я сложу пред нею на исходе дней моих, когда она постучится в мою дверь.

*

О ты, последнее осуществление жизни, смерть, моя смерть, приди и шепни мне!

День за днем я ждал тебя; ради тебя я сносил радости и муки жизни.

Все, что я имею, на что я надеюсь, и вся моя любовь — все вечно и сокровенно текло к тебе.

Цветы сплетены, венок готов для жениха. После венчания невеста оставит дом свой и одна встретит господина своего в молчании ночи.

*

В час моего ухода пожелайте мне счастья, друзья! Небеса горят зарей, и путь мой будет прекрасен!

Не спрашивайте, что я беру с собой. Я отправляюсь в путь с пустыми руками и сердцем, исполненным надежд.

Я надену брачный венок. Не для меня плащ странника, и хотя в пути предстоят опасности, я не испытываю страха.

Вечерняя звезда взойдет, когда путь мой будет кончен, и жалобные ноты вечерних мелодий зазвучат у врат царя.

*

Всю жизнь искали тебя мои песни. Это они вели меня от двери к двери, и через них постигал я мир.

Это они всему научили меня; они указали мне тайные пути, они открыли моему взору много звезд на небосклоне моего сердца.

Они водили меня весь день среди таинств страны наслаждений и муки; к каким же вратам привели они меня на закате, в конце моего странствования?

*

Смерть, твоя прислужница у моих дверей. Она переплыла неведомое море и принесла твой зов в мое жилище.

Ночь темна, и сердце мое в страхе — все же я возьму светильник, открою двери и склонюсь пред нею с приветом. Ибо это твоя вестница у моих дверей.

Я преклонюсь перед ней, сложив руки и со слезами.

Я преклонюсь перед ней, повергнув к стопам ее сокровища моего сердца.

Она возвратится, исполнив поручение, омрачив мое утро; и в моем опустелом доме останется только мое покинутое тело, как моя последняя жертва тебе.

*

С угасающей надеждой я хожу и ищу ее во всех углах дома; ее нигде нет.

Мой дом невелик, и то, что однажды ушло из него, никогда не вернется.

Но бесконечно твое жилище, владыка мой, и, ища ее, я пришел к твоей двери.

Я стою под золотым балдахином твоего вечернего неба и подымаю к тебе свои страстные взоры.

Я пришел к пределу вечности, где ничто не исчезает: ни надежда, ни счастье, ни черты лица, зримого сквозь слезы.

О, погрузи мою опустошенную жизнь в лоно этого океана. Дай мне почувствовать утраченную сладость прикосновения ко вселенной.

*

Когда я оставлю руль, настанет время взять его тебе. Что надлежит, будет сделано. Напрасна борьба.

Тогда, сердце, молча примиришь со своим поражением. И считай за счастье тихо, тихо стоять там, где тебе предназначено.

Светильники мои меркнут при каждом дуновении ветра, и, пытаясь возжечь их, я забываю все остальное.

Но я буду мудр на этот раз и буду ждать во тьме, разостлав на полу свою циновку; и когда тебе будет угодно, господи, молчаливо приди и сядь здесь.

*

Не слышно более громких, шумных речей от меня — такова воля моего повелителя. Отныне я говорю шепотом. Речь моего сердца зазвучит тихой песнью.

Люди спешат на рынок царя. Все покупатели и продавцы уже там. Но я получил необычный отпуск среди дня, в самый разгар работы.

Так пусть расцветут цветы в моем саду, хотя не настал еще час, и пусть полуденные пчелы начнут свое ленивое жужжание.

Много часов провел я в борьбе добра и зла, но теперь товарищу моих праздных дней угодно склонить мое сердце к себе, и я не знаю, зачем этот призыв к цели, лишенный смысла.

*

Я знаю, что настанет день, когда мой взор уже не увидит этой земли, и жизнь оставит меня в молчании, накинув последнюю завесу на мои глаза.

А звезды будут бодрствовать в ночи, и утро встанет, как прежде, и часы будут течь, как морские волны, вздымая печали и радости.

Когда я думаю о конце моих мгновений, преграда мгновений разрушается и при свете смерти я вижу твой мир с его сокровищами. Прекрасен в нем самый низкий удел, прекрасна презреннейшая жизнь!

То, о чем я напрасно мечтал, и то, чего достиг, да идет мимо. Дай мне лишь то, что я отринул и презрел.

*

Я не помню мгновения, когда впервые переступил порог этой жизни.

Какая сила заставила меня раскрыться в этом великом таинстве, подобно лесной почке в полночь.

Когда утром я увидел свет, я почувствовал сразу, что я не чужой в этом мире, что неведомое, не знающее ни имени, ни образа, приняло меня в объятия в образе моей матери.

Так же и в час смерти это неведомое явится, как давно ведомое. И потому, что я люблю жизнь, я знаю, что полюблю смерть.

Ребенок плачет, когда мать отнимает его от правой груди; но через мгновение утешается, найдя левую.

*

В едином приветствии тебе, господь мой, пусть раскроются все мои чувства и коснутся этого мира у ног твоих.

Подобно дождливому июльскому облаку, низко нависшему над землей под бременем неизлитой влаги, да преклонится вся душа моя у двери твоей, в едином приветствии тебе.

Да сольют мои песни все созвучия свои в единый поток и потекут в море безмолвия в едином приветствии тебе.

Подобно станице тоскующих по родине журавлей, что день и ночь летят в свои горные гнезда, да устремится вся жизнь моя к своей вечной обители в едином приветствии тебе.

*

Время бесконечно в твоих руках, владыка мой. Некому считать твои минуты.

Дни и ночи проходят, и века расцветают и вянут, подобно цветам. Ты умеешь ждать.

Твои века следуют один за другим, совершенствуя маленький дикий цветок.

Нам нельзя терять времени. Мы слишком бедны, чтобы опаздывать.

И вот время идет, и я отдаю его каждому просящему, и на алтаре твоём нет жертвоприношений.

На закате дня я спешу в страхе, что врата твои уже закрыты, и вижу, что нет, еще не поздно.

*

Я украшу тебя трофеями, венками своего поражения.
Не в моих силах скрыться от непобедимого.

Я хорошо знаю, что моя гордость будет сломлена,
жизнь порвет свои оковы в безмерной муке, и мое опусто-
шенное сердце зарыдает песней, подобно пустой тростин-
ке, и камень растает в слезах.

Я хорошо знаю, что сотни лепестков лотоса не будут
закрыты навсегда, и тайник его меда откроется. С голу-
бого неба на меня обратится взор и призовет меня в мол-
чании. Ничего не останется мне, ничего — и смерть я
приму у ног твоих.

*

Я погружаюсь в пучину океана форм в надежде найти
совершеннейшую жемчужину бесформенного.

Кончено плаванье от пристани к пристани в моей по-
битой ветрами ладье. Давно прошли те дни, когда мне
было отрадой носиться по волнам.

И теперь я жажду смерти в бессмертном.

В пышных чертогах у неизмеримой бездны, где рож-
дается музыка беззвучных струн, я возьму арфу моей
жизни.

Я настрою ее навеки и, когда исторгну последний
рыдающий звук, положу ее, безмолвную, к ногам без-
молвного.

*

В час моей разлуки с землей пусть будет моим про-
щальным словом: то, что я видел, — несравненно.

Я вкусил затаенную сладость лотоса, что распускается
в этом светоносном океане, и блажен — пусть это будет
моим прощальным словом.

В этой бесконечной смене форм участвовал и я, и
здесь я узрел лик того, кто не знает формы.

Все мое тело и все мои члены содрогнулись от при-
косновения неосязаемого; и если должен настать конец,
пусть он настанет — и пусть это будет моим прощальным
словом.

*

В игре с тобою я никогда не спрашивал, кто ты? Я не знал ни радости, ни страха, жизнь моя текла бурно.

Ранним утром ты будил меня, как сотоварища, и вел меня от радости к радости.

В те дни я никогда не вдумывался в смысл песен, которые ты пел мне. Мой голос только схватывал напевы, и мое сердце отзывалось им.

Теперь, когда время игр прошло, какое зрелище предо мною? Мир, склонив взоры к твоим стопам, в страхе стоит пред тобою со всеми своими безмолвными светилами.

*

Я похвалялся перед людьми, что знаю тебя. Они видят твой образ во всех трудах моих. Они приходят и спрашивают меня: «Кто он?» Я не знаю, что ответить им. Я говорю: «Право, я не могу сказать». Они хулят меня и с презрением уходят. А ты сидишь и улыбаешься.

Я влагаю в песни мою повесть о тебе. Тайна переполнила мое сердце. Приходят и спрашивают меня: «Скажи смысл их». Я не знаю, что ответить. Я говорю: «Ах, кто знает, что значат они!» Вопрошавшие со смехом и злобой идут прочь. А ты сидишь и улыбаешься.



Из книги
«САДОВНИК»
1914



*

Слуга. Будь милостива к слуге твоему, царица!

Царица. Собрание кончилось, и все слуги мои разошлись. Зачем приходишь ты в такой поздний час?

Слуга. Теперь-то, когда ты отпустила всех, и настало мое время.

Я пришел просить то, что осталось на долю последнему слуге твоему.

Царица. На что можешь надеяться ты в столь поздний час?

Слуга. Сделай меня садовником в саду твоём.

Царица. Что говоришь ты, безумный?

Слуга. Я оставляю свой прежний труд. Я отрекись от меча и копья. Не посылай меня в дальние страны, не приказывай совершать новых побед. Сделай меня садовником в саду твоём.

Царица. В чем же будут состоять твои обязанности?

Слуга. В служении дням твоей праздности,

Я буду беречь свежесть трав на той тропинке, где гуляешь ты утром, где каждый шаг твой будет встречаться гимном цветов, жаждущих смерти под твоей стопой.

Я буду качать тебя на качелях меж ветвей саптарны, где ранний вечерний месяц будет стремиться поцеловать сквозь листья край твоей одежды.

Я буду наполнять благовонным маслом светильник, что горит у твоего ложа, и украшу скамеечку для ног чудесным рисунком, покрою ее сандалом и шафраном.

Царица. Что же ты хочешь в награду за это?

Слуга. Чтоб мне дозволили касаться твоих маленьких ручек, подобных нежным бутонам лотоса, обвивать твои кисти гирляндами цветов, оттенять твои подошвы красным соком ашоки и поцелуями снимать пылинки, что случайно пристанут к ним.

Царица. Твое желание исполнено, слуга мой, — ты будешь садовником в саду моем.

*

«Ах, поэт, близится вечер; волосы твои белеют.

Чуешь ли ты в своем одиноком раздумье вестника грядущей жизни?»

«Да, уже вечер, — сказал поэт, — и я слушаю, ибо меня могут позвать из деревни, хотя уже поздно.

Я жду, не встретятся ли два юных блуждающих сердца и не станут ли просить две пары глаз, полных страсти, моей музыки, дабы она прервала их молчание и заговорила за них.

Кто сложит им страстные песни, если я сяду на берегу жизни и буду созерцать смерть и то, что за ней?

Исчезает ранняя вечерняя звезда.

Погребальный костер медленно гаснет за безмолвной рекой.

Шакалы плачут во дворе опустелого дома при свете умирающей луны.

Если придет сюда бодрствовать ночью и, поникнув головой, будет слушать шепот тьмы какой-нибудь странник, — кто шепнет ему о тайнах жизни, если я, закрыв дверь, освобожу себя от уз смерти?

Это ничего, что волосы мои белеют.

Я вечно так же юн и так же стар, как самый юный и самый старый в этой деревне.

У одних есть улыбка, простая и милая, у других в глазах искрится лукавство.

У одних слезы льются при свете дня, у других слезы скрыты во мраке.

Всем им я нужен, — мне некогда думать о грядущей жизни.

Я каждому равен возрастом — что ж из того, что белеют мои волосы?»

*

Утром я закинул свою сеть в море.

Я вытащил из темной морской пучины предметы дивной формы и дивной красоты — одни из них сияли, как улыбка, другие блестели, как слезы, третьи цвели, как щечки невесты.

Когда же я возвращался домой, моя возлюбленная сидела в саду, празднично обрывая лепестки цветка.

Я колебался мгновение, затем молча положил к ее ногам все, что добыл.

Она взглянула и сказала:

— Какие странные вещи! Я не знаю, на что они.

Я со стыдом склонил голову и подумал: «Я не бился за них, я не купил их на рынке — этот дар ей не нужен».

И целую ночь я выбрасывал их на улицу.

Утром пришли странники; они собрали их и унесли в далекие земли.

*

Увы, зачем они построили дом мой на дороге к торгу?

Они причаливают свои нагруженные лодки возле моих деревьев.

Они приходят и уходят — ведут себя, как вздумается.

Я сижу и смотрю на них; дни текут за днями.

Прогнать их я не в силах. И так текут дни мои.

День и ночь раздаются шаги их у моей двери.

Я тщетно взываю: «Я не знаю вас!»

Одни из них знакомы моему осязанию, другие — чутью; кровь моя как бы знает их; некоторые знакомы моим снам.

Прогнать их я не в силах. Я зову их и говорю: «Идите в дом мой все, кто хочет. Да, идите».

Утром звонит в храме колокол.

Они идут с корзинами в руках.

Ноги их розово-красны; на лицах их первый свет зари.

Прогнать их я не в силах. Я зову их и говорю:

«Идите в сад мой рвать цветы. Идите ко мне».

В полдень гремит гонг у ворот дворца.

Я не знаю, почему они бросили свою работу и стоят у моей ограды.

Цветы в волосах их поблекли и вянут; звуки их флейт томны.

Прогнать их я не в силах. Я зову их и говорю: «Прохладна тень под моими деревьями. Идите, друзья!»

Ночью стрекочут в лесу цикады.

Кто это медленно подходит к моей двери и тихо стучится?

Я смутно вижу лицо, но не слышу ни звука, все наполняет молчание неба.

Прогнать моего молчаливого гостя я не в силах. Я смотрю на его лицо сквозь сумрак, и часы снов утекают.

*

Я не знаю покоя. Я жажду того, что далеко.

Моя душа томится желанием коснуться края смутной дали.

О великое Там, о пронзительный зов твоей флейты!

Я забываю, я всегда забываю, что у меня нет крыльев, что я привязан здесь навеки.

Я горю, я не смыкаю глаз, я чужеземец в чужой стране.

Твое дыхание доходит до меня, нашептывая мне несбыточные надежды.

Твой язык близок мне, как мой собственный.

О Недостижимо-Далекое, о пронзительный зов твоей флейты!

Я забываю, я всегда забываю, что я не знаю пути, что у меня нет крылатого коня.

Я ко всему безучастен, я странствую в своей грезе.

В солнечной дымке томительных часов каким величавым видением возникаешь ты в лазури неба!

О Последний Предел, о пронзительный зов твоей флейты!

Я забываю, я всегда забываю, что закрыты все двери дома, где жил я в одиночестве.

*

О мать, юный принц проедет мимо нашей двери, — как же могу я думать о работе в это утро?

Покажи, как убрать мне волосы; скажи, какое надеть мне платье.

Зачем ты глядишь на меня с изумлением, мать?

Я знаю, что он ни разу не взглянет в мое окно; я знаю, что он скроется во мгновение ока; только замирающий звук флейты, рыдая, донесется издали.

Но юный принц проедет мимо нашей двери, и хоть на миг я надену свое лучшее платье.

О мать, юный принц проехал мимо нашей двери, и утренним солнцем сияла его колесница.

Я откинула с лица покрывало, я сорвала с груди рубиновое ожерелье и бросила к его ногам на дорогу.

Зачем ты глядишь на меня с изумлением, мать?

Я знаю, что он не поднял моего ожерелья; я знаю, что оно было раздавлено колесами колесницы, что осталось красное пятно в пыли и что никто не знает, чем был мой дар и кому он предназначался.

Но юный принц проехал мимо нашей двери, и я бросила самоцветный камень с груди моей к его ногам на дорогу.

*

Когда светильник погас у моего ложа, я проснулась с первой птичкой.

Я села у открытого окна с свежим венком на распущенных волосах.

В розовой утренней мгле шел по дороге юный путник. Жемчужное ожерелье украшало его грудь, и лучи солнца падали на его венок.

Он стал у моей двери и вопрошал, страстно восклицая: «Где она?»

От стыда я не могла сказать ему: «Она — это я, юный путник, она — это я».

Были сумерки, и светильник не был зажжен.

Я рассеянно заплетала косы.

Юный путник прибыл на своей колеснице в блеске заходящего солнца.

Изо рта его коней била пена, и одежда его была покрыта пылью.

Он сошел с колесницы у моей двери и спросил усталым голосом: «Где она?»

От стыда я не могла сказать ему: «Она — это я, усталый путник, она — это я».

Апрельская ночь. Светильник горит в моей комнате.

Нежно веет дыхание южного ветра. Крикливый попугай спит в своей клетке.

Корсаж на мне цвета павлиньего горла, и плащ мой зелен, как молодая трава.

Я сижу у окна, глядя на пустую улицу.

Во мраке ночи я без конца повторяю шепотом: «Она — это я, безнадежный путник, она — это я».

*

Когда я одна иду на свидание, не поют птицы, не шелхнется ветер, дома вдоль улицы безмолвны.

Браслеты на моих ногах звенят при каждом моем шаге — и мне стыдно.

Когда я сижу на своем балконе и прислушиваюсь, не идет ли он, не шелестят листья на деревьях, река неподвижна, как меч на коленях заснувшего часового.

Сердце мое рвется из груди моей — я не знаю, как успокоить его.

Когда приходит мой возлюбленный и садится рядом со мною, когда мое тело дрожит и веки опускаются, ночь

темнеет, ветер гасит светильник, и облака окутывают покрывалами звезды.

Самоцвет на моей груди сияет и светит. Я не знаю, как скрыть его.

*

Брось работу, невеста. Слушай, пришел гость.

Слышишь, он осторожно трогает цепь, которой заперты двери.

Смотри, чтобы не громко звенели браслеты на твоих ногах, чтобы шаг твой был не слишком тороплив, когда ты будешь встречать его.

Брось работу, невеста, гость пришел в час вечерний.

Нет, то не ветер зловещий, невеста, — не бойся.

Полный месяц в апрельскую ночь глядит с неба; тени на дворе слабы, небосвод чист.

Если нужно, спусти на лицо покрывало, если тебе страшно, поднеси светильник к двери.

Нет, то не ветер зловещий, невеста, — не бойся.

Не говори с ним ни слова, если ты стыдлива; стань в сторонке у двери, встречая его.

Если он обратится к тебе с вопросами, можешь опустить глаза в молчании.

Пусть не звенят твои браслеты, когда, держа в руке светильник, ты введешь его в дом.

Не говори с ним ни слова, если ты стыдлива.

Ты еще не кончила работу, невеста? Слушай, пришел гость.

Разве ты не зажгла еще огонь в хлеве?

Разве не готова корзина с приношениями для вечерней жертвы?

Разве ты не положила красный знак счастья в пробор волос и не сделала свой ночной убор?

О невеста, слышишь ли, гость пришел.

Брось работу, невеста.

*

Приходи в чем есть; не трать время на одевание.

Если косы твои расплелись, если пробор твой не ровен, если ленты корсажа распушены, не думай об этом.

Приходи в чем есть, не трать время на одевание.

Приходи, быстрым шагом, по травам.

Если сойдет от росы краска с твоих ног, если разомкнутся кольца бубенчиков, если выпадут жемчужины из ожерелья, не думай об этом.

Приходи, быстрым шагом, по травам.

Видишь, как тучи окутали небо?

Станицы журавлей поднимаются с дальней речной отмели, и бурные ветры порывисто дуют над зарослями.

Встревоженное стадо бежит к своим стойлам в деревне.

Видишь, как тучи окутали небо?

Напрасно зажигаешь ты светильник у зеркала — он мерцает и гаснет от ветра.

Кто может заметить, что на веках твоих нет следов копоты? Ведь глаза твои темней, чем грозовые тучи. Напрасно зажигаешь ты светильник у зеркала — он гаснет.

Приходи в чем есть, не трать время на одевание.

Если венок не сплетен, кому о том забота? Если не сомкнута цепочка браслета — не все ли равно?

Все небо в тучах, уж поздно.

Приходи в чем есть, не трать время на одевание.

*

Я ничего не просил, только стал за дерево на опушке леса.

Еще была истома в глазах зари и роса в воздухе.

Ленивый запах росистой травы тонким туманом висел над землей.

Ты доила корову под баньяном, руками нежными и свежими, как масло.

Я не промолвил ни слова. То пропела птица, невидимая в чаще.

Манговое дерево роняло цветы на деревенскую дорогу, и пчелы, жужжа, пролетали одна за другой.

На берегу пруда растворились ворота в храме Шивы, и служитель начал песнопения.

Держа на коленях сосуд, ты доила корову.

Я стоял с пустой кружкой.

Я не подошел к тебе.

Небо пробудилось от звуков гонга в храме.

Пыль поднялась на дороге от бегущего стада.

Женщины шли от реки, держа у бедра булькающие кувшины.

Твои браслеты звенели, и пена клубилась через край кувшина.

Утро проходило, и я не подошел к тебе.

*

Я шел по дороге, сам не знаю зачем, когда полдень уже минул, и ветви бамбука шелестели от ветра.

Косые тени простирали объятия к стопам уходящего света.

Кукушки устали от песен.

Я шел по дороге, сам не знаю зачем.

Хижина над водой осенена развесистым деревом.

Какая-то женщина работала там, и ее запястья наполняли весь этот уголок музыкой.

Я остановился перед хижинкой, сам не знаю зачем.

Узкая извилистая тропинка пересекала много горчишных полей и манговых рощ.

Она проходила мимо храма в селении и рынка у речной пристани.

Я остановился перед этой хижинкой, сам не знаю зачем.

Много лет назад был день бурного марта, когда так томителен был шепот весны, и манговый цвет падал на пыльную дорогу.

Струистые волны взбегали и лизали медный сосуд, что стоял на ступеньках пристани.

Я думаю об этом дне бурного марта, сам не знаю зачем.

Тени густеют, и скот возвращается в свои стойла.

Свет становится серым на пустых лугах, и поселяне ждут парома у берега.

И снова я тихо иду, сам не знаю зачем.

*

Я бегу, как бежит кабарга в сумраке леса, обезумевшая от собственного запаха.

Эта ночь — ночь расцвета мая, ветерок — дуновение юга.

Я теряю дорогу, я блуждаю, я ищу того, чего не найти мне, я нахожу то, чего не ищу.

Из сердца моего исходит и вьется передо мною в танце образ моего желания.

Сияющий призрак уносится.

Я пытаюсь крепко схватить его, он бежит от меня и сбивает меня с дороги.

Я ищу то, чего мне не дано найти, я нахожу то, чего не ищу.

*

Сплетаются руки с руками, глаза тонут в глазах — так начинается повесть о наших сердцах.

Лунная мартовская ночь; в воздухе сладкий запах хены, моя флейта лежит на земле, и твоя цветочная гирлянда осталась не кончена.

Любовь между нами проста, как песня.

Твое покрывало шафранного цвета пьянит мои глаза.

Венок из жасмина, что ты сплела мне, наполняет мое сердце гордостью.

Это игра, — дадим и отнимем, покажем и снова спрячем; улыбки и легкая робость и прелесть бесполезной борьбы.

Любовь между нами проста, как песня.

Ни тайны вне настоящего; ни стремления к невозможному; ни тени за очарованием; ни блужданий в глубинах мрака.

Любовь между нами проста, как песня.

Мы не уходим от слов к вечному молчанию; мы не простираем рук в пустоту, что вне надежды.

Довольно того, что мы даем и берем.

Мы не до конца изжили радость, чтобы брать от вина страданий.

Любовь между нами проста, как песня.

*

Когда две сестры идут за водою, они подходят к этому месту и улыбаются.

Они, верно, знают, что кто-то всегда стоит за деревьями, когда они идут за водой.

Сестры что-то шепчут друг другу, когда проходят это место.

Они, верно, узнали тайну того, кто всегда стоит за деревьями, когда они идут за водой.

Кувшины их внезапно клонятся, и льется вода, когда они подходят к этому месту.

Верно, они догадались, что бьется сердце у того, кто всегда стоит за деревьями, когда они идут за водой.

Сестры переглядываются и улыбаются, когда подходят к этому месту.

Улыбка и в быстрых ногах их, и она путает мысли того, кто всегда стоит за деревьями, когда они идут за водой.

*

Ты шла по тропинке вдоль реки с полным кувшином у бедра.

Зачем ты быстро повернула лицо и взглянула на меня из-под развевающегося покрывала?

Взгляд тот, сверкнувший из мрака, повеял на меня, как ветерок, что покрывает рябью трепещущую влагу и улетает прочь к тенистым берегам.

Он прилетел ко мне, подобно вечерней птице, что быстро пролетает темную комнату из одного окна в другое и пропадает в ночи.

Ты скрыта, как звезда за горами, я же — прохожий на дороге.

Зачем же ты остановилась на мгновение и взглянула мне в лицо из-под покрывала, когда шла по тропинке вдоль реки с полным кувшином у бедра?

*

Изо дня в день он приходит и уходит.

Иди и дай ему цветок из моих кос, друг мой.

Если он спросит, кто прислал его, умоляю тебя: не называй ему моего имени, — ведь он только приходит и уходит.

Он садится на землю под деревом.

Усыпь это место цветами и листьями, друг мой.

Глаза его печальны и печалят мое сердце.

Он не говорит, что у него на душе; он только приходит и уходит.

*

Зачем пожелал он, юный странник, прийти к моей двери на рассвете?

Когда я вхожу и выхожу, я каждый раз иду мимо него и не могу не взглянуть на него.

Я не знаю, заговорить ли с ним, или хранить молчание. Зачем пожелал он прийти к моей двери?

Облачные ночи в июле темны; небо нежно-сине осенью; весенние дни беспокойны от нежного ветра.

Каждый раз он вплетает в свои песни новые звуки.

Я отрываюсь от работы, и глаза мои застилает туман. Зачем пожелал он прийти к моей двери?

*

Когда она прошла мимо меня быстрыми шагами, край ее одежды коснулся меня.

С неведомого острова сердца вдруг повеяло теплым дыханием весны.

Трепет мимолетного прикосновения пробежал по мне и исчез во мгновение, подобно оторванному цветочному лепестку, взвеваемому ветром.

Он проник в мое сердце, как вздох ее тела и шепот ее сердца.

*

Зачем ты сидишь и бряцаешь браслетами, праздну играя?

Наполни свой кувшин. Время тебе идти домой.

Зачем ты волнуешь воду руками и бросаешь быстрый взгляд на дорогу, праздну играя?

Наполни свой кувшин и иди домой.

Утренние часы проходят — темные воды утекают.

Волны смеются и шепчутся друг с другом, празднично играя.

Блуждающие тучки ступили на краю небосклона, вон там над перевалом.

Они не уходят, глядят тебе в лицо и улыбаются.

Наполни свой кувшин и иди домой.

*

Не тай про себя тайну сердца, друг мой!

Открой ее мне, только мне, тайно.

Ты, что улыбаешься так нежно, шепни тихонько: услышит ее мое сердце, — не слух.

Ночь темна, дом безмолвен, птичьи гнезда окутаны сном.

Сквозь сдержанные слезы, сквозь трепетные улыбки, сквозь сладкий стыд и муку открой мне тайну своего сердца.

*

— Приблизься к нам, юноша, скажи, почему в твоих глазах безумие.

— Я не знаю, что это за вино из дикого мака, которого я выпил, — от него в глазах моих безумие.

— О, стыд!

— Что ж, одни мудры, другие безумны, одни осторожны, другие беспечны! Есть глаза, что смеются, есть глаза, что плачут, — в моих же безумие.

*

— Юноша, почему ты стоишь неподвижно в тени под деревом?

— Ноги мои изнемогают под бременем сердца, и вот стою я неподвижно, в тени.

— О, стыд!

— Что ж, одни бодро идут своей дорогой, другие медлят, одни на свободе, другие в оковах, а мои ноги изнемогают под бременем сердца.

*

— Я принимаю только то, что ты подашь от доброго сердца. Большого я не прошу.

— Да, да, знаю я вас, смиренных просителей, вам подавай все.

— Если бы нашелся для меня хоть какой-нибудь цветочек, я носил бы его на своем сердце.

— А если он будет с шипами?

— Я не боюсь их.

— Да, да, знаю я вас, смиренных просителей, вам подавай все.

— Если бы ты бросила хоть единый нежный взгляд, ты сделала бы блаженством жизнь мою после смерти.

— А если взгляд будет жестокий?

— Я сохраняю его в своем пронзенном сердце.

— Да, да, я знаю вас, смиренных просителей, вам подавай все.

*

— Верь любви, если даже она приносит горечь. Не закрывай своего сердца.

— Ах, нет, друг мой, слова твои темны, я не могу их понять.

— Сердце, любовь моя, лишь для того, чтобы отдать его в слезах и песнях.

— Ах, нет, друг мой, слова твои темны, я не могу их понять.

— Радость мгновенна, как капля росы, — улыбаясь, она умирает. А горечь сильна и прочна. Пусть же в глазах твоих живет любовь, полная горести.

— Ах, нет, друг мой, слова твои темны, я не могу их понять.

— Лотос расцветает в блеске солнца и утрачивает все. Но разве он захочет остаться нерасцветшим в вечных туманах зимы?

— Ах, нет, друг мой, слова твои темны, я не могу их понять.

*

Вопрошающие глаза твои грустны. Они хотят проникнуть в мою душу, как месяц стремится измерить бездну моря.

Я обнажил свою жизнь перед тобой от края до края, ничего не утаив, ничего не скрыв от тебя. Вот почему ты и не знаешь меня.

Если бы это был только драгоценный камень, я разбил бы его на сто частей и сделал из них ожерелье, чтоб украсить им твою грудь.

Если бы это был только цветок, венчик, маленький и нежный, я сорвал бы его, чтобы воткнуть тебе в косы.

Но ведь это сердце, возлюбленная моя. Где берега его, где дно?

Ты не знаешь границ этого царства, хотя ты его царица.

Если бы это был только миг наслаждения, он расцвел бы спокойной улыбкой, и ты могла бы увидеть его и процесть в один миг.

Если бы это было только страдание, оно стало бы прозрачными слезами, открывающими его сокровенную тайну без слов.

Но ведь это любовь, возлюбленная моя.

Наслаждения и муки ее безграничны, и бесконечна ее нищета и богатство.

Она близка к тебе, как твоя жизнь, но ты никогда не постигнешь ее всецело.

*

Говори, любовь моя! Скажи словами то, о чем пел.

Ночь темна. Звезды затерялись в тучах. Ветер вздыхает в листьях.

Я распушу свои косы. Синий плащ окутает меня, словно ночь. Я прижму к груди твою голову, и пусть в этом сладком уединении шепчет твое сердце. Я закрою глаза и буду слушать. Я не стану глядеть в лицо тебе.

Когда замрут слова твои, мы будем сидеть молчаливо и тихо. Только деревья будут шептать в темноте.

Ночь побледнеет. Настанет утро. Мы взглянем друг другу в глаза и пойдем по разным тропинкам.

Говори, любовь моя! Скажи словами то, о чем пел.

*

Ты — вечернее облачко, плывущее по небу моих грез.
Я вечно облакаю тебя красками и меняю твои формы томлением моей любви.

Ты моя, моя безраздельно, — ты, Обитающая в моих бесконечных грезях.

Ноги твои, как розы, в огне желаний моих — ты, Жнущая колосья моих закатных песен.

Губы твои сладостно-горьки от вина моей муки.

Ты моя, моя безраздельно, — ты, Обитающая в моих одиноких грезях.

Я омрачил глаза твои тенью моей страсти, о Пребывающая в глубине моего взора!

Я поймал и опутал тебя, любовь моя, сетями своей песни.

Ты моя, моя безраздельно, — ты, Обитающая в моих бессмертных грезях.

*

Мое сердце, птица пустыни, нашло свое небо в твоих глазах.

Они — колыбель утра, они — царство звезд.

Мои песни теряются в их глубине.

Дай мне только парить в этом небе, в его пустынной необъятности.

Дай мне только рассекать облака его и простирать крылья в его солнечном блеске.

Скажи мне: это все правда, любовь моя, это правда?

Когда эти глаза мечут молнии, темные тучи в твоей груди откликаются бурей.

Это правда, что губы мои сладостны, как раскрытый цветок первой любви?

Что в членах моих — след исчезнувших месяцев мая?

Что земля, словно арфа, звучит песнями от прикосновения моих ног?

Это правда, что капли росы падают из глаз ночи, когда она видит меня, и что ликует свет утра, когда он облекает мое тело?

Это правда, правда, что твоя любовь одиноко шла чрез века и миры, ища меня?

Что, когда ты нашел меня, наконец, нашло желание твое полный покой в моих нежных речах, в моих глазах и губах и волнах волос?

Так это правда, что тайна Бесконечного начертана вот на этом лбу?

Скажи мне, любовь моя, это все правда?

*

Я люблю тебя, возлюбленный. Прости мне любовь мою. Как птица, потерявшая путь свой, поймана я.

Когда сердце мое затрепетало, покров с него спал, и оно обнажилось. Прикрой его состраданием, возлюбленный мой, и прости мне любовь мою.

Если не можешь любить меня, возлюбленный, прости мою муку.

Не гляди на меня искоса.

Я проберусь в свой угол и сяду во мраке.

Обеими руками закрою я свое обнаженное тело.

Отврати от меня лицо свое, возлюбленный, и прости мне мою муку.

Если ты любишь меня, прости мою радость.

Когда сердце мое уносит поток счастья, не смейся над моим гибельным отъединением.

Когда я взойду на свой трон и буду править тобой тиранией любви моей, когда, подобно богине, я буду дарить тебе свои милости, тогда смирись перед моей гордостью, возлюбленный, и прости мне мою радость.

*

Не уходи, любовь моя, не сказавшись мне.

Я не спала всю ночь, и вот глаза мои тяжелеют от дремоты.

Я боюсь, что потеряю тебя, когда усну.

Не уходи, любовь моя, не сказавшись мне.

Я вскакиваю и простираю руки, чтобы коснуться тебя.

Я спрашиваю себя: «Это сон?»

Если б я могла опутать любовью твои ноги и удержать их близ моей груди!

Не уходи, любовь моя, не сказавшись мне.

*

Чтобы я не узнал тебя слишком скоро, ты играешь со мною.

Чтобы скрыть свои слезы, ты ослепляешь меня вспышками смеха.

Я знаю, знаю твои хитрости, —

Ты никогда не скажешь того, что хотела бы.

Чтобы я не узнал цену тебе, ты ускользаешь от меня тысячью путей.

Чтобы я не смешал тебя с толпою, ты становишься в сторонке.

Я знаю, знаю твои хитрости, —

Ты никогда не пойдешь тропой, какой хотела бы.

Ты требуешь большего, чем другие, и потому ты безмолвна.

С игривой беспечностью отвергаешь ты мои дары!

Я знаю, знаю твои хитрости, —

Ты никогда не возьмешь того, что хотела бы.

*

Он шепнул: «Любовь моя, подними свой взор!»

Я с сердцем сказала: «Уйди!» Но он не ушел.

Он стоял и держал мои руки. Я сказала: «Оставь меня!» Но он не оставил.

Он склонился к моему уху. Я взглянула на него и сказала: «Какой стыд!» Но он не двинулся.

Его губы коснулись моей щеки. Я вздрогнула и сказала: «Ты позволяешь себе слишком много!» Но он не устыдился.

Он воткнул цветок в мои волосы. Я сказала: «Напрасно!» Но он стоял неподвижно.

Он снял гирлянду с моей шеи и отошел. Я плачу и спрашиваю сердце: «Отчего он не возвращается?»

*

«Украсишь ли ты мою шею своим венком из свежих цветов, прекрасная?»

«Да, но знай, что венок, сплетенный мною, — для многих; для тех, что зримы лишь одно мгновение, что обитают в еще неведомых странах, что живут в песнях поэта.

Уже поздно просить у меня сердце за сердце!

Было время, когда моя жизнь была подобна нераскрывшемуся цветку, — весь аромат его таился в глубине его.

Теперь он рассеян далеко и широко.

Кто знает чары, что могут собрать и скрыть его снова?

Мое сердце не настолько мое, чтобы я могла отдать его одному, — оно отдано многим».

*

Любовь моя, был некогда день, — твой порт готовился спустить на воду большой эпический корабль.

Увы, я был неосторожен, он наткнулся на браслеты, звенящие на ногах твоих, и погиб.

Он разбился на тысячи песен, что рассыпаны у ног твоих.

Весь его груз — сказанья о минувших битвах — был раскидан волнами, подмочен слезами — и погиб.

Ты должна возместить мне мою потерю, любовь моя.

Если утрачено мое право на вечную славу по смерти, — дай мне бессмертие при жизни.

И я не стану ни оплакивать свою потерю, ни обвинять тебя.

*

Все утро пытаюсь я сплести венок, но цветы ускользают и падают.

Ты сидишь и украдкой следишь за мной пытливым взором.

Спроси эти глаза, тайком замышляющие козни, кто виноват в этом.

Я пытаюсь спеть песню, но тщетно!

Затаенная улыбка дрожит на твоих губах; спроси у нее о причинах моей неудачи.

Пусть твои смеющиеся губы засвидетельствуют, как затих мой голос, подобно пчеле, опьяневшей в чашечке лотоса.

Уже вечер, и время цветам закрыть лепестки свои.

Дозволь мне присесть возле тебя и повели губам моим сделать то, что может быть сделано в молчании, при сумрачном свете звезд.

*

Недоверчивая улыбка мелькает в твоих глазах, когда я прихожу к тебе проститься.

Я делал это так часто, что ты думаешь, что я скоро вернусь.

По правде сказать, мне и самому так кажется.

Ибо весенние дни наступают опять и опять; месяц скрывается и снова приходит; цветы расцветают в свой срок на ветвях год за годом; так, может быть, прощаюсь и я лишь затем, чтоб вернуться.

Но удержи заблуждение на время; не гони его прочь с суровой поспешностью.

Когда я говорю, что покидаю тебя навеки, прими это как правду, и пусть дымка слез на мгновение углубит темные сферы твоих глаз.

А потом, когда я вернусь, улыбайся лукаво, как хочешь.

*

Я жажду сказать самое сокровенное слово, какое только есть у меня для тебя, но не смею, боюсь, что ты станешь смеяться.

Вот почему я смеюсь сам над собою и расточаю мою тайну в шутках.

Я пренебрегаю своей мукой, боясь, что ты сделаешь то же.

Я жажду сказать тебе самые правдивые слова, какие только есть у меня для тебя, но не смею, боюсь, что ты им не поверишь.

Вот почему я облакаю их неправдой, говоря то, чего нет.

Я делаю смешной свою муку, боясь, что ты сделаешь то же.

Я жажду сказать тебе самые драгоценные слова, какие только есть у меня для тебя, но не смею, боюсь, что мне не отплатят той же ценой.

Вот почему я порочу тебя худыми именами и похваляюсь своей грубой силой.

Я оскорбляю тебя, боясь, что ты никогда не изведешь страдания.

Я жажду побыть молча возле тебя, но не смею, боюсь, что уста мои выдадут сердце.

Вот почему я болтаю и скрываю свое сердце за пустыми словами.

Я жестоко поступаю со своим страданием, боясь, что и ты сделаешь то же.

Я жажду уйти от тебя, но не смею, боюсь, что ты узнаешь мою трусость.

Вот почему я так гордо поднимаю голову и беспечно вхожу к тебе.

Вечные удары твоих глаз вечно живым делают мое страдание.

*

Нет, друзья, никогда не быть мне аскетом — можете говорить, что хотите.

Никогда не быть мне аскетом, если она не примет обета со мной вместе.

Решение мое твердо: если не найду укромного приюта и спутницы по воздыханиям, никогда не быть мне аскетом.

Нет, друзья, никогда я не брошу мой кров и очаг и не уйду в лесную глушь, если нет в ее отзывной сени звящего смеха, не развевается по ветру край желтого плаща и тихий шепот не углубляет молчания.

Нет, никогда не быть мне аскетом.

*

Святой отец, прости грешную чету. Весенние ветры налетают сегодня бурными вихрями, гонят пыль и мертвые листья и уносят все твои поучения.

Не говори, отец, что жизнь — суета сует.

Ибо мы заключили со смертью перемирие, и хоть на несколько часов, но стали бессмертны.

Если бы пришло сюда и грозно двинулось на нас царское войско, с сожалением покачали бы мы головой и сказали: «Братья, вы нам мешаете. Если вам нужна эта шумная забава, ступайте и бряцайте оружием где-нибудь в другом месте. Ибо лишь на несколько скоротечных мгновений мы стали бессмертны».

Если бы пришли сюда и столпились вокруг нас добрые люди, мы смиренно поклонились бы им и сказали: «Такое чрезмерное счастье нас стесняет. Мало простора в этом бесконечном небе, в нашей обители. Ибо весной цветы расцветают в великом множестве, и пчелы задевают друг друга крылышками. Небо, где обитаем только мы, бессмертные, до смешного тесно».

*

Гостям, которым нужно ехать, пожелай доброго пути и замети следы их ног.

Прижми к сердцу с улыбкой то, что близко, бесхитростно, просто.

Нынче пир призраков, что не ведают своего смертного часа.

Пусть смех твой будет безотчетно весел, подобно мерцанию света на волнах.

Пусть жизнь твоя дрожит на грани Времени, подобно
капле росы на древесном листочке.

Исторгни из своей арфы созвучия, проникнутые бег-
лым, порывистым ритмом.

*

Ты покинула меня и пошла своей дорогой.

Я думал, что стану оплакивать тебя, что буду хранить
в сердце твой единый образ, оправленный в золото песен.

Но ах, злой рок мой, ведь жизнь так мгновенна.

Год за годом убывает юность, весенние дни мимолет-
ны, цветы недолговечны, мудрость говорит нам, что
жизнь как роса на лотосе.

И пренебречь всем этим, чтобы смотреть вслед за той,
что отвернулась и ушла от меня!

Это было бы грубо и безрассудно — ведь жизнь так
мгновенна.

Так проходите же шумным шагом, мои дождливые
ночи; смейся, моя золотая осень; иди, беззаботный ап-
рель, щедро расточающий поцелуи.

Идите и вы, и вы тоже.

Возлюбленные, вы знаете — мы смертны.

Разумно ли разбивать свое сердце ради того, кто свое
уже отнял. Ведь жизнь так мгновенна.

Это сладко — сидеть в уголке и мечтать и слагать сти-
хи о том, что мой мир — весь в тебе.

Геройство — уйти в свою скорбь и решить, что нет
утешения.

Но вот юное личико заглянуло в мою дверь, мы
смотрим друг на друга.

Мне остается только смахнуть слезу и перестроить
песню на новый лад.

Ведь жизнь так мгновенна.

*

Раз ты так хочешь, я перестану петь.

Раз твое сердце бьется, я не буду смотреть на тебя.

Раз овладевает тобой на прогулке внезапный страх,
я сверну и пойду другой дорогой.

Раз ты стыдишься при мне плести венок, я не буду заглядывать в твой уединенный садик.

Раз вода слишком бурлит и плещет, я направлю свой челн к другому берегу.

*

Освободи меня от своих сладостных оков, любовь моя!
Довольно этого вина лобзаний.

Туман тяжких курений давит мне сердце.

Открой дверь на утреннее солнце.

Я утонул в тебе, потерявшись в волнах твоих ласк.

Освободи меня от твоих чар и верни мне мое мужество, чтобы я мог отдать тебе свое освобожденное сердце.

*

Я держу ее руки и прижимаю ее к сердцу.

Я пытаюсь наполнить ее прелестью свои объятья, похитить в поцелуях ее сладостную улыбку, выпить своим взглядом ее темный взгляд.

Ах, но возможно ли это? Кто может отнять синеву у неба.

Я пытаюсь поймать красоту; она бежит от меня, оставляя в моих руках только тело.

Усталый и обманутый, я отступаю.

Может ли плоть коснуться цветка, которого может коснуться только дух!

*

Возлюбленная, мое сердце день и ночь жаждет встречи с тобой — встречи, что подобна всепоглощающей смерти.

Развей меня, как буря; возьми все, что есть у меня; рассей мой сон и расхить мои грезы. Лиши меня всей моей вселенной.

В этом опустошении, в последней обнаженности духа,
пусть станем мы только красотою.

Увы, тщетно мое желание! Где эта надежда на слия-
ние, кроме тебя, господи!

*

Итак, кончай последнюю песню — и расстанемся.

Забудь эту ночь, когда ночи нет более.

Кого я пытаюсь заключить в свои объятия? Никогда
не пленишь сновидений!

Мои жадные руки прижимают к груди пустоту, и она
больно бьет мне в сердце.

*

Отчего светильник погас?

Я закрыл его плащом от ветра, — вот отчего светиль-
ник погас.

Отчего цветок увял?

Я жадно прижал его к груди, — вот отчего цветок
увял.

Отчего ручей иссяк?

Я запрудил его, чтобы он служил мне, — вот отчего
ручей иссяк.

Отчего струна на арфе порвалась?

Я пытался извлечь из нее звук, превышавший ее си-
лы, — вот отчего струна порвалась.

*

Зачем ты стыдишь меня взглядом?

Я пришел не как нищий.

Я только приостановился у твоего двора, за изгородью
сада.

Зачем ты стыдишь меня взглядом?

Я не рвал в твоём саду роз, не срывал плодов.

Я скромно стал в придорожной тени, где может оста-
новиться каждый прохожий.

Но роз я не рвал.

Да, ноги мои устали, и хлынул ливень.

Ветер выл среди гнущихся стеблей бамбука.

Тучи бежали по небу, как разбитые рати.

Ноги мои устали.

Я не знаю, что ты обо мне подумала и кого ты поджидала у двери.

Вспышки молний слепили твой пытливый взгляд.

Мог ли я знать, что ты меня разглядишь в темноте?

Я не знаю, что ты подумала обо мне.

День прошел, и дождь на время перестал.

Я уйду из-под деревьев твоего сада, покидаю свое местечко в траве.

Темнеет; закрой свои двери.

Я пойду своей дорогой. День прошел.

*

Куда ты спешишь с своей корзиной так поздно, когда рынок уже опустел?

Все разошлись по домам с своими ношами; месяц смотрит сквозь деревья на селенье.

Отклики голосов, зовущих паром, убегают по темной воде, к дальнему болоту, где спят дикие утки.

Куда спешишь ты с своей корзиной так поздно, когда рынок уже опустел?

Сон наложил свои персты на глаза мира.

Стихли вороньи гнезда, стих лепет бамбука.

Работники, вернувшись с поля, расстилают во дворах свои циновки.

Куда спешишь ты с своей корзиной так поздно, когда рынок уже опустел?

*

Был полдень, когда ты ушел.

Солнце пылало в небе.

Я кончила свою работу и сидела одна на балконе, когда ты ушел.

Порывистый ветер приносил ароматы далеких полей.
В тени не смолкая ворковали голуби, и пчела носилась по моей комнате, жужжа мне вести с далеких полей.

Деревня спала в полуденном зное. Дорога была пустынная.

Иногда поднимался шелест листьев, и снова все стихало.

Я глядела в небо и видела в лазури буквы имени, которое я узнала, когда деревня спала в полуденном зное.

Я забыла заплести свои волосы. Ленивый ветерок играл ими на моей щеке.

Тихо текла река в тенистых берегах.

Белые ленивые облака не двигались.

Я забыла заплести свои волосы.

Был полдень, когда ты ушел.

Пыль на дороге была горяча, и поля дышали зноем.

Голуби ворковали в густых листьях.

Я была одна на балконе, когда ты ушел.

*

Я была одною из многих, что изо дня в день заняты черной домашней работой.

Зачем же ты избрал меня, зачем унес из-под тихого крова нашей простой жизни?

Священна любовь невысказанная — она сияет, как драгоценный камень, в сокровенном мраке сердца. При свете жадного дня она кажется бедной и тусклой.

Ах, но и сквозь покров ты вторгся мне в сердце и вынес на свет мою трепещущую любовь, навеки разорив темный уголок, где она тайла свое гнездышко.

Другие женщины остались теми же, какими были.

Ни одна из них не заглянула в глубину своего существа, и они сами не знают своих тайн.

Они беспечно смеются, плачут, болтают и работают. Каждый день ходят они в храм, зажигают светильники и носят с реки воду.

Я надеялась, что моя любовь будет избавлена от стыда бездомности; но ты отвернулся от меня.

Да, твой путь открыт перед тобой; но мне ты отрезал дорогу назад и оставил меня обнаженной перед миром, что день и ночь смотрит на меня своими лишенными век глазами.

*

О мир, я сорвал твой цветок!

Я прижал его к сердцу, и он вонзился мне в сердце шипами.

Когда день угас и стемнело, я увидел, что цветок увял — осталась только рана.

О мир, много цветов, благовонных и пышных, будет еще у тебя!

Но прошло мое время рвать их, и во мраке ночи нет у меня розы — осталась только рана.

*

Однажды утром, в цветнике, слепая девушка подала мне гирлянду цветов.

Я надел ее на свою шею, и слезы навернулись на мои глаза.

Я поцеловал ее и сказал:

«Ты так же слепа, как цветы.

Ты сама не знаешь, как прекрасен твой дар».

*

О женщина, ты не только создание бога, но и создание мужчины; он вечно награждает тебя красотой своей души.

Поэты ткут для тебя одежды из золотых нитей грез; художники вечно дарят твоим формам новое бессмертие.

Море дает жемчуг, рудники — золото, сады летом — цветы, чтобы украшать и одевать тебя и делать еще драгоценнее.

Желание мужских сердец пролило сияние на твою юность.

Ты и мечта, ты и женщина.

Среди бега и рева жизни ты, Красота, изваянная из камня, стоишь немая и недвижимая, всему чуждая и далекая.

Великое Время влюбленно сидит у ног твоих и шепчет: «Говори, говори мне, любовь моя, говори, невеста моя!» Но голос твой сокрыт в камне, о Недвижная!

*

Тише, сердце, пусть время прощания будет сладостно. Пусть оно будет не смертью, а лишь завершением.

Пусть любовь претворится в воспоминание и боль — в песню.

Пусть полет в небеса завершится возвратом к гнезду.

Пусть последнее прикосновение твоих рук будет нежно, как ночной цветок.

Помедли, о Прекрасный Конец, и скажи последние слова свои в молчании.

Я склоняюсь перед тобой и подниму свой светильник, чтобы осветить твой путь.

*

На сумрачный путь сна вышел я искать любовь, которую я знал в былой жизни.

Дом ее стоял в конце пустынной улицы.

Под легким вечерним ветром дремал ее любимый павлин, и голуби не ворковали в своем приюте.

Она поставила свой светильник у входа и стояла передо мною.

Она подняла на меня свои большие глаза и невинно спросила: «Как ты живешь, друг мой?»

Я хотел ответить, но язык наш был утрачен и забыт.

Я все думал и думал; наши имена не приходили мне на память.

Слезы блеснули у нее на глазах. Она протянула мне правую руку. Я взял ее и стоял молчаливо.

Светильник наш вспыхнул в дыханье вечернего ветра и умер.

*

Путник, ты должен идти?

Еще глухая ночь, и мрак тяготеет над лесом.

Ярки огни у нас на балконе, свежи цветы, и юные очи еще блещут.

Разве уже настал час разлуки?

Путник, ты должен идти?

Мы не сжимаем твоих ног простертыми с мольбой руками.

Двери перед тобой открыты. Конь твой оседлан и ждет у ворот.

Если чем мы и пытались преградить тебе дорогу, то только песнями.

Если чем мы и пытались удержать тебя, то только взглядами.

Путник, мы бессильны удержать тебя. Нам остались только слезы.

Какой неугасимый пламень горит в твоем взоре?

Какой тревожный жар течет в твоей крови?

Какой призыв из тьмы тебя торопит?

Какое страшное заклятье прочел ты по звездам в небе, что ночь, безмолвная и дивная, вошла в твое сердце с запечатленной вестью?

Если тебя не радуют веселые сборища, если ты хочешь покоя, измученное сердце, пусть погаснут огни и смолкнут арфы.

Мы тихо будем сидеть во тьме среди шелеста листьев, и усталый месяц будет лить свой бледный свет в твои окна.

О Путник, какой беспокойный дух зовет тебя из глубины полночи?

*

Я провел целый день в удушающе-жаркой дорожной пыли.

И вот, при вечерней прохладе, стучусь я в дверь подворья. Оно заброшено и разрушается.

Страшное дерево ашот пустило свои голодные извилистые корни в зияющие расселины стен.

Были дни, когда путники приходили сюда омыть свои усталые ноги.

Они расстилали во дворе при бледном сиянии ранней луны свои циновки и сидели, беседуя о дальних странах.

Освеженные, они вставали утром, и радовали их птицы, и придорожные цветы дружески кивали им своими головками.

Но не горящий светильник ждал меня, когда я вошел в двери.

Черные пятна копоти, что остались от многих вечерних огней, когда-то здесь горевших, глядели со стен, как слепые очи.

Светлячки летали в кустах у высохшего пруда, и бамбук бросал тени на заросшую травой тропинку.

Я — гость, никем не встреченный в конце моего дня. Долгая ночь передо мною, а я устал.

*

Снова твой зов?

Уже вечер. Усталость обнимает меня, как руки молящей любви.

Ты зовешь меня?

Я отдам тебе мой день, безжалостная, но ты хочешь отнять и мою ночь?

Есть же конец всему, и у всякого есть право на ночной отдых.

Нужно ли, чтоб твой голос нарушил его и пронзил мое сердце?

Разве вечер не звучит музыкой сна у твоей двери?

Разве тихокрылые звезды не всходят над твоей беспощадной башней?

Разве цветы в твоём саду не падают на землю, умирая тихо?

Ты должна звать меня, ты, покоя не знающая?

Тогда пусть ждут напрасно и плачут печальные глаза любви.

Пусть светильник горит в пустом доме.

Пусть везет паром усталых работников.

Я гоню свой сон и спешу на твой голос.

Хотя уже идет тихими шагами и подает знак умолкнуть всем песням вечер;

Хотя спутники твои отошли ко сну и ты устала;

Хотя во мраке зарождается страх и лик неба закрыт,—

Все же, птичка, послушай меня — не складывай крыльев, моя птичка!

То не тьма густолистого леса, то вздувающееся море, подобное мрачному черному змею.

То не пляшущий цвет жасмина — то сверканье ба-
рашков.

О, где же солнечный зеленый берег, где твое гнездышко?

Птичка, послушай меня — не складывай крыльев, моя птичка!

Глухая ночь залегла на твоей дороге, рассвет спит за темными холмами.

Звезды считают часы, затаив дыхание; бледный месяц плывет в бездне ночи.

Птичка, послушай меня — не складывай крыльев, моя птичка!

Нет для тебя надежды, нет страха.

Нет слова, нет крика, нет шепота.

Нет крова, нет ложа для сна.

Есть только два крыла и бездорожье неба.

Птичка, послушай меня — не складывай крыльев, моя птичка!

Брат, не вечен никто, и ничто не пребывает вечно.
Помни это и радуйся.

Наша жизнь не одно старое бремя, и путь наш не один долгий переход.

Поэт поет не одну и ту же вековую песнь.

Цветок вянет и умирает; но тот, кого он радовал, не станет оплакивать его вечно.

Брат, помни это и радуйся.

Дóлжно ввести в музыку полную паузу, чтобы дать ей совершенство.

Жизнь клонится к закату, чтобы утонуть в золотых тенях.

Любовь должна быть отторгнута от игры, дабы испытать чашу скорби и быть возрожденною в раю слез.

Брат, помни это и радуйся.

Мы спешим рвать цветы, чтобы их не развеял ветер.

Наша кровь кипит, наши глаза горят, когда мы ловим поцелуи, что исчезнут, если мы станем медлить.

Жизнь наша страстна, желания наши жгучи, ибо время бьет в колокол прощания.

Брат, помни это и радуйся.

У нас нет времени, чтобы что-нибудь взять, разбить и бросить на землю.

Часы бегут стремительно, пряча свои сны под одеждой.

Жизнь коротка; лишь немного дней отдано в ней любви.

Будь это труд или рабство, она была бы бесконечной.

Брат, помни это и радуйся.

Красота сладостна нам, потому что она танцует под тот же улетающий напев, что и жизнь.

Знание драгоценно нам потому, что у нас нет времени его завершить.

Все завершено и закончено в вечном небе.

Цветок земного обмана сохраняет вечную свежесть — смерть.

Брат, помни это и радуйся.

*

Я гонюсь за золотым оленем.

Смейтесь, друзья, но я преследую виденье, что от меня убегает.

Я пересекаю холмы и доли, я блуждаю в неведомых странах, ибо я гоняюсь за золотым оленем.

Вы идете на рынок и возвращаетесь, нагруженные добром, меня же коснулись чары бездомных ветров, не знаю — где и когда.

У меня нет заботы в сердце; все, что было у меня, осталось далеко.

Я пересекаю холмы и доли, я блуждаю в неведомых странах — я гонюсь за золотым оленем.

Я помню день в моем детстве, когда я пускал в ручье бумажный кораблик.

То был дождливый день в июле, я был один, я был счастлив своей игрой.

Я пускал в ручье бумажный кораблик.

Вдруг сгустились темные тучи, подул ветер и хлынул ливень.

Побежали потоки мутной воды, и переполненный ручей потопил мой кораблик.

Я с горечью думал, что буря разразилась затем, чтоб разбить мое счастье, что вся ее ярость была против меня.

Нынче ненастный июльский день долог, и я думаю о всех тех играх моей жизни, что проиграны мною.

Проклиная судьбу, проделавшую надо мной столько злых шуток, я вдруг вспомнил свой бумажный кораблик, потонувший в ручье.

День еще не угас, торг еще не окончен, — торг на речном берегу.

Я боялся, что упустил время и потерял свой последний грош.

Но нет, брат мой, еще кое-что осталось мне. Судьба не все отняла у меня.

Купля и продажа кончены.

Все счета оплачены, и пора мне идти домой.

Но, привратник, ты требуешь денег с меня?

Не бойся, мне кое-что осталось. Судьба не все отняла у меня.

Затишье в воздухе грозит бурей; низкие тучи на западе не предвещают добра.

Спокойные воды ждут ветра.

Я спешу переплыть реку, пока еще не застигла меня ночь.

О паромщик, ты требуешь плату?

Да, брат мой, мне кое-что осталось. Судьба не все отняла у меня.

Ночь темнеет, дорога пустынна. В листьях горят светляки.

Кто это следует за мной осторожными, тихими шагами?

А, знаю, тебе хочется отнять всю мою прибыль. Ты не ошибаешься.

Ибо мне еще осталось кое-что — судьба не все отняла у меня.

В полночь я подхожу к дому. Руки мои пусты.

Ты не спишь и, безмолвная, с тревогой во взгляде, ждешь меня у двери.

Как пугливая птичка, ты порхнула мне на грудь со страстной любовью.

Да, да, боже мой, много еще осталось мне.

Судьба не все отняла у меня.

*

Богатства твои не несметны, терпеливая, темная Мать-Земля.

В поте лица своего насыщаешь ты своих детей, но скудна твоя пища.

Радости, что даришь ты нам, никогда не совершенны.

Игрушки, которыми ты забавляешь своих детей, не прочны.

Ты не в силах утолить наших алчных надежд, — но разве я оставляю тебя за это?

Улыбка твоя, осененная скорбью, сладостна для моих глаз.

Любовь твоя, не знающая полноты, мила моему сердцу.

Своей грудью питаешь ты в нас жизнь, но не бессмертие, вот почему вечно бодрствуешь ты.

Веками творишь ты и в красках и песнях, и все же рай твой не создан, есть только бледное подобие его.

Прекрасные создания твои затуманены слезами.

Я пролью свои песни в твое немое сердце и любовь свою — в твою любовь.

Я буду поклоняться тебе в муках.

Я узрел твой нежный лик и люблю твой скорбный прах, Мать-Земля!

*

В приемном чертоге вселенной скромной былинке дано место на одном ковре с лучами солнца и звездами ночи.

Так и мои песни — место их в сердце мира, рядом с музыкой лесов и туч.

Но твоим богатствам, о обладатель сокровищ, не уготована доля в величии горящего радостным золотом солнца и кротком сиянии задумчивой луны.

На них не прольется благословение всеобъемлющего неба.

И когда придет смерть, они померкнут, увянут и рассыплются в прах.

*

В полночь возжаждавший быть отшельником возгласил: «Настало время оставить мне дом и искать бога. Ах, кто держал меня в заблуждении так долго?»

Господь прошептал ему: «Я», но человек остался глух.

С ребенком у груди лежала жена его, мирно спавшая на своей постели.

Человек сказал: «Кто те, что затемняли мой разум так долго?»

Голос сказал снова: «Боги»; но он не слышал.

Ребенок заплакал во сне, тесно прижимаясь к матери.

Господь повелел: «Остановись, глупец, не покидай дом свой»; но он не слышал.

Господь вздохнул и возроптал: «Зачем хочешь ты, раб мой, блуждать, чтобы искать меня, оставив меня?»

*

Длился торг перед храмом. С самого утра шел дождь, и день был на исходе.

Веселей всех улыбок была улыбка девочки, что купила себе дудочку из листа пальмы.

Радостно-пронзительный свист ее разносился над шумом и смехом.

Бесконечной толпой шли люди, толкая друг друга. Дорога была покрыта грязью, река разлилась, непрерывный дождь затопил поля водою.

Горше всех горестей было горе мальчика — у него не было денег, чтобы купить себе раскрашенную тросточку.

Его глаза, пристально устремленные на лавку, делали все это сборище таким жалким.

*

То было в мае. Душный полдень казался бесконечным. Сухая земля изнемогала от жажды.

Вдруг я услышал голос с реки, кричавший: «Ну же, милый!»

Я закрыл книгу и выглянул в окно.

Я увидел у реки огромного, измазанного грязью буйвола, с кроткими, терпеливыми глазами, и мальчика, стоявшего по колени в воде и понукавшего буйвола войти в воду.

Я радостно улыбнулся и почувствовал, как нежность коснулась моего сердца.

*

Я часто думаю, где граница понимания между человеком и животными, не ведающими человеческой речи.

В первобытном раю, на утре творения, бежала тропинка, по которой сердца их приходили друг к другу.

Следы их еще не стерлись, хотя родство их давно забыто.

И порой в каких-то созвучьях без слов вдруг пробуждается темное прошлое, и животное смотрит в глаза человеку с нежным доверием, и человек в глаза животному с дружеским чувством.

Точно встретились два друга в личинах и смутно узнают под ними друг друга.

*

За один свой взгляд ты могла бы овладеть всеми сокровищами песен, исторгнутых лютней портов, прекрасная!

Но ты глуха к их песнопениям, и вот я пою тебя!

Ты могла бы склонить к своим ногам самые гордые головы в мире.

Но тебе любезны лишь те, кому неведома слава, и вот я поклоняюсь тебе.

Совершенство рук твоих своим прикосновением могло бы прибавить блеска царской славе.

Но тебе оно служит затем, чтобы сметать пыль и убирать скромное жилище, и вот мое сердце полно благоговения к тебе.

*

Зачем ты шепчешь так тихо, Смерть, моя Смерть?

Когда никнут вечером цветы и стадо возвращается в стойла, ты тайком приходишь ко мне и говоришь слова, которых я не могу понять.

Это ты хочешь меня зачаровать и пленить питьем сонных шепотов и холодных лобзаний, о Смерть, моя Смерть?

Разве не будет у нас пышного венчального обряда?

Разве ты не украсишь венком свои темные кудри?

Разве некому нести знамя впереди тебя и разве не озарится ночь красным пламенем твоих факелов, о Смерть, моя Смерть?

Приди с звонкими рогами из раковин, приди в бессонную ночь.

Одень меня в багряницу, возьми мою руку и уведи за собою.

Пусть твоя колесница ждет у моей двери, пусть кони ржут от нетерпенья.

Подними мое покрывало и взгляни мне в лицо властно, о Смерть, моя Смерть!

*

Она обитала на склоне холма, на краю кукурузного поля, вблизи источника, что бежит и смеется под величественной сенью древних деревьев. Женщины приходили туда наполнить свои кувшины, путники отдыхали и беседовали там. Она работала и гредила под лепет журчащего ручья.

Однажды вечером с вершины, закрытой облаками, спустился чужестранец: его волосы путались, как сонные змеи. Мы с удивлением спросили: «Кто ты?» Он не ответил, сел у болтливого ручья и молча смотрел на хижину, где она обитала. Наши сердца дрогнули от страха, и мы разошлись по домам, когда была уже ночь.

Наутро, когда женщины пришли за водой к источнику у деодаров, двери в ее хижине были открыты, но не слышно было ее голоса и не видно улыбающегося личика. Пустой кувшин валялся на полу, светильник в углу выгорел. Никто не знал, куда ушла она до рассвета, — и исчез чужестранец.

В мае солнце грело жарко, и снег таял, и мы сидели у источника и плакали. Мы думали: «Есть ли в той стране, куда она ушла, источник, где она могла бы наполнить свой кувшин в эти дни жажды?» И мы растерянно спрашивали друг друга: «Есть ли земля за этими холмами, среди которых мы живем?»

Была летняя ночь; ветерок тянул с юга; я сидел в ее опустелом жилище, где стоял еще незажженный светильник. Вдруг горы исчезли из моих глаз, словно пала завеса.

«Ах, это идет она! Как живешь, дитя мое? Ты счастлива? Но где же ты приютилась здесь под открытым небом? Увы, здесь нет нашего ручья, негде утолить жажду».

«Здесь то же небо, — сказала она, — только оно не закрыто горами, и тот же ручей, разлившийся в реку, та же земля, раскинувшаяся широкой равниной».

«Здесь все, — вздохнул я, — только нас нет».

Она печально улыбнулась и сказала: «Вы в моем сердце».

Я очнулся от сна и услышал журчанье ручья и ночной шелест деодаров.

*

По желто-зеленым рисовым полям скользят тени осенних облаков, гонимые быстрым охотником-солнцем.

Пчелы перестали высасывать мед; опьяненные светом, они тупо снуют и жужжат.

Утки на речных островах кричат от беспричинной радости.

Не пойдем никто домой, братья, в это утро, не пойдем никто на работу.

Возьмем приступом синее небо, похитим пространство в беге.

Смех плавает в воздухе, как пена по волнам.

Братья, отдадим наше утро праздным песням.

*

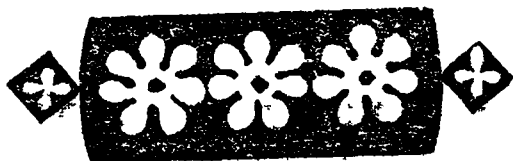
Кто ты, читатель, что будешь читать мои песни через сто лет?

Я не могу послать тебе ни единого цветочка из этого богатства весны, ни единой частицы золота вон тех облаков.

Открой свою дверь и взгляни вокруг.

Лови в своем цветущем саду благовонную душу цветов, увядших сто лет тому назад.

В радости своего сердца да ощутишь ты ту живую радость, что пела когда-то в весеннее утро, посылая свой радостный голос через сто лет!



Из книги

«ЗАЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ»

1916



*

Залетные птицы лета слетаются под окно мое, чтобы спеть свою песню и улететь далеко.

А желтые листья осени, у которых нет песен, трепещут и опадают на землю, и со вздохом остаются со мной.

*

О стая маленьких странников мира! Оставьте следы ваших шажков в моих словах.

*

Снимает мир личину необъятного перед возлюбленным своим. Он мал становится, как песня, — как вечности один поцелуй.

*

Слезами своими земля сохраняет в цвету улыбки свои.

*

Великая пустыня сохнет по любви стебелька травинки. А травинка трясет головкой, и смеется, и улетает...

*

Если ты проливаешь слезы о том, что нет солнца, — ты в это время не увидишь звезд!

*

Пески на путях твоих просят у тебя песен и движенья твоего, пляшущая вода.

Понесешь ли ты бремя неподвижности их?..

*

Печальный лик ее неотвязно в снах моих, словно дождь в ночи.

*

Когда-то нам снилось, что мы чужие; мы проснулись и увидели, что дороги друг другу.

*

Покой нисходит в тоску моего сердца, как вечер под притихшие деревья.

*

Незримыми перстами кто-то, как ветерок ленивый, наигрывает у меня на сердце музыку журчащих струй.

*

«Что означает речь твоя, о Море?»
«Это — речь вечного вопроса».

«На каком языке ты отвечаешь, о Небо?»
«На языке вечного молчания».

*

Слушай, сердце мое, шепоты Мира, которыми он говорит о любви к тебе.

*

Подобна мраку ночи тайна творения: она необъятна.
Обманы познания — утренний туман.

*

Не поселяй любви своей над бездной только из-за того, что она глубока.

*

Я сижу сегодня утром у своего окна: мир за ним, как прохожий, — приостанавливается на мгновение, кивает мне и идет дальше.

*

Эти малые мысли — шелест листьев; такой же от них радостный шепот в моей душе.

*

Что ты есть — ты не видишь; что ты видишь — тень твоя.

*

Я не могу избрать Лучшее.
Лучшее избирает меня!..

*

Кто несет свой фонарь за спиною — отбрасывает тень впереди себя.

*

То, что я существую, — для меня постоянное чудо.
Это и есть жизнь.

*

«У нас, у шумящих листьев, есть голоса в ответ бурям: но кто ты, такой молчаливый?»
«Я — только цветок».

*

Отдых принадлежит труду, как веки глазам.

*

Человек от природы дитя; его сила — есть сила роста.

*

Свет, играющий, подобно нагому ребенку, между зеленых листьев, к счастью своему, не знает, что человек умеет лгать.

*

О Красота! Найди себя в любви — а не в лести твоих зеркал.

*

Сердце мое бьется волнами своими о берег мира и пишет на нем слезами слова: «Люблю тебя».

*

«Луна, чего ты ждешь?»
«Возможности приветствовать Солнце, которому должна уступить дорогу».

*

Деревья поднимаются к окну моему, как исполненный тоской и желаньем голос немой Земли.

*

Жизнь получает свое богатство от мира; цену дает ей любовь.

*

Иссохшее русло реки не знает благодарности к своему прошлому.

*

Птица хотела бы быть облаком.
Облако хотело бы быть птицей.

*

Водопад поет: «Я найду свою песнь, когда обрету свободу».

*

Не умею сказать, почему это сердце томится в молчании.

Из-за малых желаний, о которых оно никогда не просит, не знает и не помнит.

*

Женщина! Когда ты двигаешься среди домашних забот твоих — члены твои поют, как горный ручей среди камешков.

*

Солнце уходит в западное море, посылая последний привет Востоку.

*

Не хули своей пищи только потому, что ты не голоден.

*

Деревья, как страстные желанья земли, становятся на цыпочки, чтобы взглянуть на небо.

*

Ты улыбнулась и заговорила со мной, — так, ни о чем; и я понял, что этой минуты и ждал я так долго.

*

Молчит рыба в водах; кричит животное на земле; поет птица в воздухе.

Но человек таит в себе и молчание моря, и шумы земли, и пенье воздуха.

*

Мир задевает струны томящегося сердца и извлекает из них музыку печали.

*

Из оружий своих он сотворил себе богов, и когда побеждает его оружие, — он сам побежден.

*

Тень со спущенным покрывалом в тайной нежности следует за Светом неслышными шагами любви.

*

Звезды не боятся, что их примут за светляков.

*

Ум острый, но не широкий, выскакивает вперед на каждом шагу, но двигаться вперед не может.

*

Человек не выявляет себя в истории: он пробивается сквозь нее.

*

Пока Хрустальная лампада бранила Глиняную за то, что та посмела назвать ее родственницей, — взошла луна. И Хрустальная лампада с льстивой улыбкой обратилась к ней: «Дорогая, дорогая сестра моя!..»

*

Подобно чайкам и волнам морским, мы встречались, мы сходились с тобою.

Но улетают чайки, но отбегают волны — и мы с тобой расстаемся.

*

Мой день свершен. И я подобен лодке, вытащенной на берег и слушающей плясовую музыку вечернего прибоя.

*

Жизнь ниспосылается нам даром; заслуживаем мы ее — отдавая ее.

*

Воробей жалеет павлина, что у него такой тяжелый хвост.

*

Никогда не бойся мгновений — так поет голос вечности.

*

Ураган ищет кратчайшего пути по бездорожью и внезапно обрывает свои поиски в «Нигде».

*

Налей вино в мой собственный кубок, друг: в чужих оно теряет свой пенный венец.

*

Совершенное облекается в красоту из любви к Несовершенному.

*

Благодари Пламя за свет его; но не забывай Светильника, стоящего в тени с постоянством терпения.

*

Крохотная травка, шаги твои мелки; но ты завладеваешь землей под стопами своими.

*

Дитя-цветок раскрывает чашечку свою и восклицает: «О милый мир, не увядай, пожалуйста!..»

*

Зло не может позволить себе роскоши быть побежденным; Добро — может.

*

Где тот источник, который возносит кверху эти цветы в беспрестанном взрыве восторга?..

*

Топор дровосека просил рукояти у дерева. И дерево дало ее.

*

В одиночестве сердца моего я слышу вздох овдовевшего вечера, окутанного в дождь и туманы.

✱

Чистота — богатство, являющееся от изобилия любви.

✱

Туман, подобно любви в сердце, играет посреди холмов и вызывает в них нежданные красоты.

✱

Мы ошибочно читаем книгу мира — и говорим, что она обманывает нас.

✱

Ветер — поэт — летает над морем и лесом, чтобы найти свой собственный голос.

✱

Трава ищет на земле толпы себе подобных; дерево ищет в небе свое одиночество.

✱

Человек строит укрепления против самого себя.

✱

Твой голос, о друг мой, звучит в моем сердце, как тихий шум моря среди чутких сосен.

✱

Что означает это незримое пламя мрака, чьи искры — звезды?..

*

Да будет Жизнь прекрасна, как летние цветы. Да будет Смерть прекрасна, как осенние листья.

*

Тот, кто хочет делать добро, стучится в закрытые ворота; тот, кто любит, находит ворота открытыми.

*

В Смерти многое становится единым; в Жизни ничто не становится многим.

*

Художник — любовник природы, оттого он ее раб и ее повелитель.

*

«О Плод! Как далек ты от меня?»
«Я спрятан в твоём сердце, о Цветок!»

*

«Ты — большая капля росы под листом лотоса, а я — маленькая капелька на его верхней стороне», — сказала Росинка Озеру.

*

Ножны согласны быть тупыми, когда они защищают острое лезвие меча.

*

Большая земля становится гостеприимной при помощи простой травы.

*

Рождение и смерть листьев — быстрые вращения того водоворота, чьи большие круги медленно движутся среди звезд.

*

Власть сказала миру: «Ты мой».
Мир сделал ее пленницей на ее троне.
Любовь сказала миру: «Я твоя».
Мир дал ей свободу в ее чертоге.

*

Туман — желание земли.
Он скрывает солнце, по которому она тоскует.

*

Тише, сердце мое: эти большие деревья — молитвы.

*

Шумы мгновений издеваются над музыкой вечного.

*

Я думаю о других веках, уплывших по реке жизни, любви и смерти и забытых; и чувствую, какая свобода в уходе.

*

Печаль души моей — ее венчальное покрывало: оно ждет ночи, чтоб его сняли.

*

Печать смерти придает ценность монете жизни; дает возможность купить за жизнь то, что истинно драгоценно.

*

Смиренно притаилось облако в уголке неба. Утро увенчало его великолепием.

*

Прах земли попирается оскорблениями и в замену дарит свои цветы.

*

Не замедляй шагов, не рви цветов, чтоб сохранить их; иди вперед — цветы будут цвести на всем пути твоём.

*

Корни — это те же ветви глубоко под землею.
Ветви — это те же корни высоко в воздухе.

*

Музыка далекого лета реет вокруг осени, отыскивая свое прежнее гнездо.

*

Не оскорбляй своего друга, ссужая его достоинствами из собственного кармана.

*

Прикосновение безыменных дней льнет к сердцу моему, как мох к стволам старых деревьев.

*

Эхо стремится передразнить свой первоисточник — с целью доказать, что оно самобытно.

•

От меня ложится тень на дорогу, ибо моя собственная лампада не зажжена.

*

Человек уходит в шум толпы, чтобы утопить в нем свой собственный вопль о молчании.

*

То, что кончается в разрушении, — Смерть; но истинный конец — в бесконечном.

*

Светозарная одежда Солнца — проста, но тучи облечены в пышность.

*

Горы похожи на крики детей, поднимающих руки, чтобы поймать звезды.

*

Одинока дорога со всеми своими толпами: ибо она не любима.

*

Власть, которая хвалится своими злодеяниями, вызывает смех желтых падающих листьев и мимо плывущих туч.

*

Сегодня напевает мне Земля, озаренная Солнцем, как женщина за прялкой, какую-то старинную былинку на позабытом языке.

*

И стебелек травы достоин великого мира, в котором он растет,

*

Сновиденье — жена, которая должна говорить.
Сон — муж, который молчаливо терпит.

*

Ночь целует увядающий день и шепчет ему на ухо:
«Я — Смерть, твоя мать, я пришла, чтобы дать тебе новое рождение».

*

Я чувствую красоту твою, темная ночь, как красоту любимой женщины, когда она погасит светильник.

*

В моем процветающем мире ношу я много погибших миров.

*

Милый друг! Часто на берегу, когда сгущается вечер, внимая волнам, я слышу молчание твоих великих мыслей.

*

Птице кажется, что поднять рыбу на воздух — доброе дело.

*

«В лучах луны ты шлешь мне свои любовные письма», — сказала Ночь Солнцу.

«Я оставляю свои ответы — слезами на траве».

*

Великий человек — вечное дитя. Умирая, он оставляет свое великое детство миру.

*

Не удары молота, но легкая пляска воды с песней обтачивает валуны до совершенства.

*

Пчела впивает мед с цветов и, улета, жужжит им свою благодарность.

Пестрая бабочка уверена, что цветы обязаны благодарностью ей.

*

Быть откровенным легко, когда не собираешься говорить полной правды.

*

Спрашивает Возможное у Невозможного:

«Где ты обитаешь?»

«В мечтах бессильного!..» — гласит ответ.

*

Если ты закроешь свою дверь для всех заблуждений, то и правда останется наружи.

*

Слышу какой-то шорох за печалью моего сердца, но еще не вижу — кто там?

*

Досуг в деяниях своих становится трудом; морская гладь в движении становится волнами.

*

Когда листок полюбит, он становится цветком,
Когда цветок полюбит, он становится плодом.

*

Корни под землею не требуют награды за то, что делают ветви плодоносными.

*

Нынче в дождливых сумерках беспокоен ветер. Смотрю на качающиеся ветви и думаю о величии всех вещей.

*

Полночная буря, как гигантский младенец, не вовремя пробудившись, впотьмах, завела свои игры и крики.

*

Тщетно ты вздымаешь волны, чтобы догнать возлюбленного своего, о море, одинокая невеста бури.

*

«Мне стыдно за мою пустоту», — сказало Слово Труду.

«Я сознаю свою бедность, когда смотрю на тебя», — сказал Труд Слову.

*

Время — богатство; но часы, передразнивая его, делают его простой сменой, а не богатством.

*

Правда находит, что действительность слишком тесна, чтобы служить ей одеждой. В вымысле — она движется свободно.

*

Когда я странствовал то туда, то сюда, ты утомляла меня, Дорога; но нынче, когда ты ведешь меня всюду, я сопряжен с тобою в любви.

*

Дайте мне думать, что есть среди этих звезд одна — ведущая мою жизнь сквозь мрак неизвестности.

*

Женщина! Своими грациозными пальцами ты прикоснулась к моим вещам: и — как музыка — явился порядок.

*

Один печальный голос гнездится в развалинах прошлых лет.

Он поет мне в ночи: «Я любила тебя».

*

Пылающий огонь остерегает меня собственным пламенем.

Спасите меня от умирающих угольев, что прячутся под золою.

*

У меня есть звезды на небе... но я тоскую по моей маленькой лампе, не зажженной у меня в доме.

*

Пыль мертвых слов пристала к тебе,
Омой свою душу молчанием.

*

В жизни есть щели, сквозь которые пробивается печальная музыка смерти.

*

Сегодняшним утром мир открывает свет своего сердца.

О мое сердце! Поспешి ему навстречу со своей любовью.

*

Мысли мои мерцают с мерцанием этих листьев; сердце мое поет с касаниями солнечных бликов; жизнь моя рада уплыть со всем живущим вместе в лазурь пространства, во тьму времени.

*

Я вижу сон, в котором все вещи в беспорядке и дают; я найду их все в стройном порядке в тебе, когда проснусь и буду свободен.

*

«Кто тут есть, чтобы продолжать мое дело?» — спросило заходящее Солнце.

«Я сделаю все, что могу, Повелитель», — ответила Глиняная лампада.

*

Обрывая лепестки цветка, ты не приобретаешь его красоты.

*

Молчание будет оберегать твой голос, подобно гнезду, охраняющему спящих птиц.

✱

Великое идет рядом с Малым без боязни.
Среднее держится в стороне.

✱

Ночь втайне раскрывает цветы и предоставляет дню
получать благодарность.

✱

Власть считает неблагодарностью корчи своих жертв.

✱

Наслаждаясь своим избытком, мы можем расставаться
со своими плодами радостно.

✱

Дождевые капли поцеловали землю и шепнули ей:
«Мы дети твои, Мать, стосковавшиеся по родному дому,
мы вернулись к тебе с неба».

✱

Паутина притворяется, что ловит росинки, — а сама
ловит мух.

✱

Любовь! Когда ты появляешься со светильником стра-
дания в руках — я вижу лик твой и узнаю в тебе благо-
словение.

✱

«Ученые говорят, что настанет день, когда вы погас-
нете», — сказал Светляк Звездам. Звезды ничего не отве-
тили.

*

В сумраке вечера птица некоей ранней зари слетает
в гнездо моего молчания.

*

Словно стаи далеких уток в небе, проносятся в уме
моем мысли...

Я слышу шум их крыльев.

*

Каналу приятно думать, что реки существуют лишь
для того, чтоб наполнять его водою.

*

Мир поцеловал мою душу страданием, требуя, чтобы
я ответил на это песнями.

*

Что так мучает меня? Моя ли душа, стремящаяся
вырваться на волю?

Или душа мира, что стучится в дверь моего сердца,
требуя: «Впусти меня»?

*

Мысль растет, питаясь собственными словами.

*

Я погрузил сосуд моего сердца в молчание этого часа,
и он наполнился песнями.

*

У тебя или есть дело, или нет его.

Когда тебе приходится сказать: «Давайте займемся чем-нибудь», — тут-то и начинается беда.

*

Подсолнечник покраснел при мысли назвать какой-то неизвестный цветок своим родственником.

Солнце взошло — и улыбнулось цветку, и спросило: «Хорошо ли тебе, мой милый?..»

*

«Кто гонит меня вперед, подобно Року?»

«Мое Я, сидящее верхом на моей спине».

*

Тучи наполняют водоемы рек, а сами прячутся в далеких горах.

*

Я проливаю воду из моего кувшина, пока иду по дороге.

Как мало остается для моего дома!

*

Вода в сосуде прозрачна; вода в море — темна.

У маленьких истин есть ясные слова; у великой Истины — великое безмолвие.

*

Твоя улыбка была цветами твоих полей; твой голос был шелестом твоих горных сосен; но сердце твое было той женщиной, которую все мы знаем.

*

Для любимых мною берегу я малые вещи: великие —
принадлежат всем.

*

Женщина! Как море окружило землю, так ты охва-
тила сердце мира глубиною своих слез.

*

Солнечный свет приветствует меня улыбкой.
Дождь, его печальный брат, говорит с моим сердцем.

*

Цветок моего дня, забытый, уронил свои лепестки.
Вечером он созреет в золотой плод воспоминанья.

*

Я подобен дороге ночью — прислушивающейся в мол-
чанье к шагам своих воспоминаний.

*

Вечернее небо для меня: окно, и зажженная лампада,
и кто-то ждет меня за ним.

*

Кто слишком думает о том, чтобы делать добро, тому
нет времени быть добрым.

*

Я — осенняя туча, отдавшая дождь и видящая избы-
ток свой в ниве созревшего риса.

*

Они ненавидели и убивали, и люди восхваляли их.

*

Пальцы на ногах были такими же, как и на руках; но они отреклись от своего прошлого.

*

Темнота ведет к свету, но слепота ведет к смерти.

*

Любимая собачка подозревает вселенную в намерении занять ее место.

*

Сиди смирно, мое сердце; не поднимай своей пыли. Пусть мир сам найдет дорогу к тебе.

*

**Лук шепчет стреле, отпуская ее:
«В твоей свободе — моя».**

*

Женщина! В смехе твоём — музыка источника жизни.

*

Ум, весь состоящий из одной логики, подобен ножу из одного лезвия: он ранит в кровь руку, берущую его.

*

Этот мир — мир диких бурь, укрощаемых музыкой красоты.

*

«Мое сердце — золотой ларец для твоих поцелуев», —
сказало Солнцу закатное Облако.

*

Прикоснувшись, мы можем убить, отдаваясь, мы можем владеть.

*

Звон цикады и шум дождя сквозь темноту доносятся ко мне, как шелест снов моей прошедшей юности.

*

«Я потерял мою росинку!» — жалуется цветок утреннему небу, потерявшему все свои звезды.

*

Горящее полено вспыхивает пламенем и восклицает:
«Моя смерть — мой цветок!»

*

Оса думает, что улей соседних пчел слишком мал.
Ее товарки просят ее построить еще меньше.

*

«Я не могу удержать твои волны», — говорит берег реке.

«Оставь, по крайней мере, свои следы на моем сердце».

*

День в шуме этой маленькой земли топит молчанье
всех других миров.

*

Песнь чувствует бесконечное — в воздухе; живо-
пись — на земле; поэзия — и в воздухе и на земле, ибо
у ее слов есть значение, которое ступает по земле, и му-
зыка, которая парит в небесах.

*

Когда Солнце уходит к Западу — Восток его утра
стоит перед ним в молчании.

*

Не дай мне повернуться не той стороной к моему
миру и восстановить его против себя.

*

Похвала пристыжает меня, ибо я втайне прошу ее.

*

Когда мне нечего делать, дай моему бездействию
быть безмятежным в глубинах покоя, подобно вечеру на
берегу морском, когда умолкнут воды.

*

Девушка! Простота твоя подобна лазури озера, она
открывает глубину правдивости твоей.

*

Лучшее не приходит в одиночестве: оно является в
обществе Всего.

*

Мой вечер снизошел среди чужих деревьев и заговорил со мной на языке, которого не знали мои утренние звезды.

*

Ночной мрак, словно мешок, который прорывается от золота Зари.

*

Желанья наши рядят в цвета радуги простой туман и пар жизни.

*

Мои печальные мысли дразнят меня, вопрошая, как зовут их...

*

Служенье плода — драгоценно, и сладко служенье цветка; но да будет мое служенье — служеньем листьев в тени их смиренной преданности.

*

Под ленивым ветром сердце мое распустило свои паруса и стремится к таинственному острову «Где-то»...

*

Люди жестоки, но человек добр.

*

Сделай меня Кубком твоим, и пусть полнота его будет тебе и всем твоим.

✽

Буря похожа на вопль некоего страждущего бога, которому земля отказывает в любви.

✽

Мир не утекает, ибо смерть не трещина.

✽

Жизнь мира обогащается всей утраченной людьми любовью.

✽

Друг мой, солнечный восход озарил твое великое сердце, подобно снежной вершине одинокой горы на заре.

✽

Фонтан смерти заставляет играть тихие воды жизни.

✽

Движение жизни находит отдых в собственной музыке.

✽

Ударами от земли можно добиться только пыли, а не жатвы.

✽

Имена наши подобны свету, что мерцает ночью на волнах морских, и умирают — не оставив следа.

✽

Позволь тому видеть шипы, у кого есть глаза, чтобы видеть розу.

*

Отяготи птице крылья золотом — и она никогда уж не будет парить в небесах.

*

Тот же лотос нашей родины цветет и здесь, в чужих водах, под другим именем — с той же сладостью.

*

В перспективе сердца расстояние увеличивается.

*

Луна дарит свое сияние всему небу; темные пятна — оставляет себе.

*

Не говори: «Вот и утро» — и не отпускай его, назвав вчерашним именем. Смотри на него в первый раз, как на новорожденное дитя, у которого еще нет имени.

*

Дым хвалится Небу, а Зола — Земле, что они брат и сестра Огню!

*

Росинка шепнула Цветку жасмина:

«Удержи меня в сердце своем навсегда».

Цветок жасмина вздохнул: «Увы...» — и осыпал все лепестки на землю.

*

Пугливые мысли, не бойтесь меня: я — поэт.

*

В смутном молчании душа моя слышит треск сверчков — это серые сумерки звука.

*

Ракеты! Ваши оскорбления звездам падают за вами обратно на землю.

*

Ты привел меня через многолюдные странствия дня в одиночество вечера.

В чем значение его? Я хочу понять это сквозь тишину ночи.

*

Жизнь — плавание по морю, где мы встречаемся на том же небольшом корабле. В смерти мы достигаем берега — и расходимся в разные миры.

*

Река истины протекает через каналы заблуждений.

*

В моем сердце сегодня тоска по родине: по одному сладкому часу, там, за морями времен.

*

Пение птиц — это эхо утреннего света, которое посылает ему Земля.

*

«Неужели ты слишком горд, чтоб поцеловать меня?» — спрашивает Солнечный луч у Лютика,

•

«Как мне воспевать тебя и служить тебе, о Солнце?» — спросил малый Цветок.

«Простым молчаньем твоей чистоты», — ответило Солнце.

•

Человек хуже животного, когда он становится животным.

•

Темные тучи превращаются в небесные цветы, когда их поцелует свет.

•

Пусть лезвие меча не насмехается над своей рукояткой за то, что она тупа.

•

Молчанье ночи, как тайная лампада, мерцает блеском Млечного Пути.

•

Кругом солнечного острова Жизни денно и ночью, как шум моря, поднимается безграничная песня Смерти.

•

Не похожи ли горы на цветы — лепестками холмов своих, вливающих солнечный свет?

•

Действительность, смысл которой понят неверно, и неуместный пафос — вот что есть нереальное.

*

Находи красоту свою, мое сердце, в движении мира — подобно ладье, заимствующей грацию от ветра и воды.

*

Глаза гордятся не зрением своим, а зрительным стеклом.

*

Я живу в своем маленьком мире и боюсь его сделать хоть немного меньше; но вознеси меня в свой мир и дай мне свободу — радостно утратить все мое.

*

Неправда, вырастая в могущество, все же никогда не вырастет в правду.

*

Мое сердце набегающими волнами своих песен жаждет ласкать этот Зеленый Мир солнечного дня.

*

Придорожная травка, люби Звезду; и мечты твои станут цветами.

*

Пусть музыка твоя, как меч, пронзит до сердца шум жизни.

*

Дрожащие листья этого дерева прикасаются к моему сердцу, как пальцы ребенка.

*

Уныние души моей — ее брачное покрывало: оно ждет
ночи, чтобы его сняли.

*

Маленький цветок лежит в пыли. Он искал ту до-
рогу, по которой улетела бабочка.

*

Я в мире дорог.
Ночь наступает... Открой мне ворота, мир дома моего.

*

Я пел песни твоего дня.
К вечеру дай мне пронести твой светильник по бур-
ному пути.

*

Я не зову тебя в мой дом.
Приди в мое бесконечное одиночество, Любовь моя.

*

Смерть принадлежит жизни, как и рождение.
Ходьба состоит в поднятии и опускании ног.

*

Я научился понимать простое значение шепота твоего
в цветах и в солнечном свете; научи меня познавать
слова твои в страдании и в смерти.

*

Ночной цветок опоздал закрыть свою чашечку: когда
утро поцеловало его — он вздрогнул, вздохнул и уронил
лепестки.

*

Я пришел на твой берег, как чужестранец; я жил в твоём доме, как гость; я покидаю тебя, как друг, о Земля моя.

*

Когда я уйду, пусть возвращаются песни мои к тебе, как отсвет от заката, рдеющий на окраинах звездного молчания.

*

Зажги в моем сердце вечернюю звезду покоя и дай ночи шептать мне о любви.

*

Я — ребенок в темноте. Под покровом ночи я простираю к тебе руки, о Мать!..

*

День труда окончен. Укрой лицо мое на груди твоей, Мать!..

Дай мне заснуть и видеть сны.

*

Лампада встречи долго горит.

Она потухает мгновенно в минуту разлуки.

*

Лишь одно сохрани для меня в своем молчанье, о Мир, когда я умру: «Я любил».

*

Мы живем в этом мире, если любим его.

*

Дай мертвым бессмертие Славы, живущим — бессмертие Любви.

*

Я увидал тебя, как полусонное дитя видит мать в рас-светном сумраке: оно улыбнется и опять заснет.

*

Я вновь и вновь умру, дабы узнать, что жизнь не-истощима.

*

Проходя с толпой по дороге, я увидел, как ты улыб-нулась с балкона; и запел я и позабыл весь шум.

*

Любовь — это жизнь, переполненная, как кубок с вином.

*

Поведи меня к глубинам твоего молчания, чтобы сердцу моему зачерпнуть в нем песен.

*

Оставь тех, кто хочет жить в их собственном шумном мире потешных огней.

*

Страданье любви пело в жизни моей, как бездонное море; радость любви пела, как птицы в цветущем саду.

*

Загаси лампаду, когда хочешь: я познаю мрак твой и люблю его.

*

Когда я предстану пред тобою в конце дня моего — ты увидишь рубцы мои и узнаешь, что у меня были и раны и исцеления.

*

Из далеких дней приплывают в жизнь мою облака. Уже не затем, чтобы изливать дождь или низвергать бурю, но чтобы украшать мое закатное небо.

*

Истина сама против себя поднимает бурю, которая широко разбрасывает ее семена.

*

Буря минувшей ночи увенчала нынешнее утро золотым миром.

*

Кажется, будто Истина появляется с ее последним словом, а последнее слово порождает новое.

*

Благословен тот, чья слава не блесит ярче истины его.

*

У молчаливой ночи — красота матери.
У шумного дня — красота ребенка.

*

Мир полюбил человека, когда он улыбнулся.
Мир испугался его, когда он засмеялся.

*

Дай мне ощущать этот мир, как твою воплотившуюся любовь, и тогда моя любовь будет помогать ему.

*

Твой солнечный свет улыбается зимним дням моего сердца, ни на миг не сомневаясь в возврате его весенних цветов.

*

Ты прошел пустынные страны бесплодных лет, чтобы достичь свершения.

*

Ты найдешь, о вечный странник, следы шагов своих в моих песнях.

*

Безрадостен день, светя из-под хмурых туч, — словно наказанное дитя со следами слез на бледных щеках; и вопли ветра подобны стонам раненого мира.

Но я знаю, что путь мой ведет к встрече с моим Другом.

*

Нынче ночью — шелест пальмовых листьев, тревога на море, о Полная Луна, — словно трепетно бьется сердце мира. С каких неведомых небес ты принесла в молчанье таинственную боль любви?

*

Я мечтаю о звезде, о светозарном острове, где я буду вновь рожден, где в глубине живительных досугов жизнь моя будет растить свои труды, как рисовая нива под осенним солнцем.

*

Запах влажной земли под дождем встает, как великий хорал от безгласного множества Незаметных,

*

Мы никак не можем принять за правду, что любовь может потерять что бы то ни было.

*

Когда-нибудь мы поймем, что смерть бессильна лишить нашу душу чего-либо из приобретенного, ибо приобретенное ею и она сама — одно и то же.

*

Когда струны жизни моей будут настроены, Хозяин, тогда от каждого твоего прикосновения зазвучит музыка любви.

*

Человеческая история терпеливо дожидается, когда наступит торжество для оскорбленного человека.

*

В это мгновение я чувствую твой взор на сердце моем — подобный солнечному сиянию утра над одинокой нивой, жатва с которой снята.

*

Я тоскую по Острову Песни
Среди бурного Моря Криков.

*

Прелюдия Ночи начинается в музыке Заката, в его торжественном Гимне к неизвестному мраку.

*

Я восходил на вершину и не нашел приюта в холодных, бесплодных вершинах славы. Приведи меня, о мой Водитель, прежде чем свет померкнет, в долину покоя, где жатва жизни вызревает в золотую мудрость.

*

Все кажется призрачным в этих смутных сумерках: башни, основания которых затеряны в темноте; верхушки деревьев, как чернильные пятна. Я дождусь утра и проснусь — чтобы увидеть твой город при свете.

*

Я страдал и отчаивался — и познал смерть, и я рад, что я в этом великом мире.

*

Были тропы в моей жизни пустынные и молчаливые; были и открытые поляны, где мои трудовые дни находили и свет и воздух.

*

Спаси меня от моего недовершенного прошлого; оно цепляется за меня и делает смерть трудной.

*

Пусть моим последним словом будет, — что верю в твою любовь.

КОММЕНТАРИИ

ВОСПОМИНАНИЯ

«Воспоминания» первоначально публиковались в журнале «Пробаши» (1911—1912). В 1912 году вышли отдельной книжкой с иллюстрациями Гогонендронатха Тагора.

«Воспоминания» охватывают период жизни Тагора, начиная с его детства и кончая появлением сборника «Диезы и бемоли» (1886).

Книга неоднократно переводилась на русский язык: «Воспоминания», Госиздат, М. — Л. 1924; «Моя жизнь», Петроград, Л. — М. 1924; «Воспоминания», Мысль, Л. 1927; «Воспоминания», Сочинения, т. 8, М. 1957.

Стр. 8. *Лакшмана* — герой древнеиндийского эпоса «Рамаяны», сводный брат и близкий друг Рамы. Лакшмана охранял его жену Ситу в лесу.

Стр. 9. *Планшетка* — специальное приспособление, которое применялось при спиритических сеансах, модных в ту эпоху.

Стр. 10. *«Дождь весело барабанит, река выходит из берегов»* — строка из народной песни.

Восточная семинария — школа, организованная Гоуром Мохоном в 1829 году.

Чанакья (Каутилья) (4 в. до н. э.) — советник царя Чандрагупты, автор знаменитого древнего трактата «Артхашастры», посвященного вопросам государственного устройства.

Стр. 13. *...какие несчастья постигли Ситу после того, как она переступила черту, проведенную вокруг нее Лакшманой...* — После того, как Сита (см. прим. к стр. 8) переступила магический круг, который обвел вокруг нее Лакшмана, она была похищена демоном Раваной.

Стр. 14. *Об этом баньяновом дереве я писал позже...* — Стихотворение «Старый баньян» вошло в сборник «Дети» (1903).

Мне вспоминаются стихи, написанные мною, когда я стал старше... — Приводится отрывок из стихотворения «Две птицы», вошедшего в сборник «Золотая ладья» (см. 2 т. наст. собр. соч., стр. 159). Перевод С. Северцева.

Стр. 15. *Шингир Баган* — квартал, где живет беднота, — так называемая «басти».

«Соколиный домик». — На плоских крышах индийских домов, чтобы закрыть отверстие, куда выходит лестница, делается надстройка, на которой любят сидеть птицы, — «соколиный домик».

Стр. 16. *...обитательницы внутренних комнат...* — В Индии женщины занимают комнаты, расположенные в глубине дома.

Стр. 20. *В истории Индии царствование династии, которая происходила от рабов, не было счастливым...* — Имеется в виду династия Гулямов (дворцовых рабов), которая началась с султана Кутб-уд-дина, пришедшего к власти в 1206 году.

Стр. 21. *...рассказывали, что он Бораногор называл Вараханогором...* — «Бора» — по-бенгальски «боров, кабан». То же слово по-санскритски произносится, как «Вараха». «Ногор» — город.

Стр. 22. *...когда мы дошли до истории Куши и Лавы...* — Куша и Лава — близнецы, сыновья Рамы и Ситы, которые родились после того, как Сита подверглась изгнанию.

...Дашурай (Дашоротхи Рай) (1806—1857) — бенгальский поэт, который писал произведения на сюжет «Рамаяны».

...он в иерархии слуг был много ниже других, но, как это было с дедушкой Бхишмой, его превосходство над младшими оставалось бесспорным... — Бхишма — сын царя Шантану и Ганги («Махабхарата»). Когда Ганга покинула своего мужа, Шантану женился во второй раз, на рыбачке Сатьявати, которая еще до свадьбы потребовала, чтобы наследником престола назначили ее будущего ребенка. Верный долгу сыновнего повиновения, Бхишма дал обет безбрачия. Шантану умер. Оба его сына от Сатьявати также умерли. Царем стал Вьяса, внебрачный сын Сатьявати. У него родилось двое сыновей — Панду и Дхритараштра. Всех детей и внуков Сатьявати воспитывал Бхишма.

Стр. 23. *Нормальная школа*. — Так назывались школы, где обучение велось на бенгальском языке.

Стр. 28. *«Чарупатх», «Бостубичар» и «Пранибриттонтонто»* — литературные хрестоматии. Первые две составлены Оккхой-кумаром Дотто, последняя — Шаткори Дотто.

Стр. 30. *«В ожидании любимого» мы сидим...* — Цитируются слова из *«Гитаговинды»* — поэмы, написанной Джаядевой (XV в.).

Где-нибудь у Бхавабхути, может быть, и найдется подобный ему... — Намек на стихи санскритского драматурга Бхавабхути (VIII в.).

Стр. 34. *Вайтарани* — мифическая река, которую надо пересечь, прежде чем попасть в ад. Здесь — река забвения.

Стр. 35. *...он был судьей-жезлоносцем* — то есть был вооружен палкой, для того чтобы избивать учеников.

Стр. 39. *...захотелось почитать биографию моего деда, написанную Кишоримохоном Миттро на английском языке...* — Биография эта была опубликована в 1870 году. Дед Тагора — Дарконатх Тагор, друг и сподвижник Раммохон Рая — известный бенгальский общественно-политический и религиозный деятель.

Стр. 42. *Мунши* — писец, также учитель персидского и арабского языков.

Стр. 43. *Кафи* — традиционная индийская мелодия.

Стр. 46. *Ранджит Сингх (1780—1839)* — прославленный военачальник, основатель большого государства в Пенджабе.

Бхима — второй из пяти Пандавов, героев «Махабхараты». Обладал огромным ростом и невероятной силой и отличался смелостью и мужеством.

Арджуна — третий из пяти Пандавов, честный, справедливый и неустрашимый воин.

Стр. 47. *Кабулийцы* — выходцы из Афганистана. Их главное занятие — ростовщичество.

Стр. 48. *Чога* — длинная, свободно спадающая верхняя одежда.

«Брахма Дхарма» — молитвенник, составленный отцом Тагора.

Стр. 49. *...мальчики, вроде десяти- или двенадцатилетнего Сарадваты или Сарнгарава...* — Сарадвата и Сарнгарава — юные отшельники из пьесы «Шакунтала» Калидасы.

Гаятри — священный ведический стих, который каждый брахман обязан повторять утром и вечером. Начинается с обращения к «Земле, тверди и небу».

«Лавка древностей» — роман Ч. Диккенса (1841).

Стр. 50. *Форт Уильям* — крепость, где в те времена помещались типография и колледж; ныне частично занят под музей.

Мандакини — часть Ганги, якобы протекающая на небесах.

Стр. 55. *Ливингстон Давид* (1813—1873) — английский путешественник и миссионер.

Стр. 57. *Притхвирадж* (ум. в 1192) — последний индийский правитель Дели. В 1192 году его войска были разгромлены армией тюркского феодала Мухаммада Гури, а сам он убит.

Стр. 58. *Золотой храм в Амритсаре* — знаменитое святилище сикхов с золотой кровлей и золотой дверью.

Тамбура — восточный струнный инструмент.

Бехаг — традиционная индийская мелодия.

Стр. 59. *«Упокромоника»* — введение в санскритскую грамматику, написанное Ишшорчондро Биддашагором.

Проктор Ричард Антони (1837—1888) — английский астроном, автор многих популярных работ по астрономии.

Стр. 60. *Джампан* — паланкин.

Стр. 63. *Ади Брахмо Самадж*. — После смерти Раммохон Рая общество «Брахмо Самадж» распалось на «Садхаран Брахмо Самадж» и «Ади Брахмо Самадж». Первым руководил отец Тагора — Дебендронатх Тагор, вторым Кешобчондро Шен.

Стр. 65. ...та, которая была тогда самой молодой невесткой в доме... — Речь идет о Кадамбари Деви, которая оказала большое влияние на поэта и память о которой он благоговейно хранил до самой смерти. Ей посвящены многие стихотворения Тагора.

Стр. 68. *Махарши Вальмики*. — Махарши — великий мудрец; Вальмики — легендарный автор «Рамаяны».

Мадхусудан (букв. «Убийца Мадху») — имя бога Кришны, убившего демона Мадху.

Раби — сокращение от Рабиндранат. «Раби» — также солнце.

Стр. 70. *Нирод* (санскр. Нирада) — «Влагу дарующее», то есть облако.

Стр. 71. *Карма* — здесь: воздаяние за прошлые дела.

Раджкришно Мукхопаддхай (1845—1886) — бенгальский поэт, критик. Сотрудничал в журнале «Бонгодоршон», который издавал Бонкимчондро.

Стр. 72. *Динобондху Миттро* (1829—1874) — бенгальский драматург. В своей пьесе «Дом для зятьев» (1872) в комическом виде вывел некоторых своих друзей и тогдашних знаменитостей.

Раджендролал Миттро (1824—1891) — ученый-историк, критик, редактор журнала «Бибидхартхо шонгрохо».

Нарвал — морское животное, принадлежащее к подотряду зубастых китов.

Кади — духовный судья у мусульман.

Стр. 73. *Бихарилал Чоккроборти* (1835—1894) — бенгальский поэт, друг семьи Тагоров. Издавал несколько журналов, в том числе и «Ободхбондху» (1866—1869).

«*Поль и Виржиния*» — роман французского писателя Бернардена де Сен-Пьера (1737—1814), написанный в 1787 году.

«*Бонгодоршон*» — ежемесячный художественный и научно-публицистический журнал, издававшийся Бонкимчондро Чоттопаддхаем.

«*Чондрошекхор*» (1877), «*Ядовитое дерево*» (1873) — романы Бонкимчондро (см. Бонкимчондро Чоттопаддхай, «Ядовитое дерево», перевод с бенгальского, Гослитиздат, М. 1962).

Стр. 74. *Рамнарайон Торкоротно* (1822—1886) — известный бенгальский драматург.

«*Мужеством добытая Урваси*» — пьеса Калидасы (см. «Избранное», Гослитиздат, М. 1956).

Стр. 75. *Хинду Мела* — индийская ярмарка, где собирались патриоты.

Стр. 76. «*Чхондомала*» (букв. «Сборник ритмов») — поэтическая хрестоматия.

Стр. 77. ...*Клайв, установив британское владычество в Индии, вернулся домой и перерезал себе горло...* — Роберт Клайв (1725—1774) — завоеватель Индии. По возвращении в Англию был обвинен в многочисленных злоупотреблениях и покончил с собой.

Самый старший из моих братьев в то время занят был сочинением своего «Путешествия во сне»... — «Путешествие во сне» было опубликовано Диджендронатхом Тагором в 1875 году. В 1914 году вышел переработанный вариант этой поэмы.

Стр. 79. *Оккхой Чондро Чоудхури* (1850—1898) — автор поэмы «Юная отшельница» (1874), частично основанной на «Отшельнице» ирландского поэта Парнелла.

... *Вишнуитская лирика* — лирика, воспевающая любовь бога Кришны и пастушки Радхи.

Кобиконкон. — Мукундорам Чоккроборти (XVI в.) написал поэму «Чандимонголкаббо» («Восхваление богини Чанди»).

Рампрошад Шен (1720—1775) — крупнейший поэт-песенник XVIII века.

Бхаротчондро Рой (1712—1760) — бенгальский поэт, автор цикла «Песни о богине Кали».

Хорутхакур (XIX в.) — бенгальский поэт и певец.

Рамбошу (1787—1829) — бенгальский поэт, сочинитель многих песен.

Нидху-бабу — Рамнидхи Гупта (1742—1839), сочинитель песен.

Шридхор (XVIII в.) — сказитель и бродячий певец.

Стр. 82. *Голдсмит Оливер* (1728—1774) — английский писатель. Его роман «Векфильдский священник» (1766) неоднократно переводился на русский язык.

Стр. 85. *Бхудеб Мукхопаддхай* (1825—1894) — известный бенгальский писатель и просветитель.

Стр. 86. *Чаттертон Томас* (1752—1770) — английский поэт. Свои произведения выдавал за рукопись средневекового монаха Роули. Покончил с собой.

Стр. 87. *Стихи Бхану Шингхо.* — Этот сборник стихов Тагора появился в 1884 году.

Стр. 88. *Дарбар* — здесь: официальный прием.

Керзон Джордж Натаниел (1859—1925) — английский политический деятель, вице-король Индии (1899—1905).

Литтон Эдвард Роберт (1831—1891) — английский политический деятель. Губернатор Мадраса. С 1876 по 1880 год вице-король Индии.

Нобин Шен (Нобинчондро Шен) (1846—1909) — бенгальский поэт. Ему принадлежат несколько сборников стихов и эпическая трилогия «Битва при Плеси».

Стр. 91. *Раджнарайон Бошу* (1826—1899) — литературовед и критик, друг семьи Тагоров.

Стр. 92. *Ричардсон* — преподаватель Хинду колледжа, который вместе с другим преподавателем Генри Дерозио оказал большое влияние на молодое поколение бенгальцев.

Стр. 93. *Связала нить одна сердца людей в отчизне...* — стихи старшего брата Тагора — Диджендронатха.

«Харибол» («Слава Вишну») — возглас, издаваемый во время траурной процессии.

Стр. 96. *Шахибаг* — букв. «Шахский сад».

Стр. 97. *«Амару-Шатака» («Сто строф Амару»)* — поэтические миниатюры, написанные санскритским поэтом Амару (VIII в.).

Стр. 99. *Риджентс-парк* — парк в Лондоне. На его территории расположены Зоологический и Ботанический сады.

Стр. 104. *Танбридж Уэллс* — курорт в графстве Кент, славящийся своими минеральными водами.

Стр. 106. *Спенсер Герберт* (1820—1903) — английский философ-позитивист. Его двухтомный труд «Основания этики» был опубликован в 1879—1893 годах.

Стр. 113. *Поуп Александр* (1688—1744) — английский поэт. Свои стихи писал предпочтительно пятистопным ямбом.

Стр. 114. *Конт Огюст* (1798—1857) — французский философ и социолог, основатель позитивизма.

Стр. 115. *Я вспоминаю отрывок стихотворения одного поэта тех дней...* — Вероятно, цитируется неизвестное стихотворение Оккхоя Чоудхури.

Стр. 116. *Нильсон Кристина* (1843—1921) — знаменитая шведская певица.

Олбани Эмма (1852—1930) — канадская певица.

Так в наготе великого Махешвары сияет его божественность... — Махешвара — одно из имен бога Шивы, который, по легенде, предавался суровому подвижничеству.

Стр. 118. *Мур Томас* (1779—1852) — ирландский поэт.

Стр. 119. *Телена* — традиционная индийская мелодия.

Стр. 120. *...последнее обстоятельство запечатлено в названии драмы.* — «Протибха» по-бенгальски означает гений.

Фабула ее была основана на легенде об убийстве сына слепого отшельника царем Дашаратхой... — Царь Дашаратха, отец Рамы, в молодости славился искусной стрельбой из лука. Однажды ночью он услышал плеск в реке и выстрелил, думая, что это олень. Его стрела поразила сына слепого отшельника, и последний проклял его.

Стр. 123. *Есть великие джунгли, чье имя — Сердце...* — отрывок из стихотворения Р. Тагора «Свидание после разлуки».

Стр. 125. *...из обеих начатых мною паломничеств к святыщу Лакшми я возвращался отвергнутым...* — Лакшми — богиня богатства.

Стр. 126. *Возлюбленная, тайну не храни...* — строка из стихотворения Р. Тагора, вошедшего в сборник «Сад песен».

Стр. 127. *Тебя я знал, тебя забыть не мог, о чужеземка...* — Песня из сборника «Сад песен» (см. 8 т. наст. собр. соч., стр. 54). Перевод Ю. Нейман.

Стр. 129. *Там, где в небе облака//плывут тихи...* — Цитируется стихотворение «Начало песни».

Стр. 132. «*Берег Бибхи*». — См. 1 т. наст. собр. соч., стр. 63.

Стр. 133. *Фри скул* (англ.) — бесплатная школа.

«*Пробуждение потока*». — См. 2 т. наст. собр. соч., стр. 16. Перевод Н. Подгоричани.

Стр. 134. *Открылось утром сердце ненароком...* — Тагор приводит свое стихотворение «Праздничное утро» (см. 2 т. наст. собр. соч., стр. 18). Перевод Н. Подгоричани.

Стр. 135. *Кинчинджунга* — вершина в Восточных Гималаях, третья по высоте в мире.

«*Эхо*». — См. 2 т. наст. собр. соч., стр. 21. Перевод Н. Подгоричани.

Стр. 141. *Кришнодаш Пал* (1839—1884) — редактор журнала «Хинду Пэтриот».

Стр. 142. *Казуарии* — безлиственные деревья или кусты.

Шиваджи (1627—1680) — вождь маратхов в их борьбе против Великих Моголов и основатель независимого маратхского государства.

Стр. 145. *Я не ищу избавленья в бесстрастье аскета* — строка из стихотворения сборника «Дары» (1901).

Отпусти с нами Кришну... — песня крестьян из пьесы «Возмездие природы» (см. 2 т. наст. собр. соч., стр. 262). Перевод А. Эфрон.

Стр. 148. *Я увидел во сне каменные стены храма...* — Этот сон лег в основу повести «Раджа-мудрец» (см. 1 т. наст. собр. соч., стр. 205).

Стр. 151. *Ховра* — прежде предместье, ныне часть Калькутты за рекой Хугли.

Эмерсон Ральф Уолдо (1803—1882) — американский поэт и философ.

Моей признанной литературной кличкой было «Лепечущий поэт». — Младенческий лепет считается в Индии очень приятным для слуха и часто воспевается в поэзии.

Стр. 152. *Шонджибчондро Чоттопаддхай* (1834—1889) — старший брат Бонкимчондро, известный писатель.

Шошодхор Торко Чурамони — санскритолог, сторонник старого стиля в бенгальской литературе.

«Шонджибони» — еженедельный журнал, издававшийся Кришнокумаром Миттро.

Стр. 159. *Джогия* — традиционная индийская мелодия.

В этом утреннем свете осеннего дня... — стихотворение «Желание» из сборника «Диезы и бемоли» (1886).

Ты поведай, о сердце, мне, правду открой... — стихотворение «Целый день» из сборника «Диезы и бемоли».

Стр. 160. *В этом солнечном мире я не хочу умирать...* — стихотворение «Жизнь» (см. 2 т. наст. собр. соч., стр. 36). Перевод Н. Воронель.

Стр. 163. *«Лучше родиться бы мне скитальцем степным — бедуином»...* — цитата из стихотворения «Безумные надежды» (см. 2 т. наст. собр. соч., стр. 93). Перевод В. Микушевича.

Стр. 163. *Богиня Дурга — гостья наша...* — стихотворение «Нищенка» из сборника «Образ любимой» (1890).

Б Е Н Г А Л И Я

Сборник писем Р. Тагора, адресованных большей частью его племяннице Индире Деби. Письма охватывают десятилетний период — с октября 1885 года по 12 декабря 1895 года.

По поручению Тагора письма были отобраны, обработаны и переведены на английский язык. С этого авторизованного издания и выполнялся прежний русский перевод: «Бенгалия», Госиздат, М. — Л. 1927.

Стр. 169. *Личи* — дерево со сладкими съедобными плодами.

Стр. 175. *Если умирает кто-нибудь из родных и они не могут отвезти его пепел к Ганге...* — Индусы сжигают трупы, а пепел опускают в Гангу, которая считается священной рекой.

Стр. 184. *Пандановые деревья* — деревья с воздушными корнями и длинными, заостренными листьями.

Стр. 187. *Коджагар* — праздник в честь богини Лакшми. Справляется осенью, когда в Индии обычно стоит ясная погода.

Папийя — певчая птица.

Стр. 193. *«Читра»* — «Читрангода», пьеса Тагора (1892) (см. 2 т. наст. собр. соч., стр. 501).

Стр. 195. ...тот самый день поэта из древнего города Удджайни. — Имеется в виду Калидаса, который, по легенде, жил в Удджайни, столице царя Викрамадитьи.

Стр. 199. Рассказ «Почтмейстер» вошел в наст. собр. соч. (см. т. 1, стр. 354).

Стр. 200. «Рагхуванша» («Род Рагху») — поэма Калидасы о предках Рамы и о его жизни.

Стр. 205. Ачкан — длинная куртка.

Стр. 211. Биль — топь, болото.

Стр. 222. Кинкоб — ткань, затканная серебром и золотом.

Стр. 223. Мачан — помост, устраиваемый охотниками на деревьях.

Стр. 228. Дауден Эдвард (1843—1913) — ирландский поэт и литературовед. «Жизнь Шелли», вышедшая в 1886 году, — наиболее известное его произведение.

Стр. 230. Я вспомнил об одном случае, который произошел вблизи Шазадпура... — Об этом случае Тагор рассказал в своем стихотворении «Карма» (2 т. наст. собр. соч., стр. 232).

ПИСЬМА О РОССИИ¹

Поездка в СССР была давнишней мечтою Тагора, который живо интересовался всем, что происходило в нашей стране. Однако мечта его сбылась не сразу. Болезнь помешала ему приехать на празднование двухсотлетия Академии наук, эта же причина не дала ему возможности воспользоваться приглашением приехать в СССР, переданным А. В. Луначарским, который встретился с поэтом в Берлине. Тагор был очень огорчен тем, что его поездка сорвалась. «... вы не знаете, — говорил он в беседе с Аросевым, — как мне уже с давних пор хочется попасть в вашу страну, которую я люблю по ее литературе. А теперь, когда ваш народ стал совсем новым, совсем другим, чем был раньше, как рассказали мне мои приятели, я с тем большим нетерпением рвусь туда, я хочу узнать вашу музыку, ваш театр, ваши танцы, познакомиться с вашей литературой».

Приехать в СССР Тагор смог лишь в 1930 году. Его сопровождали племянник Шоумендронатх Тагор, два личных секре-

¹ О «Письмах о России» см. также в послесловии к одиннадцатому тому.

таря — Арьям Вильямс и Омио Чоккроборти, врач Гарри Тимберс и дочь известного физика — Марго Эйнштейн.

На вечере в клубе Федерации советских писателей Тагор так объяснил цель своей поездки: «Я чрезвычайно рад, что мне удалось встретиться с представителями русской культуры. Я приехал в эту страну, чтобы поучиться. Я хочу поучиться и узнать, как вы решили и решаете у себя проблемы культуры. Меня привело здесь в восторг то, что вы впервые дали возможность приобщиться к просвещению всему народу, открыли перед ним двери школ, театров, музеев.

Моя мечта — создать свободного человека, связанного с трудом. Нынешняя цивилизация страдает болезнями и ненормальностями. Ее нужно лечить. Я убежден, что ваша идея очень похожа на мою мечту. Вы в деле создания творческой личности делаете то, чего я, как одиночка, сделать не мог. В этом ваша бессмертная заслуга перед человечеством».

В Советском Союзе Тагор пробыл всего лишь две недели, но, несмотря на такой краткий срок, он все же сумел встретиться и побеседовать с советскими крестьянами, рабочими, писателями, художниками, учеными, педагогами, артистами, побывать среди студентов и детей.

Приезд Тагора в Первую пионеркоммуну имени Книгиной 14 сентября 1930 года превратился в большой праздник для воспитанников и воспитателей. В непринужденной беседе с ними почетный гость расспрашивал о жизни коммуны, об организации учебы и труда. Большое впечатление на поэта произвела «живая газета» ребят, темой которой был пятилетний план.

В заключение встречи Тагор спел детям свою песню «Джананамана», которая стала национальным гимном освобожденной Индии, а в книгу отзывов вписал следующие слова: «Я всегда буду вспоминать прекрасный вечер, который я провел с этими пионерами. Я научился у них многому, что будет весьма полезно моему народу в Индии, за что я и благодарен им. Я всей душой сочувствую этим юным строителям судьбы своего народа и желаю им успеха».

16 сентября 1930 года в Центральном доме крестьянина состоялась встреча Тагора с крестьянами. Поэт рассказал о положении крестьян в Индии и затем остановился на вопросах индо-мусульманской вражды, подчеркнув, что в течение последних двадцати пяти — тридцати лет эта вражда усиленно насаждается и разжигается английскими властями.

«Как вы знаете, — сказал Тагор, — наша страна, подобно вашей, является аграрной. Наше крестьянство страдает невежеством, фанатизмом, предрассудками, которые вы, благодаря просвещению, уже в значительной мере преодолели. Если мы сможем перенять ваш опыт, мы разрешим крестьянскую проблему в Индии наиболее эффективным способом».

В свою очередь советские крестьяне охотно рассказывали Тагору о жизни советской деревни, о преимуществах ведения коллективного хозяйства, о большой заботе, которую проявляет партия большевиков и Советское правительство в деле улучшения материального положения народа и подъема его культурного уровня.

Выступая перед студенческой аудиторией, Тагор говорил о принципах, положенных в основу образования в Шантиникетоне, и делился опытом своей педагогической работы: «Я стремился к тому, чтобы образование стало органичной частью самой жизни, чтобы его не отделяли от нее и не выхолащивали... В деятельности детей я старался найти нечто такое, что бы заинтересовало их. Я старался развивать их интерес к красоте природы и окружающих деревень, а также и к литературе. Они не только занимались в классах, но и участвовали в театральных представлениях и слушали музыку, — все это способствовало расширению их кругозора. Они знали, например, что я пишу драму, и внимательно следили за ее созданием, репетиции развивали их любовь к литературе гораздо больше, чем классные занятия».

Писатель рассказал советским студентам об индийских музыкантах, скульпторах, художниках, работавших в Шантиникетоне, которые прививали юношам и девушкам вкус к искусству.

В своих выступлениях гость с восхищением отзывался об успехах Советского Союза в хозяйственном и культурном строительстве. «Вы, — заявил Тагор, — сделали неоценимый вклад в прогресс человечества, охватив образованием широкие массы вашей страны, находившиеся в темноте и невежестве, миллионы человеческих существ, которые никогда не могли выпрямиться во весь рост и вынуждены были нести ярмо эксплуатации и насилия, чтобы не умереть с голоду. Вы создали новый мир и впервые в истории высоко подняли достоинство человека... Моя мечта, мой замысел, — говорил он далее, — создать свободного человека, который мог бы заниматься творческой

деятельностью. Современная цивилизация заключила человека в клетку, оторвала от всего общества. В вашей стране вы покончили с этим злом. Я начинаю приходить к убеждению, что ваши идеи очень близки к моим мечтам о всестороннем развитии человека. Вы не только даете образование, но и развиваете творческую энергию. Вы осуществляете великие идеалы человечества. Впервые в истории вы способствовали проявлению скрытых богатств человеческого разума. Я от всей души благодарю вас за это».

17-го сентября 1930 года в одном из залов Музея нового западного искусства была открыта выставка двухсот картин Тагора. Выставка эта пользовалась большим успехом. В знак благодарности советские художники преподнесли поэту мраморную маску Льва Толстого.

Перед отъездом из Советского Союза, на большом прощальном вечере, устроенном в Колонном зале Дома Союзов, где присутствовали многие поэты, писатели и критики, Тагор произнес речь. Он кончил словами: «Я мечтаю о времени, когда эта страна древней арийской цивилизации (Индия) также обретет великие блага — образование и равенство. Я искренне благодарен всем вам за то, что вы помогли мне воплотить в осязаемые формы мечту, которую я долго вынашивал в своем сознании, мечту об освобождении вечно скованного человеческого разума!»

* * *

Поездка Тагора в Советский Союз вызвала широкие отклики в мировой печати. Реакционная пресса ожидала от писателя «пикантных» интервью, не расходящихся с ее клеветническими измышлениями о Стране Советов. Но она жестоко просчиталась.

«Тагор, — писала мадрасская газета «Хинду иллюстрейтид уикли», — отправился в Россию для того, чтобы получить из первых рук сведения о положении в этой стране. Наверное, ничто не было так преднамеренно очернено, как политические и социальные эксперименты большевистской России. Во множестве писем поэта отговаривали от поездки в столицу Советов. Однако эти письма вызывали у поэта лишь ироническую улыбку. Впечатления Тагора о России теперь известны всему миру. Он выразил свое восхищение замечательной работой по переустройству общества, которая шла в России быстрыми темпами».

Ярким свидетельством подлинного отношения Тагора к Советскому Союзу явились его многочисленные интервью корреспондентам таких буржуазных газет, как «Нью-Йорк геральд трибун», «Нью-Йорк таймс» и др., печатавшиеся под сенсационными заголовками: «Тагор — друг русских», «Россия и Индия», «Индиец — друг русских». Примечательно, что «Манчестер гардиан» полностью перепечатала интервью Тагора, данное корреспонденту «Известий» 25 сентября 1930 года.

Благожелательные отзывы Тагора о Советском Союзе появились во многих газетах Цейлона, Южно-Африканского Союза, Новой Зеландии, Австралии, а также в индийских газетах «Хинду», «Хинду иллюстрейтид уикли», «Фри пресс джорнал», «Пайонир» и других.

Можно без преувеличения сказать, что Тагор одним из первых на Востоке сумел без какой-либо предвзятости рассказать миру правду о нашей стране, о ее экономических и культурных достижениях, о тех колоссальных сдвигах в нашем обществе, которые произошли немногим более чем за десятилетие. Голос великого гуманиста прозвучал во всех уголках земного шара и был услышан миллионами простых людей. Не случайно американский журнал «Литерари дайджест» вынужден был откровенно признать, что «Россия может считать Тагора одним из самых горячих своих пропагандистов».

Еще до возвращения на родину, по дороге из Европы в Америку, Тагор написал своим близким и друзьям — сыну Ротиндронатху и его жене Протиме Деби, художнику Нондолалу Бошу, друзьям Нирмолкумари и Прошанточондро Махаланобису, Сурендронатху Кору, Калимохану Гхошу несколько писем, которые его адресаты оценили как произведения с большим общественным значением. Письма публиковались в журнале «Пробаши» и вскоре были изданы отдельной книгой под названием: «Письма о России».

Появление в печати «Писем о России» было важным событием в жизни Индии. Благодаря им широкие массы индийского народа узнали о великих преобразованиях, которые происходили тогда в нашей стране.

Конечно, не все явления нашей действительности были правильно поняты Тагором, не все было приемлемо для его общественно-политических позиций, но, надо отдать ему должное, он старался проявить максимальную честность и объективность.

О большой общественной значимости «Писем о России» свидетельствует тот факт, что колониальные власти запретили опубликование их полного перевода на английский язык. На запрос, почему же «Письма» были опубликованы на бенгальском языке, помощник секретаря по делам Индии Батлер, отвечал следующее: «Издатель «Модерн ревью» получил предупреждение за напечатание статьи, написанной Рабиндранатом Тагором. Эта статья взята из его книги «Письма о России», опубликованной местной печатью в 1931 году, которая привлекла незначительное общественное внимание и поэтому, естественно, не вызвала возражений со стороны правительства. Но, — добавлял он, — перевод на английский язык статьи, передергивающей факты в явном расчете на то, чтобы скомпрометировать и опозорить британскую администрацию в Индии, а затем опубликование ее в качестве передовицы в популярном английском журнале придает делу совершенно иной оборот».

До конца своих дней сохранил Тагор любовь к советскому народу. Он часто вспоминал в своих статьях о его достижениях, противопоставляя их отсталости горячо любимой им Индии, поработанной английскими колонизаторами. Даже на смертном одре он интересовался тяжелой битвой, которую вели в 1941 году советские люди против захватчиков-фашистов. И наш народ платил ему ответной любовью.

«Письма о России» вошли в Сочинения, т. 8, М. 1957. Они выходили также отдельным изданием.

Для настоящего издания они отредактированы заново.

В. Новикова

Стр. 240. *Снова и снова одевал Кришна Драупади...* — Драупади — общая жена пяти Пандавов, героев «Махабхараты». Старший брат Юдхиштхира проиграл ее в кости. Духшасана, сын царя Дхритараштры, стал срывать с нее одежды, но бог Кришна каждый раз одевал ее снова.

Стр. 242. *Однажды в Токио...* — Тагор побывал в Японии в 1929 году.

Стр. 246. *Я вспоминаю конференцию в Пабне...* — Конференция Национального конгресса в Пабне состоялась в 1908 году. Тагор был ее председателем и выступил с речью (см. т. 11 наст. собр. соч., стр. 162).

Стр. 251. *Комиссия Саймона*. — Комиссия Саймона была создана в 1927 году с целью изучить «действие системы управления, распространение образования и развитие представительных учреждений в Британской Индии». В состав этой Комиссии не вошел ни один индеец.

Стр. 252. ...*после кровавых дней Джалианвалабага* (Амритсар)... — 13 апреля 1919 года по приказу генерала Дайера английские войска без предупреждения открыли огонь по участникам митинга, который происходил в парке небольшого городка Джалианвалабага, возле Амритсара. Было убито 379 человек и 1137 ранено. В знак протеста против этой расправы 30 мая 1919 года Тагор отказался от дворянского титула, пожалованного ему английским правительством.

Шудхиндро — Шудхиндронатх Тагор, племянник поэта.

Стр. 260. *Говардханадхари* («Держащий гору Говардхана») — одно из имен бога Кришны, который некогда, по легенде, поднял гору Говардхана, чтобы спасти пастухов, живших во Вриндаване, от ужасного ливня, ниспосланного богом Индрой.

Баларама — старший брат Кришны; его оружием был плуг.

..*земле, которая была такой же мертвой, как обращенная в камень Ахалья*... — Ахалья, жена мудреца Гаутамы, была обращена в камень за нарушение супружеской верности.

Стр. 271. *Вишвакарма* — бог, строитель вселенной.

Стр. 273. *Саки* — древние кочевые племена, родственные скифам.

Стр. 276. *Томпсон Эдвард* — биограф и друг Тагора, английский миссионер.

Стр. 279. *Пури* — город в штате Орисса, где находится знаменитый храм в честь бога Джаганнатха (Вишну).

Стр. 282. ...*справочник Хантера* («Империял газеттир оф Хантер») — справочник по Индии, составленный английским статистиком и историком Вильямом Хантером.

СТИХИ

В этот раздел включены переводы английских вариантов стихов Тагора.

Поэт давно мечтал перевести свои стихи на английский язык. Однако, когда он приступил к переводу, процесс твор-

ческого воссоздания настолько увлек его, что он, по сути дела, создал самостоятельные произведения.

Английские варианты стихов Тагора получили широчайшую славу. Именно за них ему была присуждена Нобелевская премия. С этих вариантов делались и первые русские переводы, которые принесли Тагору большую популярность в нашей стране.

ИЗ КНИГИ «ГИТАНДЖАЛИ»

Стихи вышли в свет в 1912 году.

«Не могу понять, почему эти стихи так понравились людям, — писал Тагор в своем письме к племяннице Индире. — Все знают, что я плохой знаток английского... Я даже не умею ответить на приглашение к чаю...

В тот день, когда я должен был сесть на корабль, я вдруг упал в обморок. Поездку отложили. Я поехал в Шилейду, чтобы немного отдохнуть... Там я взял «Гитанджали» и стал переводить одно стихотворение за другим. Ты, вероятно, удивишься, что такая мысль могла мне прийти в голову. Но, поверь, мною владела не безрассудная смелость. Просто я почувствовал властное стремление выразить на другом языке мысли и чувства, которые некогда доставили мне столь большую радость. Страницу за страницей я заполнял свою тетрадку, и, когда сел на корабль, она лежала у меня в кармане».

В Лондоне стихи Тагора нашли множество восторженных почитателей. Он был удивлен своим успехом и долгое время не мог понять причину его. Прошло много времени, прежде чем он поверил в искренность похвал по адресу «Гитанджали».

Английские варианты «Гитанджали» многократно переводились на русский язык: «Гитанджали. Жертвопесни». — Собрание сочинений, кн. 1, Португалов, М. 1914; «Жертвопесни». — Собрание сочинений, кн. 1, Современные проблемы, М. 1914; «Гитанджали Жертвенные песнопения», Книгоиздательство писателей, М. 1914; «Приношения в песнях», Кушнеров, М. 1914; «Жертвопесни», Курск, тип. Либермана, 1915; «Садовник. — Гитанджали», М. 1919; «Гитанджали. Избранные песнопения», Южная универсальная библиотека, Одесса, 1919; «Цветы моего сада», М. 1925; «Гитанджали», Сочинения, т. 7, Гослитиздат, М. 1957,

ИЗ КНИГИ «САДОВНИК»

Сборник опубликован в 1913 году.

Есть очень много русских переводов: «Садовник». — Собрание сочинений, кн. 2, Португалов, М. 1914; «Лирика любви и жизни», Современные проблемы, М. 1915; «Садовник», Универсальная библиотека, М. 1917; «Садовник», Творчество, М. 1918; «Рабиндранат Тагор», М. 1918; «Садовник», М. 1919; «Садовник», Книгоиздательство писателей, М. (191?); «Пьесы и стихотворения в прозе», М.-Петроград, 1923; «Садовник», Госиздат Украины, Харьков, 1923; «Цветы моего сада», М. 1925; «Садовник», Сочинения, т. 7, Гослитиздат, М. 1957.

Стр. 336. *Саптапарна* — род дерева.

ИЗ КНИГИ «ЗАЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ»

Книга опубликована в 1916 году.

Русский перевод Щепкиной-Куперник вышел в 1924 году («Залетные птицы», Петроград-М.); он же вошел в «Сочинения», т. 7, Гослитиздат, М. 1957.

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

1. «Отец на веранде, выходящей в сад». Иллюстрация Гогонендронатха Тагора к «Воспоминаниям» Р. Тагора.
2. «Старший брат». Гогонендронатх Тагор.
3. «Джоти-дада». Гогонендронатх Тагор.
4. «Вспоминается лишь: «Дождь падает, лист дрожит». Гогонендронатх Тагор.
5. «Опять эта Ганга». Гогонендронатх Тагор.
6. Р. Тагор в Педагогическом институте в Москве (1930).
7. Письмо Р. Тагору от пионеров коммуны.
8. Р. Тагор в Первой пионерской коммуне (1930).
9. Р. Тагор в Пури (1939).
10. Р. Тагор в Шантиникетоне (1941).

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

произведений Рабиндраната Тагора, включенных в 1—12 тт. Собрания сочинений

- «Алчущих слыша каждый призыв...» — 4, 149.
- Бабу из Нойонджора — 6, 258.
- Барабанят в барабаны у запруд — 8, 364.
- Беда — 6, 233.
- Без конца — 4, 96.
- Безмолвный — 7, 255.
- Безумные надежды — 2, 93.
- «Безумный день весны, — он гостем долгожданным...» — 4, 183.
- Белочка — 8, 261.
- Бенгалия — 12, 167.
- Бенгалия-Лакшми — 4, 92.
- Бенгальская национальная литература — 11, 45.
- Бенгальцу — 2, 48.
- Берег Бибхи — 1, 63.
- Беседа — 7, 113.
- Бесконечная смерть — 2, 19.
- Беспокойная — 7, 26.
- Бессмертное — 8, 334.
- Биддашагор — 11, 62.
- Благодарный — 7, 143.
- Благословение — 7, 185.
- Благословенная — 4, 136.
- Бог любви — 4, 82.
- «Богатству и прислужников гурьбе...» — 8, 20.
- Бонкимчондро — 11, 34.
- Боробудур — 7, 273.
- Борцы за религию — 2, 115.
- «Будем все собирать урожай!...» — 8, 107.
- «Будешь, нет ли ты обо мне вспоминать, — даже мысли такой не таю...» — 8, 44.
- Бумажный кораблик — 4, 222.
- Бунт — 8, 386.
- Бхагиратхи — 8, 340.
- «Бьют, угрожают, копыя нацеля...» — 4, 150.
- «Бьют часы вдалеке...» — 8, 421.
- «Был зван на радостный обряд...» — 4, 301.
- Быть может — 7, 148.
- «В беспорядочной толкотне...» — 8, 282.
- «В вине твоей были песни, в корзине моей цветы...» — 8, 65.
- В давние времена — 2, 124.
- В деревне («В лучах золотых розовсет рассвет...») — 2, 27.

В деревне («Здесь я к Ней прикасаюсь везде...») — 2, 228.
 «В жизни нужно мне очень мало...» — 4, 140.
 В Иране, в день рождения — 7, 276.
 «В круговороте мгновений...» — 8, 435.
 «В лугах мы гирлянды сплели, букеты связали...» — 8, 89.
 «В месяц фальгун у меня во дворе сирус цветет, что ни год...» — 8, 104.
 В месяце ашвин — 8, 279.
 В месяце бойшакх — 4, 278.
 В море — 4, 282.
 «В неизменном нашем мироздании...» — 8, 407.
 «В ненастную ночь я свидетель должен с тобой...» — 8, 80.
 «В обличье срабона вернулся ты к нам...» — 4, 347.
 «В одеянье красивом пришел ты...» — 4, 346.
 «В одной руке держит он меч...» — 4, 350.
 «В переплетении мира лесного...» — 8, 416.
 «В плоти моей, в невидимых венах...» — 4, 144.
 В пустом доме — 2, 81.
 «В сердце комнату игр я строю и строю опять...» — 8, 101.
 «В сфере необъятного творенья...» — 8, 425.
 В тенетах жизни — 9, 7.
 «В тот день, когда из недр исчезновенья...» — 8, 332.
 «В тот день под открытым небом...» — 8, 208.
 «В тот древний, иступленный век...» — 8, 302.
 «В челне проворном кто плывет, смущая вод покой?..» — 8, 66.
 Венчание любовью — 2, 185.
 «Вернешься ты — я это знаю, знаю...» — 8, 63.
 Верни меня — 2, 188.

Вероисповедание художника — 11, 343.
 Вероломный — 4, 19.
 Весна — 7, 50.
 «Весна, весна! Распахнуты двери...» — 4, 184.
 Вечер и утро — 10, 348.
 Вечерами в детстве... — 2, 140.
 Вечная любовь — 2, 125.
 Вечно движущийся — 8, 336.
 Вечное и преходящее — 4, 33.
 Вечное обновление — 4, 43.
 Вечный путник — 8, 308.
 «Взгляни на свою благодать, проникающий в наши сердца!..» — 8, 26.
 Вишнунтка — 10, 198.
 «Власть себялюбия оборвалась...» — 4, 159.
 «Влекомый чарами срабона, незримый в тусклом свете дня...» — 8, 79.
 «Внезапно отбросить и смерть и страх...» — 4, 157.
 «Во двор срабона входят тучи, стремительно темнеет высь...» — 8, 76.
 «Во тьме крошечной плачет аромат...» — 4, 228.
 Возвращение — 7, 191.
 Возвращение Кхокабабу — 1, 386.
 Воздаяние — 7, 51.
 Возлюбленная юности — 8, 237.
 Возмездие — 4, 51.
 Возмездие природы — 2, 255.
 Возраст поэта — 4, 111.
 «Возьми, возьми же меня и сделай своею виной...» — 8, 46.
 Волнение — 4, 209.
 Вопрос («Мама, дай мне теперь отдохнуть...») — 4, 205.
 Вопрос («Всевышний, веками ты слал нам своих апостолов...») — 7, 244.
 Воспоминания — 12, 7.
 Воспоминание — 7, 93.
 Восславление — 8, 384.

Восток — 7, 279.
 «Вот человек великий ро-
 ждается к жизни новой...» —
 8, 445.
 «Вперед, вперед стремись, о
 брат!..» — 8, 34.
 Враг солнца — 4, 32.
 Времени, времени нет — 4, 106.
 «Время настало, прими покло-
 ненье мое, Земля...» — 8,
 285.
 «Все в новых образах ты в
 душу мне входи...» — 4, 290.
 «Все же помни меня, если в
 прошлое я отойду...» — 8,
 61.
 «Все спишь, лежишь в оцепе-
 ненье...» — 4, 337.
 «Все то, к чему душа стре-
 мится с властной силой...» —
 8, 60.
 «Всесокрушающий Смерти по-
 сланник явился, неждан-
 ный...» — 8, 330.
 Всеуничтожение — 7, 10.
 «Встав на благостный путь,
 песнь отважную пой...» —
 8, 41.
 Встреча — 7, 157.
 Встреча и разлука — 7, 281.
 Встреча со смертью — 2, 65.
 Вторжение — 3, 567.
 Вызов — 7, 163.
 «Выситя, грохочет колесни-
 ца...» — 8, 24.

 «Где души бестрепетны, где
 чело...» — 4, 164.
 Герой Бенгалии — 2, 103.
 Гибель песни — 4, 66.
 Голодные камни — 6, 269.
 Гора — 5, 7.
 Гордость — 4, 89.
 Горожанка — 7, 174.
 Грудь — 2, 39.

 Да исполнится воля хозяина —
 11, 189.
 «Давно влачишь ты, плоть
 моя...» — 8, 289.

«Давно ль идешь, стремясь
 достичь...» — 4, 300.
 Далекое — 7, 105.
 Дар («Просить мне тебя хоте-
 лось...») — 4, 263.
 Дар («Я принес тебе запястий
 пару...») — 7, 146.
 Два бигха земли — 2, 197.
 Две женщины — 7, 47.
 Две птицы — 2, 159.
 «Двери мои открыты, не мо-
 гут они закрыться...» — 8,
 102.
 «Дверь открыта моя...» — 4,
 332.
 «Дверь раствори...» — 8, 414.
 Движение — 7, 41.
 Движущиеся картины — 8, 345.
 Двое — 8, 235.
 Девочка-супруга — 4, 250.
 Девушка из племени санта-
 лов — 8, 263.
 День на земле — 8, 275.
 День рождения («Дни рожде-
 ний, за солнцем стремясь
 вперед...») — 7, 219.
 День рождения («О скольких
 взоров сеть опутала ме-
 ня!..») — 8, 348.
 Деодар — 8, 255.
 «Держит Шива литавры вре-
 мен, сна лишают они...» —
 8, 100.
 Джамуна сердца — 2, 177.
 Джибондебота («Божество
 жизни») — 2, 217.
 Джогодишчондро — 7, 199.
 Доверенный — 4, 44.
 «Дожди иссякли, зазвучал раз-
 луки голос одинокий...» —
 8, 78.
 Дождливая ночь — 8, 274.
 Дом и мир — 6, 7.
 Дорога — 10, 339.
 «Дорога лежит предо
 мной...» — 4, 358.
 «Дорога — подруга моя...» —
 4, 356.
 «Дорогая, нового рая мы со-
 здавать не станем...» — 8,
 49.

Достойный поклонения — 4, 24.
 Драмы, 1883—1892 — 2, 255.
 Другая мама — 7, 109.
 Друзья — 7, 265.
 «Душа моя тебя утешить рада...» — 8, 14.
 Душа распалась — 8, 306.
 Дыхание песни — 2, 38.
 Единственный вход — 4, 29.
 «Если даешь нести свое знамя...» — 4, 141.
 «Если застанешь нечаянно ты запертой сердца обитель...» — 8, 17.
 «Если мир я созерцаю через песнопенье...» — 8, 11.
 «Если отстану в пути, повелитель...» — 8, 23.
 «Если под сенью надменного трона...» — 8, 440.
 «Если ты любви меня лишил...» — 4, 342.
 «Еще раз, если только сумею...» — 8, 443.
 Жажда и утоление — 7, 36.
 Жалкий дар — 4, 72.
 Жду награды — 4, 113.
 «Жезл правосудья смертным вручен...» — 4, 163.
 Желание («Ветра резкого внезапно налетел порыв...») — 2, 63.
 Желание («Чем стать ты хотелось бы, манго?..») — 4, 21.
 Желание хулителя — 4, 11.
 Жених и невеста — 10, 299.
 Женушка — 1, 361.
 Женщина («Ты не только творение бога...») — 2, 243.
 Женщина (статья) — 11, 332.
 Жертва — 4, 74.
 Жертвоприношение (пьеса) — 2, 415.
 Жертвоприношение (рассказ) — 6, 314.
 Жива или мертва? — 1, 439.
 «Живет создание слепое в ущелье, — в холодной мгле...» — 4, 152.

Жизнь («В этом солнечном мире я не хочу умирать...») — 2, 36.
 Жизнь («Нога при ходьбе то поднимется вверх, то к земле припадет...») — 4, 41.
 Жизнь драгоценна — 2, 230.
 Жизнь и смерть — 7, 43.
 Жилище — 8, 119.
 Жилище песни — 8, 181.
 Журавли — 7, 56.
 «Забил барабан. Война!..» — 8, 304.
 Заблудилась — 7, 88.
 Заблуждение — 4, 36.
 «Забрезжила заря иных времен...» — 8, 42.
 Забрел ненароком — 2, 49.
 Заброшенный дом — 2, 34.
 Завершение — 4, 99.
 Завершение омовения — 8, 160.
 Загадка — 7, 169.
 «Зажги в моем доме светильник, излей на меня доброту!..» — 8, 19.
 «Зажжен мой светильник...» — 4, 354.
 Заработок и подачка — 4, 15.
 «Заставь меня головой коснуться...» — 4, 286.
 Засуха — 2, 248.
 Зачем — 2, 44.
 «Зачем не кропил я слезами дорожную пыль беспрестанно?..» — 8, 12.
 Заявление по поводу начала второй мировой войны — 11, 374.
 Зеленые манго — 8, 366.
 Земле бенгальской — 2, 47.
 Землетрясение — 8, 378.
 Земля — 8, 233.
 Земной рай — 4, 34.
 Зеркало — 7, 184.
 «Змеи ползут отовсюду, в дыханье змеином — яд...» — 3, 333.
 Знакомство («Милосердие молвило: «Кто же ты, гостья немая?..») — 4, 26.

Знакомство («В бездождие из тучи в час полдневный...») — 7, 159.

Значение литературы — 11, 317.

«Знаю, знаю, — ошибка души привела тебя этой тропой...» — 8, 48.

Золотая ладья — 2, 138.

Золото любви — 8, 158.

Золотой мираж — 1, 451.

«И солнце есть, и звезд не счесть в просторах бытия...» — 8, 69.

Игра — 4, 196.

Игра в прятки — 4, 218.

«Играл ты на вине своей и не спрашивал...» — 4, 357.

Из книги «Баллады» («Кахини»), 1900 г. — 4, 66.

Из книги «Беглянка» («Полатока»), 1918 г. — 7, 67.

Из книги «Вечерние мелодии» («Пуроби»), 1925 г. — 7, 115.

Из книги «Вечерние песни» («Шонддха шонгит»), 1881 г. — 2, 7.

Из книги «Вечерний свет» («Шенджути»), 1938 г. — 8, 334.

Из книги «Выздоровление» («Арогго»), 1941 г. — 8, 418.

Из книги «Гирлянда песен» («Гитималло»), 1914 г. — 4, 324.

Из книги «Гитанджали» — 12, 297.

Из книги «Голос леса» («Бонобани»), 1931 г. — 7, 196.

Из книги «Дары» («Нойбеддо»), 1901 г. — 4, 138.

Из книги «День рождения» («Джонмодине»), 1941 г. — 8, 430.

Из книги «Дети» («Шишу»), 1903 г. — 4, 192.

Из книги «Диезы и бемоли» («Кори о комол»), 1886 г. — 2, 36.

Из книги «Дорога» («Битхика»), 1935 г. — 8, 233.

Из книги «Ее памяти» («Шорон»), 1903 г. — 4, 175.

Из книги «Жертвенные песни» («Гитанджали»), 1910 г. — 4, 286.

Из книги «Журавли» («Болака»), 1916 г. — 7, 7.

Из книги «Завершение» («Поришеш»), 1932 г. — 7, 219.

Из книги «Залетные птицы» — 12, 375.

Из книги «Золотая ладья» («Шонар тори»), 1893 г. — 2, 138.

Из книги «Картины и песни» («Чхоби о ган»), 1883 г. — 2, 25.

Из книги «Конечное» («Прантик»), 1937 г. — 8, 324.

Из книги «Крупинки» («Коника»), 1899 г. — 4, 7.

Из книги «Малыш Бхоланатх» («Шишу Бхоланатх»), 1922 г. — 7, 89.

Из книги «Мгновение» («Кхоника»), 1900 г. — 4, 100.

Из книги «Мохуа» («Мохуа»), 1929 г. — 7, 159.

Из книги «Небесный светильник» («Акаш продип»), 1939 г. — 8, 353.

Из книги «Новорожденный» («Нободжаток»), 1940 г. — 8, 369.

Из книги «Образ любимой» («Маноши»), 1890 г. — 2, 49.

Из книги «Паром» («Кхейа»), 1906 г. — 4, 245.

Из книги «Песни» («Гитали»), 1914 г. — 4, 347.

Из книги «Пестрое» («Читра»), 1895 г. — 2, 183.

Из книги «Пестрое» («Бичитрито»), 1933 г. — 8, 183.

Из книги «Посвящения» («Утшорго»), 1903 г. — 4, 226.

Из книги «Последние стихи» («Шеш лекха»), 1941 г. — 8, 441.

Из книги «Последняя октава» («Шеш шопток»), 1935 г. — 8, 191.
 Из книги «Предания» («Кот-ха») 1900 г. — 4, 44.
 Из книги «Прикованный к постели» («Рогошоджай»), 1940 г. — 8, 407.
 Из книги «Сад песен» («Гитобитан»), 1932 г. — 8, 7.
 Из книги «Садовник» — 12, 335.
 Из книги «Санай» («Шонай»), 1940 г. — 8, 386.
 Из книги «Сбор урожая» («Чойтали»), 1896 г. — 2, 225.
 Из книги «Снова» («Пуношчо»), 1932 г. — 8, 109.
 Из книги «Утренние песни» («Пробхат шонгит»), 1882 г. — 2, 16.
 Из книги «Фантазии» («Колпона»), 1900 г. — 4, 78.
 Из книги «Чаша листьев» («Потропут»), 1936 г. — 8, 282.
 Из книги «Шамоли» («Шамоли»), 1936 г. — 8, 306.
 «Из тучи — грохот барабана, могучий рокот непрестанный...» — 8, 74.
 «Из тьмы я пришел, где шумят дожди. Ты сейчас одна — взаперти...» — 8, 58.
 Избавление — 7, 75.
 Изваянье — 7, 176.
 Иллюзия — 2, 45.
 «Имя твое называть буду часто и много...» — 8, 18.
 «Индиец, ты гордость свою не продашь...» — 4, 169.
 Индия-Лакшми — 4, 95.
 Искушение (рассказ) — 3, 544.
 Искушение («Вверху, на небе, молний свет...») — 8, 373.
 Исчезнувшее сокровище — 6, 334.
 Йог — 2, 29.
 К Ахалье — 2, 133.
 «К закату дня бутон в душе моей возвращен...» — 8, 57.

К морю (На побережье, неподалеку от Пури) — 2, 166.
 «К нам море жизни принесло...» — 4, 292.
 К поэту — 2, 107.
 «К роще моей души, истомясь разлукой, она идет в ночной тени...» — 8, 85.
 К цивилизации — 2, 233.
 Кабуливала — 1, 479.
 Каждому свое — 4, 7.
 Как обучали попугая — 10, 371.
 «Как полноту своей бессмертной красоты...» — 4, 186.
 Калидасе — 2, 251.
 Камелия — 8, 138.
 «Камнем волшебным, камнем огня...» — 4, 348.
 Каникулы — 1, 488.
 Карма — 2, 232.
 Карточное королевство (рассказ) — 1, 429.
 Карточное королевство (пьеса) — 10, 409.
 Клич — 7, 12.
 Клуб холостяков — 9, 335.
 «Когда в сетях невыносимых мук...» — 8, 415.
 «Когда жасминный цветок еще томился в бутоне...» — 8, 96.
 «Когда живую куклу...» — 8, 411.
 Когда забываешь поиграть — 7, 99.
 «Когда к выздоровлению наконец...» — 8, 413.
 «Когда страданье приведет...» — 4, 343.
 «Когда тебя во сне моем не вижу...» — 8, 417.
 Когда-то — 4, 118.
 «Когда-то, свадебным смущенная нарядом...» — 4, 182.
 «Когда я думаю: Конеч!..» — 4, 323.
 Колесница времени — 9, 479.
 «Коль жизнь иссохшая пу-ста...» — 4, 304.
 Конеч — 4, 284.
 Конеч весны — 2, 37.

Конец года («В это чистое утро...») — 2, 247.
 Конец года («Трудной дороги жизни близится завершение...») — 7, 234.
 Конец пути — 4, 275.
 Контикари — 7, 248.
 Копай — 8, 109.
 Корзина для бумаг — 8, 132.
 Корзина песен — 7, 119.
 «Кормчий, встань у руля! Смело вдаль поплывем!..» — 8, 33.
 Коронация — 6, 319.
 Корыстный родич — 4, 18.
 Красильщица — 8, 156.
 Красные олеандры — 8, 449.
 Крепость консерватизма — 4, 469.
 Кризис цивилизации — 11, 375.
 Кришноколи — 4, 134.
 «Кровавые челюсти, лязгая от нетерпенья...» — 8, 438.
 Кроткая — 7, 166.
 Крушение — 3, 225.
 «Кто до конца запуган, забит...» — 4, 155.
 «Кто может вместить тебя? — Небо одно!..» — 4, 234.
 «Кто он, тот мудрый, что полон щедрот...» — 4, 345.
 «Кто ты, далекий? Запела вдали...» — 4, 329.
 Кувшин с водой — 7, 269.
 Кутирбаши — 7, 213.
 Кхоай — 8, 116.
 «Ладья моей песни...» — 4, 353.
 Лакшми — 7, 282.
 «Лампады под кровлей своею...» — 4, 139.
 Лиана сапфирная — 7, 204.
 Листки юности — 7, 38.
 «Лишь вольного утра взор светло-синий...» — 4, 162.
 «Лодочник, кормчий жизни моей земной...» — 8, 103.
 Лошадь — 10, 362.
 «Люблю, о всевышний, синие дали...» — 4, 166.

Любовь и аскетизм — 4, 39.
 «Любовь к тебе душой поднять...» — 4, 307.
 Любовь Раху — 2, 31.
 Майя — 8, 394.
 Маленькая старая история — 1, 556.
 Маленький и большой — 4, 211.
 Мальчик («Когда-то, мальчиком...») — 7, 232.
 Мальчик («Этому мальчику только десять...») — 8, 122.
 Малыш — 4, 198.
 Малыш Бхоланатх — 7, 89.
 Манго — 8, 359.
 Манговый лес — 7, 201.
 Мать — 8, 259.
 Мать-Бенгалия — 2, 239.
 Мгновенная — 7, 136.
 «Мегхдут» («Облако-Вестник») — 2, 129.
 Мед — 7, 154.
 Медвяная — 7, 210.
 «Мелодию дай, приобщи к песнопенью, учитель...» — 8, 7.
 Меня зовут — 4, 216.
 «Мерцал светильник медный на подставке...» — 8, 219.
 Метафора — 2, 240.
 Мечта — 8, 392.
 Мечтательница — 7, 171.
 Мир насекомых — 8, 136.
 Мираж — 2, 46.
 «Мне в дух и плоть войдя...» — 4, 312.
 «Много ли знаю о нашей огромной планете?..» — 8, 432.
 «Мной была эта песня весны сложена...» — 8, 45.
 Мое счастье — 2, 136.
 «Мой нрав подвижен...» — 8, 228.
 Молодая жена — 2, 86.
 Молочница — 8, 183.
 «Молю, мой страх гони, гони...» — 4, 299.
 Морские волны — 2, 68.
 Мохамая — 1, 502.
 Мохуа — 7, 164.

«Моя душа — подруга тучи...» — 8, 86.
 Мринмойи — 3, 489.
 «Мудрец-поэт сказал...» — 8, 225.
 Мудрость — 4, 207.
 Мужественная — 7, 161.
 Муки зависти — 4, 9.
 «Мы драгоценности растеряли...» — 4, 172.
 Мы живем в одной деревне — 4, 127.
 «Мы на задворках далеких где-то...» — 4, 156.
 «Мысль пройти сквозь эти двери — отчего нам тяжела?...» — 8, 28.
 На берегу (посвящение) — 4, 192.
 На берегу моря — 2, 221.
 «На берегу реки Рупна-ран...» — 8, 447.
 «На воду надо спустить ладью...» — 4, 336.
 На волю — 8, 401.
 На двух берегах — 4, 129.
 На качелях — 2, 174.
 «На небе багровый кровоподтек...» — 4, 160.
 «На Новый год клянемся: мы отныне...» — 4, 243.
 На склоне дня — 7, 193.
 «Над рекой, потерявшей имя свое...» — 4, 327.
 «Над рощей в огненном цвету проходят тучи синей тенью...» — 8, 75.
 Надежда опустошенного сердца — 2, 53.
 Написанное на досуге — 8, 246.
 Напрасные старания — 4, 28.
 Наследство — 1, 395.
 Начало и конец — 4, 42.
 Наш переулочек — 10, 350.
 Не в тот рай попал — 10, 356.
 Не вовремя — 2, 244.
 Не к месту — 8, 167.
 «Не молю, чтобы ты...» — 4, 288.

«Не отвергай пришедших. Сердце тебе отдаю...» — 4, 147.
 Не отпущу тебя — 2, 161.
 Неблагодарный («Эхо звук искажает...») — 4, 27.
 Неблагодарный («Она ушла на рассвете...») — 10, 354.
 Небольшая потеря — 4, 58.
 Неведомая спутница — 7, 124.
 Неведомое — 7, 54.
 Невеста — 8, 353.
 Невозможное (рассказ) — 1, 535.
 Невозможное («Одиночество? — Что это значит? Проходят года...») — 8, 406.
 Невозмутимый — 7, 267.
 «Недосказала ты — и было ли возможно?...» — 4, 180.
 Незлобие великого — 4, 16.
 Незнакомка — 10, 255.
 Некто — 8, 148.
 «Немилосерден палящий зной...» — 8, 442.
 Непознанный мир — 2, 249.
 Непостижимое — 2, 172.
 Непотревоженная — 4, 257.
 «Неприкасаемые... Не дозволено им и молиться...» — 8, 296.
 Неразумный Рамканай — 1, 366.
 Несмышленный ум — 7, 245.
 Несчастье маленького человека — 6, 366.
 «Нет больше дня, спускается на мир...» — 4, 297.
 Неудовлетворенный — 7, 223.
 Никто из вас не заставит... — 4, 271.
 «Нисходит полумрак и синим краем сари...» — 4, 187.
 Нищая — 2, 179.
 Новобрачная — 7, 187.
 Новобрачные — 2, 120.
 Новое время («В наше время, когда на пастбищах...») — 8, 113.
 Новое время («Все припев старинной песни помнят и поныне...») — 8, 342.

- Новорожденный — 8, 369.
 Новый год — 7, 65.
 Новый слушатель — 7, 239.
 Ночь — 2, 7.
 Ночь в месяце чойтро — 4, 88.
 Ночью — 6, 220.
 «Ночью глубокой ушла ты из дома...» — 4, 177.
 «О бедняк, меня обеднивший, разве мало тебе показалось?..» — 8, 47.
 «О бойшахх пылающий, внемли!..» — 8, 72.
 «О, вседержитель!..» — 8, 21.
 «О всеединство разума, духа и бренной плоти...» — 4, 145.
 «О, где же свет, где свет?..» — 4, 294.
 «О девушка!..» — 8, 294.
 «О душа, не стынь...» — 4, 313.
 «О жизни владыка, о царь вселенной!..» — 4, 138.
 «О, как ты столько дней, для всех неуловимо...» — 4, 178.
 «О Лакшми прохладной поры, зачем ты таишься от нас?..» — 8, 92.
 «О Мать-Бенгалия! Край Золотой!..» — 8, 29.
 «О мудрец Джогодиш! — Юный образ былых мудрецов!..» — 4, 235.
 «О, помоги расцвести душе моей...» — 4, 289.
 «О путник, уж ночь близка...» — 4, 331.
 О себе — 8, 350.
 «О туча, в тайнице укромной несущая мглу и дожди...» — 8, 82.
 «О ты, живущий в сердце моем!..» — 4, 352.
 «О царь, стопы твои стоят внизу...» — 4, 316.
 О чем рассказал берег Ганги — 1, 331.
 «О щедрый, моих не осталось сил...» — 4, 173.
 «О, я знаю, пройдут...» — 4, 340.
 «Об уходе моем возвестите...» — 4, 338.
 Обиды — 4, 200.
 Облако-Вестник — 10, 343.
 «Облако молвило: В путь мне пора...» — 4, 351.
 Обман — 7, 70.
 Обманутые надежды — 6, 300.
 Обменялись — 1, 510.
 Образ любимой — 2, 242.
 Обращение к студентам — 11, 102.
 Обыкновенная девушка — 8, 144.
 Обыкновенный человек — 2, 229.
 Обычай — 10, 318.
 Обычный роман — 1, 463.
 «Один за другим погасают на сцене огни...» — 8, 329.
 «Одиноко сижу у окна, у проема конечного мира...» — 8, 424.
 Одиночество — 8, 277.
 Одна — 2, 25.
 Одна ночь — 1, 422.
 Ожидание («Словно страж у дверей твоего сновиденья...») — 7, 254.
 Ожиданье («День минул...») — 2, 89.
 Озорник — 7, 107.
 Океан — 7, 138.
 «Океан покоя великого впереди...» — 8, 441.
 Окончен день — 2, 215.
 «Она подарила мне первый цветок поры дождей...» — 8, 87.
 Оношуа — 8, 403.
 Оплошность — 6, 354.
 Опустевший дом — 8, 248.
 Освобождение (рассказ) — 1, 404.
 Освобождение («Не стану слушать я врачей...») — 7, 67.
 Освобожденный — 7, 237.
 Освобожденный поток — 7, 363.
 Осенний праздник — 4, 361.
 Остановившееся время — 7, 92.

Осторожность — 4, 31.
 «От юности остался...» — 8, 193.
 Отвергнутая — 7, 111.
 Открытое письмо в редакцию
 «Калькутта мьюнисипал га-
 зет» — 11, 382.
 Открытое письмо редактору
 «Манчестер гардиан» — 11,
 366.
 «Отошлешь ли ты сына к чу-
 жому порогу, о Мать?..» — 8,
 40.
 Отплытие в бурю — 7, 58.
 Отпусти — 8, 179.
 Отречение (рассказ) — 1, 415
 Отречение («В поздний час
 пожелавший отрешиться от
 мира сказал...») — 2, 225.
 Отречение («О мать...») — 4,
 247.
 Отчего так радостно... — 4,
 201.
 Отшельница — 10, 269.
 «Очнись, о сердце, очнись от
 сна!..» — 4, 188.
 Падма — 2, 236.
 Паломничество — 8, 171.
 Пальмира — 7, 91.
 Память — 8, 338.
 Паром — 4, 253.
 Парусная лодка — 8, 352.
 Пасмурным днем — 10, 341.
 Певунья — 7, 173.
 Первое богослужение — 8, 162.
 Первый номер — 10, 283.
 Переезд — 8, 396.
 Переправа — 2, 231.
 «Песни птиц отзвенели, пол-
 день зноен и сух...» — 8, 73.
 Песнь битвы — 2, 10.
 Песня — 2, 245.
 Песня о городе — 2, 202.
 Песчинка — 3, 7.
 «Петь буду песню твою — дай
 мне вину звучанья тако-
 го!..» — 8, 15.
 «Петь запретишь мне?..
 Что ж! Я песни не начну...» —
 8, 59.
 Писатель — 1, 517.

Письма о России — 12, 235.
 Письмо женщины — 10, 209.
 Пленный — 2, 43.
 «Плоть моя, плененная бо-
 лезнью...» — 8, 409.
 «Пляска твоя вещала мира ко-
 нец и начало...» — 8, 99.
 «По ночам под звуки флейты
 бродят звездные стада...» —
 8, 25.
 «По свету песню я несу...» —
 4, 306.
 Победитель бога смерти — 7,
 264.
 «Под обаяньем лунных чар
 мечты кружат в просто-
 ре...» — 8, 68.
 Подарок — 7, 31.
 «Подобно потокам срабона,
 пусть льется и ночью и ден-
 но...» — 8, 16.
 «Подошел отдачи первый
 срок...» — 4, 339.
 Подруга игр — 7, 121.
 «Подруга, нет тебя ни дома,
 ни на гхате...» — 4, 179.
 Подъем страны — 2, 97.
 «Позволь, чтобы рядом с то-
 бой я сел...» — 8, 56.
 Покинутый — 2, 111.
 Поклонница — 8, 240.
 «Поклоны, службы, чтение мо-
 литв...» — 4, 319.
 Полдень — 2, 226.
 Полдневный час — 10, 353.
 Полнолуние — 2, 206.
 Поражение — 8, 185.
 Портрет — 7, 18.
 Последнее благословение —
 10, 223.
 Последнее письмо — 8, 129.
 Последнее слово — 8, 399.
 Последний мед — 7, 194.
 Последняя поэма — 9, 225.
 Потерявший себя — 2, 12.
 Похищенное сокровище — 10,
 329.
 Поцелуй — 2, 41.
 Почта — 7, 287.
 Почтмейстер — 1, 354.

Поэзия и ритм — 11, 340.
 Правдивый — 4, 14.
 Праздник дедушки — 7, 86.
 Праздник посадки деревьев — 7, 217.
 Праздничное утро — 2, 18.
 Преграда — 1, 522.
 Преданность и лесть — 4, 20.
 Прежде и теперь — 2, 61.
 Прекрасное — 11, 131.
 Прекрасное и литература — 11, 149.
 «Прерывая разговор обычный...» — 8, 191.
 Преувеличение — 4, 108.
 «При встрече...» — 8, 217.
 Приветствие — 8, 251.
 Приглашение — 8, 242.
 Приговор — 1, 544.
 Придворный шут — 10, 360.
 «Приди к нам, о пламя, и жизнь озари!...» — 8, 108.
 «Приди, о буря, не щади сухих моих ветвей...» — 8, 77.
 «Приди, о, приди в мой дом!...» — 8, 52.
 «Приди, приди, снова приди, о повелитель, снова приди...» — 8, 67.
 «Приди сюда, вода ключа, приди сюда, плеща, журча...» — 8, 71.
 Призрак — 10, 366.
 Призыв — 7, 132.
 Призыв смерти — 7, 145.
 «Приказ падишахом дан...» — 8, 222.
 Прикосновение любви — 7, 40.
 «Природой завладевает сегодня покой осенний...» — 4, 143.
 Приход — 4, 261.
 «Пришла — и ушла... Приоткрыта дверь...» — 4, 176.
 Приятель — 2, 235.
 Проблемы образования — 11, 113.
 Пробный камень — 2, 156.
 Пробуждение («Песню мгновения пой...») — 4, 100.
 Пробуждение («Всю ночь гляжу я на дорогу...») — 4, 269.

Пробуждение («Когда тело мое, тяжелея, наполнится сном...») — 8, 281.
 Пробуждение («Когда с горизонта первого века...») — 8, 371.
 Пробуждение потока — 2, 16.
 Провозвестник — 7, 252.
 Проза и поэзия — 4, 23.
 Пропавший дар — 4, 70.
 Прости — 4, 85.
 «Просто в простое вернуться — вот подлинная свобода...» — 8, 327.
 «Просьбе последней внемли моей...» — 4, 174.
 Прощай — 2, 252.
 «Прощай, освобожден я, брат!...» — 8, 27.
 Прощальная ночь — 10, 241.
 «Прощальную песню, растенья, спойте весне...» — 8, 95.
 Прощальный взгляд — 10, 352.
 Прощание — 4, 273.
 Прощание с зимой — 4, 224.
 Прощание с небом — 2, 211.
 «Прощанья песня слышится чуть свет...» — 8, 62.
 Птица бокуловой чаши — 7, 126.
 «Птице пора улетать. Роща уже не поет...» — 8, 331.
 Птичий пир — 8, 361.
 «Пускай беда и клевета...» — 4, 320.
 «Пускай заглушал молитвы...» — 4, 322.
 «Пускай легко спадет завеса с моего существа...» — 8, 429.
 «Пусто в доме. Я хвор...» — 8, 419.
 «Пусть Бенгалии земля, воды, воздух и поля...» — 8, 37.
 «Пусть в небесах восторга песнь звучит!...» — 8, 36.
 «Пусть дом моих дней последних...» — 8, 230.
 «Пусть куются все крепче оковы — тем скорей мы разбить их готовы...» — 8, 43.

«Пусть твой призыв без от-
 клика замрет...» — 8, 32.
 Путешествие в никуда — 2,
 180.
 Путешествие за семь океа-
 нов — 7, 97.
 «Пути своего созидания ты
 опутала...» — 8, 448.
 Путник («О скиталец, скита-
 лец...») — 4, 280.
 Путник («Хочешь ты
 знать...») — 7, 221.
 Путник («Ты сидишь на по-
 роге своем...») — 8, 273.
 Путь к соединению — 8, 265.
 Пьесы, 1908—1911 гг. — 4, 361—
 469.
 Пьесы, 1912—1922 гг. — 7, 287—
 363.
 Пьяный — 4, 102.

 Раб — 4, 277.
 Работа и отдых — 4, 40.
 «Радж Сингх» — 11, 27.
 Раджа — 4, 395.
 Раджа и его жена — 7, 103.
 Раджа и рани — 2, 299.
 Раджа-мудрец — 1, 205.
 «Ради грядущего утра, что
 счастья зажжет огни...» — 4,
 161.
 Радость — 7, 181.
 «Радхика» Видьяпати — 11, 7.
 Разбитая кукла — 7, 95.
 «Разве шаг его не слышен
 сквозь привычный жизни
 ход?..» — 8, 22.
 Разгаданная загадка — 3, 510.
 Различие («Сказала Любез-
 ность...») — 4, 30.
 Различие («Различие есть ме-
 жду мной и тобой...») — 8,
 187.
 Разлука приносит покой... — 2,
 59.
 Разоренное гнездо — 6, 370.
 Разочарование — 2, 51.
 Разрыв — 1, 372.
 Рай — 7, 49.
 Раммохон Рай, паломник Ин-
 дии — 11, 303.

Расплата — 4, 125.
 Распространение образова-
 ния — 11, 279.
 Рассвет — 7, 149.
 Рассветная песня — 7, 152.
 Рассказ дороги — 1, 341.
 Рассказ о рождении — 4, 194.
 Расставанье — 2, 84.
 Расчеты — 1, 346.
 Речь председателя — 11, 162.
 «Ритмом пляски, ликующий
 Шива, ты срываешь все
 путы...» — 8, 97.
 Робкая — 8, 188.
 «Родину бедную, всебла-
 гой...» — 4, 151.
 «Родник мелодии твоей жур-
 чит в краю пустынном...» —
 8, 9.
 Романтик — 8, 382.
 Руки — 2, 42.
 «Рухнул грохот огромного до-
 мору, ночь смятеньем объ-
 ята...» — 8, 84.

 «С дороги трудной, где рвы и
 обвалы...» — 4, 154.
 Сад жизни — 10, 61.
 Садовница — 7, 178.
 «Сама весна у порога твое-
 го!..» — 8, 93.
 Санай — 8, 389.
 Свет и тени — 3, 517.
 «Свет света пришел, и сра-
 зу...» — 4, 302.
 Светильник горит напрасно —
 4, 255.
 Свидание («Однажды, в час
 ночной...») — 4, 48.
 Свидание («В поле, в роще,
 в лесу...») — 7, 189.
 Свобода («Стрела гово-
 рит...») — 4, 35.
 Свобода («Когда твоя ласко-
 вая рука...») — 7, 45.
 «Свобода — в отреченье, но
 это не для меня...» — 4, 146.
 «Свое жилище я переме-
 нил...» — 8, 200.
 Сдержал слово — 10, 147.

«Сегодня, в Новый Год, несу
 к твоим ногам...» — 4, 240.
 «Сегодня душу у меня...» —
 4, 309.
 «Сегодня мне чудится снова:
 тебя лишь люблю я...» —
 4, 232.
 «Сегодня увидал я пачку пи-
 сем старых...» — 4, 181.
 «Сегодня черный туман укрыл
 окоем...» — 4, 236.
 Семья Халдаров — 10, 165.
 Сердобольная — 7, 179.
 Сестры — 10, 7.
 Сказка и явь — 4, 202.
 «Сквозь хвалу и хулу я про-
 шел свои расстоянья...» — 8,
 428.
 Скиталец — 6, 282.
 «Склоняюсь пред тобой, зем-
 ля моя, смиренно!..» — 8, 31.
 «Скользя по ленивому потоку
 времен...» — 8, 426.
 «Сколько дней я скитаюсь...» —
 4, 335.
 «Скорби не делают нас бед-
 ней...» — 4, 168.
 Скорбь — 8, 127.
 Скрытая причина — 4, 38.
 Скупая доброта — 8, 253.
 Скупец — 4, 265.
 Слава Тарапрошноно — 1, 378.
 «Сладостен рай, сладостна
 пыль земли...» — 8, 418.
 «Следом бредешь, неудачливый
 спутник мой, прошлое...» —
 8, 326.
 Слово женщины — 2, 72.
 Слово мужчины — 2, 76.
 «Слышу: гремит барабан бое-
 вой...» — 8, 436.
 Смена эпох — 11, 291.
 «Смотрю я в небесный...» —
 8, 214.
 «Смотрю я сегодня при свете
 осеннем...» — 8, 210.
 Смуглая — 8, 356.
 Смуглянка — 7, 83.
 Снова дожди... — 4, 131.
 «Снова подходит ашарх, заоб-
 лачив небо кругом...» — 8, 81.

«Собираются тучи, темнеет
 день...» — 4, 293.
 «Солнечный луч засмеялся в
 объятьях туч, — дожди ис-
 сякли вдруг...» — 8, 88.
 Солнце — 7, 129.
 «Солнце в прятки стало с
 тенью играть...» — 4, 291.
 «Солнце горит в облаках кро-
 вавых...» — 4, 158.
 Сомневающийся — 7, 101.
 Сомнение («Не пойму, хорошо
 ли это?..») — 2, 127.
 Сомнение («Большому чувст-
 ву...») — 8, 190.
 Сон — 4, 80.
 Сон не вовремя — 8, 315.
 Состязание — 1, 468.
 Социализм — 11, 11.
 Сочувствующий — 4, 206.
 Спасение — 10, 378.
 Спесивый лентяй — 4, 22.
 Спесь ничтожного — 4, 25.
 Спор о власти — 4, 10.
 Старая книга — 7, 261.
 Старшая сестра (рассказ) — 6,
 246.
 Старшая сестра («Рабочий с
 запада весь день...») — 2,
 234.
 Старый слуга — 2, 193.
 Статьи, 1891—1941 — 11, 7.
 Стихи, 1881—1896 — 2, 7.
 Стихи, 1899—1914 — 4, 7.
 Стихи, 1916—1932 — 7, 7.
 Стихи 1932—1941 — 8, 7.
 Стихи в прозе и свободный
 стих — 11, 369.
 Столкновение — 8, 257.
 «Страданьем ты звучишь во
 мне, твоей темнице...» — 8, 50.
 «Страна несчастная моя!..» —
 4, 317.
 Страх — 7, 271.
 Стремление к сваражу — 11,
 251.
 Суд («Так начал брах-
 ман...») — 4, 62.
 Суд («О мой Пресветлый!..») —
 7, 33.
 Судья (рассказ) — 3, 559.

Судья («Рагхунатх Рао...») — 4, 63.
 Суждение — 7, 259.
 Суждение невежды — 4, 17.
 Суждение червя — 4, 8.
 Сумерки — 8, 271.
 Счастливые смотрины — 6, 359.
 Счастливый миг — 4, 245.
 Счастье — 2, 183.
 Сын раджи и дочь раджи — 2, 142.
 Сын Рашмони — 10, 115.
 Сын человеческий — 8, 169.
 «Сыплется благостный дождь на равнину...» — 8, 195.
 «Та женщина, что мне была мила...» — 4, 238.
 Тадж Махал — 7, 29.
 «Так вот прятаться где-то вдали, в стороне...» — 4, 296.
 «Там не звенит этих вод течение...» — 4, 167.
 «Твой лик, что во мраке мне просиял...» — 4, 226.
 Твой портрет — 8, 250.
 «Твои сокровища и дары...» — 4, 171.
 «Тебя земля к себе влечет...» — 8, 106.
 «Тебя ищу я на земле всегда...» — 4, 321.
 «Тебя пленять не буду красотою, любовью я лишу тебя покоя...» — 8, 55.
 «Тебя раздробившие пали в грязь...» — 4, 153.
 «Тебя я знал, тебя забыть не мог, о чужеземка...» — 8, 54.
 «Темнотою сокрыт, поглотившей сияние мира...» — 8, 324.
 «Теперь я к рисованью пристрастился...» — 8, 204.
 Тетрадь — 6, 213.
 «Тишину свою в сердце моем сосредоточь...» — 8, 51.
 «Тогда я был юнцом зеленым...» — 8, 206.
 «Того, кто не чтит твоих святынь...» — 4, 148.
 Только одна — 4, 116.

Торжество весны — 7, 311.
 Трехлетняя — 7, 156.
 Тридцать лет назад — 7, 250.
 Труба — 7, 14.
 «Ту, что мерещится во сне...» — 8, 64.
 Тщетное желание — 2, 56.
 Ты — 7, 228.
 «Ты жизни и смерти рубеж перешел...» — 8, 8.
 Ты и я — 7, 53.
 «Ты мир любила зеленой земли...» — 4, 190.
 «Ты, осень, принесла пригоршни света...» — 8, 91.
 «Ты струны старые сними...» — 4, 305.
 «Тяжесть вязкой смолы в аромате мечтает излиться...» — 4, 231.
 Тяжкий час — 4, 78.
 У колодца — 4, 267.
 «У тебя я не прошу покоя...» — 4, 344.
 Удивление — 7, 263.
 «Уединенья бог не спит...» — 4, 303.
 «Ужасная пора! Как душны вечера!...» — 8, 70.
 Узникам Бокши — 7, 243.
 Упущенный миг — 4, 86.
 Урваши — 2, 208.
 Услада взора — 7, 163.
 Усталость — 2, 83.
 Утренняя заря — 7, 182.
 «Утро сегодня глядит усталое...» — 4, 175.
 Утром — 4, 248.
 «Учила ты, Индия, властелинов...» — 4, 170.
 Учитель — 6, 435.
 Фанатизм — 7, 277.
 Флейта («Узкий перелук...») — 8, 150.
 Флейта («Речи флейты...») — 10, 346.
 Флейтист — 8, 318.
 Хвала дереву — 7, 196.
 Хвала и хула — 4, 37.

«Хинг, тинг, чхот!» (Спови-
денье) — 2, 150.
Хиндустан — 8, 376.
Хозяин леса — 8, 269.
Хоймонти — 10, 185.
«Хорошо, что я потерял доро-
гу...» — 4, 324.
«Хотел светильник я за-
жечь...» — 4, 311.
Храбрец — 4, 213.
Храм — 2, 169.
Художник — 10, 323.

Цветок из чужих краев — 7,
150.
Цветок тамаринда — 8, 311.
«Цветы из цветника сегод-
ня...» — 8, 212.
Ценитель — 4, 12.
Центр индийской культуры —
11, 216.
Цепи любви — 2, 238.

Чандалка — 10, 385.
«Чаша та полна страданий —
о, возьми ее скорей...» —
8, 53.
Человек-птица — 8, 380.
Через море — 7, 16.
Через сто лет — 2, 219.
Четыре жизни — 5, 499.
Чистый — 8, 153.
Читрангода — 2, 501.
«Что делать, вечно безглас-
ный...» — 4, 310.
«Что за гость под осень при-
шел к порогу твоему?...» —
8, 90.
Что мешает образованию —
11, 15.
«Что-то от легких касаний,
что-то от смутных слов...» —
8, 94.
Что толку просить пода-
янье? — 4, 94.
Чужая одежда — 2, 241.
Чьи-то шаги — 7, 140.

Шакунтала — 11, 85.
Шал — 7, 207.
Шамоли — 8, 322.
Шастры — 4, 104.
Шах Джахан — 7, 22.
Шекспир — 7, 62.
Школа поэта — 11, 262.
Шоттендронатх Дотто — 7, 115.
Шпион — 7, 257.
Шубха — 1, 495.

Щедрый даритель — 4, 13.

Это правда?.. — 4, 90.
«Этот день днем рождения был
моего...» — 8, 430.
«Этот день моего рождения
станет мне днем разлук...» —
8, 446.
Эхо — 2, 21.

Юное племя — 7, 7.
Юность — 7, 63.

Я — 7, 226.
«Я бесконечен. Своим ты иг-
раешь созданием...» — 8, 13.
«Я в мир явился песни
петь...» — 4, 298.
«Я вечером сидел у перепра-
вы...» — 8, 291.
«Я видел и постиг...» — 8, 197.
«Я, как безумный, по лесам
кружу...» — 4, 230.
«Я коврик мелодии здесь ра-
зостлал...» — 8, 10.
Я плыву по реке... — 2, 250.
«Я припал, о Мать, к твоим
ногам...» — 8, 39.
«Я рад, что в этой родился
стране!..» — 8, 38.
Я уйду... — 4, 220.
«Явилась толпа темно-синих
туч, ашархом ведома...» —
8, 83.

СОДЕРЖАНИЕ

ВОСПОМИНАНИЯ. Перевод с бенгальского М. Тубьянского	7
БЕНГАЛИЯ. Перевод с английского А. Сахова- лера	167
ПИСЬМА О РОССИИ. Перевод с бенгальского М. Кафитиной	235

СТИХИ

Из книги «ГИТАНДЖАЛИ». Перевод с английского Н. Пушешникова под редакцией И. Бунина .	297
Из книги «САДОВНИК». Перевод с английского Н. Пушешникова под редакцией И. Бунина .	335
Из книги «ЗАЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ». Перевод с англий- ского Т. Щепкиной-Куперник	375
Комментарии	413
Список иллюстраций	431
Алфавитный указатель	432

Рабиндранат Тагор
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
ТОМ 12

Редактор А. Ибрагимов
Художественный редактор Г. Клодт
Технический редактор Ж. Примак
Корректоры Р. Пунга и А. Юрьва

•

Сдано в набор 22/VI 1965 г.
Подписано в печать 7/X 1965 г.
Бум. 84×108¹/₃₂. 14 печ. л. = 23,5 усл. печ. л.
20,96 уч.-изд. л. + 9 вклеек = 21,46 л.
Тираж 92 500. Зак. 1665. Цена 1 р. 10 к.

•

Издательство
«Художественная литература»
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19.

Ленинградская типография № 2
имени Евгении Соколовой
Главполиграфпрома
Государственного комитета Совета
Министров СССР по печати.
Измайловский пр., 29.



«Отец на веранде, выходящей в сад»

Иллюстрация Гогоендронатха Тагора
к «Воспоминаниям» Р. Тагора



«Старший брат»
Гогомендронатх Тагор



«Джоти-дада»
Гопинендрнатх Тагор



«Вспоминается лины «Вода падает, аист шумит»
к «Воспоминаниям» Р. Тагора



«Опять эта Ганга»

Гошомендронатх Тагор



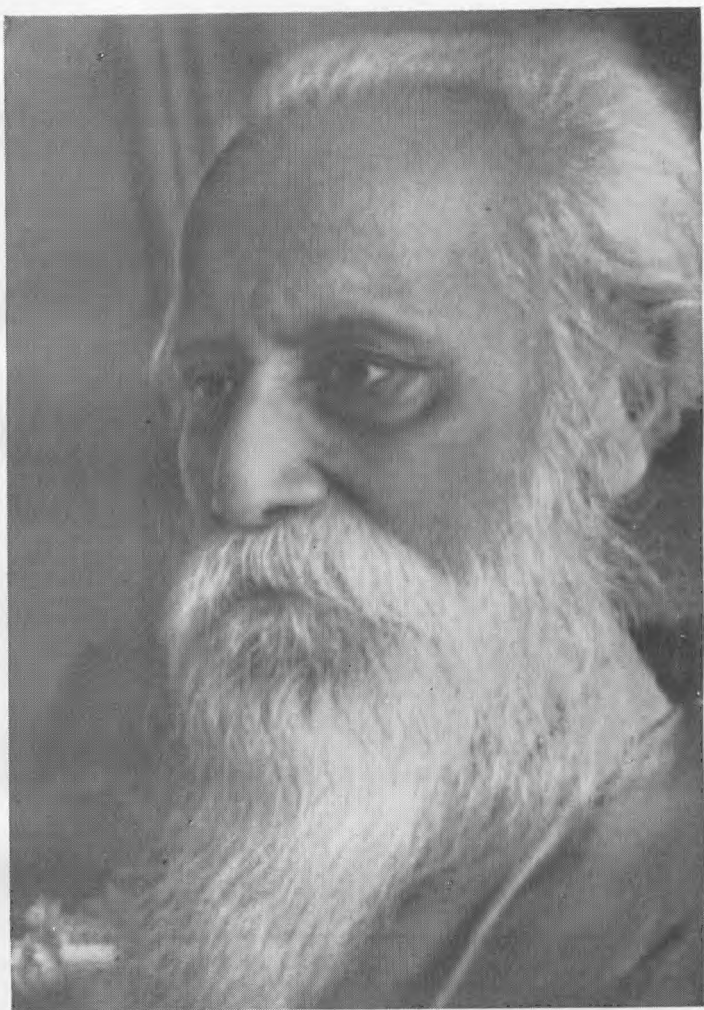
Р. Тагор в Педагогическом институте в Москве
(1930)



Р. Тагор в Первой пионерской коммуне
(1930)



Р. Тагор в Пури
(1939)



Р. Тагор в Шантиникетоне
(1941)

